1 р. 80 к.

Индекс 73276

«Нева», 1991, № 10, 1—208

ISSN 0130—741X

10/1991

А. СОЛЖЕНИЦЫН
Март Семнадцатого

Пер ЛАГЕРКВИСТ
Пилигрим в море
Повесть

Нева

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

А. ПОХМЕЛКИН
В. ПОХМЕЛКИН
Блеск и нищета идеологии

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. КАЛМАНОВСКИЙ
Перед третьим веком



Мойка, 12

Рис. Ф. Васильевой

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Орган Ленинградской
писательской организации

Нева

10/1991

Товарищество
«Журнал „Нева"»

Выходит
с апреля
1955
года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи объемом менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Сдано в набор 01.07.91. Подписано к печати 16.09.91. Формат бумаги 70×108[1]/16. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 23,23 уч.-изд. л. Тираж 230 770 экз. Заказ № 793.
Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.)

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, заведующая редакцией — 315-84-72, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики, критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15

Виктор
МАКСИМОВ

Уже не страшно

Я очнулся в ночном небе,
когда табличка «Пристегнуть ремни» уже не горела.
В салоне было темно и тихо.
За стеклом иллюминатора угольно мерцало мироздание.

Я зажег спичку и увидел,
как причмокивает губами убийца Улофа Пальме.
А еще я услышал, как тикает «адская машина»
в кейсе бородатого человека без галстука.
И как по-детски всхлипывают во сне семеро Семеновых.

Но страшнее, чем было — не стало.

И тогда я встал
и пошел по проходу беспробудно спящего самолета.
А когда спичка обожгла мне пальцы,
понял, что моторы не работают.
«Ах, вот почему так тихо!» — догадался я.

Но страха уже не было.

И тогда я зажег вторую спичку
и увидел, что дверь в кабину пилотов распахнута настежь.
И что приборы не светятся.
И что экипаж на борту отсутствует.
Но вчерашнего страха,
того истомного нашего ночного страха
не было уже и в помине.

И когда спичка погасла,
я увидел далеко впереди посадочные огни аэродрома.
Лайнер бесшумно шел на снижение.

И тогда я зажег третью спичку
и вернулся на свое место в салоне.
И пристегнул ремни,
как предписывает инструкция.
И привел спинку кресла в вертикальное положение.
И, сунув карамельку за щеку, зажмурил глаза.

Потому что самолет заходил на посадку.

А еще потому, что бояться было уже нечего.

Сказочка 49-го года

Мчится туча на ветре верхом,
за ней черт на осиновой палке,
за ним бабка с горы кувырком,
за ней дед на лихом катафалке,
за ним тетка с компрессом на лоб,
за ней дядька Виталий с вокзала,
за ним трое на «эмочке»... Стоп!
Все наврал! Начинаю сначала.

Мчится туча с горы кувырком,
за ней черт на лихом катафалке,
за ним бабка на ветре верхом,
за ней дед на самшитовой палке,
за ним дядька с геройской звездой,
за ним тетка в той, маминой, шали,
за ней трое по улочке: «Стой!
Стой!» — сказали обоим. И взяли.

Бежит дед через двор босиком,
Бежит бабка — в руке поварешка.
Мчатся тучи. Дурак дурком
я гляжу им вослед из окошка.

Назидательные стишки

Это чья дубленка у ручья
щиплет травку?
Это чья горжетка
сцапала на ветке соловья?..
Не твоя,
не угадала, детка!

Не мои они и не твои —
эти овцы, эти сосны, ели,
совы,
а тем паче — соловьи,
те, которых скушать не успели,

Даже если в кустиках — змея,
а у пчелки почему-то — жало,
не мои она
и не твоя
эта жизнь,
где соловьев так мало.

Тоска

Был хвост у райской птицы веером,
был праздник в парке день-деньской,
была гитара в лодке вечером
и это все звалось тоской —
и птица, вопли издающая,
и никудышное вино,
и песнопенье вопиющее
про то, чего не суждено.



Опять спасительная сила
отводит пулю от виска...
Все это было, было, было —
и водка залпом, и тоска,
и неуверенный с похмелья
шажок с карниза в мир иной...
. . . .
И выход в жизнь из подземелья
сквозь призрак церкви на Сенной.



— Доктор,— я шепчу,— спасите!
Вот и сердце не стучит
тридцать лет... Жену спросите!..

Доктор курит и молчит.
Под глазами полукружья.

И уже не шепот — стон:
— Доктор, у меня бездушье!
— Повезло! — вздыхает он.



Немолода уже, немолода.
И хрипотца, и морщинки от дыма.
Не полюбить уже так никогда
непоправимо. Непоправимо
не разлюбить уже так никого...
Зябкие плечи твои обнимаю
и ничего... И ничего
не понимаю, не понимаю...

Иван Беспамятный

Старец стоит середь поля широкого,
вместо клюки у него — молонья.
Глубже глубокого,
дальше далекого,
выше высокого —
память моя.
Слез в ней — не считано,
горя — не мерено,
во поле — дед с несусветной клюкой,
чешет затылок, сердешный,
растерянно,
вспомнить не может, кто он такой.

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

МАРТ СЕМНАДЦАТОГО
(23 февраля — 18 марта)

218

Увы, где-то должна была оборваться утишающая покачка этого переезда. К шести часам вечера во Ржеве неугомонный Алексеев всё же настиг своего патрона тяжёлым известием, зашифрованно переслал послеполуденную телеграмму Беляева, что последние верные войска выведены из Адмиралтейства, чтобы не подвергать разгрому здание,— и распущены.

То есть генерал Хабалов сдался, и в Петрограде больше не осталось верных войск и власти?

Петроград отпал от России...

Но оставалось — Царское Село! Но о Царском Селе не поступало тревожных известий, и генерал Иванов, по расчёту, уже должен был его занять и концентрировать там войска. Там — была семья! Там была — вся жизнь! Туда надо было спешить.

Свита вместо этих получала другие известия. Тут, на вокзале, объявился жандармский генерал, вчера из Петрограда, и рассказывал свите ужасные, даже неправдоподобные вещи: что уже вчера весь петроградский гарнизон был на стороне Государственной Думы и ожидалось объявление нового правительства. Разгромлено Охранное отделение, все полицейские участки, Гостиный Двор, магазины на Сенной, жандармов убивают, офицеров обезоруживают, иных тоже убивают, ротный Павловского батальона покончил самоубийством, повсюду толпы, революционные крики и непочтительное об императрице.

Свита была перебудоражена: что ж это делается? Что-то надо предпринимать! Не пора ли вступить в переговоры с мятежниками? Наконец, крайний час создать ответственное министерство! Да ведь там есть Родзянко, он становится реальным возглавителем, с ним и надо связаться!

Мятеж был настолько всеобщ, что свитским вступил страх за свои семьи и самих себя. Нельзя было терять ни минуты, надо действовать! Но — кто бы это смел подсказать беспечному Государю? Все опасались вызвать у него раздражение или нетерпеливую складку выслушивания.

А вопросов — Государь не задавал никому. Он оставался внешне всё так же совершенно спокоен. (Всегда: чем более встревожен — тем меньше подавал вид и говорил.)

Лишь один человек по должности мог и обязан был доложить — министр Двора Фредерикс. Но его давно возил при себе Государь как устаревшее чучело, которое жаль выбросить, чтоб не обидеть. От чрезмерной старости Фредерикс не только ослабел, но проявлял старческое слабоумие: мог принять русского императора за Вильгельма и опозориться перед строем войск.

Ещё приближённым был зять его, дворцовый комендант Воейков, очень практического ума, но ни с кем не близок из свиты, упрямый. Он мог доложить Государю только что сам бы счёл нужным.

Так и стемнело. И обед прошёл в натянутом, деланном разговоре, ни слова о петроградском бунте.

Впрочем, верили в успех генерала Иванова.

Продолжение. Начало см.: Нева. 1991. № 6—9.

И ехали дальше. Царский поезд шёл даже без Собственного конвоя: ото всего конвоя — два ординарца. Да десяток чинов железнодорожного батальона. Мерно покачивался, убаюкивался, тёмно-синий, с царскими вензелями. И ехал в безохранную, безглядную, неведомую темноту.

Подбирался к восставшему Петрограду странным далёким обходным крюком.

В девятом часу вечера в Лихославле Государя нагнала сильно запоздавшая телеграмма из Ставки. Это была копия телеграммы опять от Беляева Алексееву, но известия двигались попятно. В ней сообщалось, что верные войска под влиянием утомления и пропаганды бросают оружие, а частью переходят на сторону мятежников. Офицеров разоружают. Действие министерств прекратилось. И ещё странная фраза: министры иностранных дел и путей сообщения вчера выбрались из Мариинского дворца и находятся „у себя". (Дома?) Какой-то ребус, тут не хватало: а где же остальные министры, само главное правительство? Ещё и о брате Мише сообщал Беляев, что он не смог выехать в Гатчину и находится в Зимнем дворце. И просил Беляев — скорейшего прибытия войск.

Что ж, они подходят. Их и собирает вокруг Царского Села старик Иванов.

В том же Лихославле узналось уже от местных, что в Петрограде образовано новое правительство во главе с Родзянкой. И что по всем железнодорожным телеграфам распоряжается никому не известный член Думы какой-то Бубликов, причём называет власть Государя „старой" и „бывшей".

Кроме этого самого последнего, Воейков доложил Государю.

Просто удивительное самозванство и наглость: какой ещё Бубликов? почему Бубликов? и фамилия шутовская... Всё это походило на балаган.

Быть может, следовало повернуть? Изменить план?

Каково решение Государя и полководца?

Воейков настаивал, что в Петрограде никакого серьёзного движения, а просто местный бунт.

Тут, к счастью, подали и телеграмму от Аликс, благополучную. Слава Богу, какое облегчение! А вчера целый день от неё не было, какая тревога!

И тут же телеграфировал ответ: „Рад, что у вас благополучно. Завтра утром надеюсь быть дома. Обнимаю тебя и детей. Храни Господь. Ники".

Теперь-то — тем более, тем увереннее, тем необходимее — в Царское!

Да Лихославль уже находился на двухколейной гладкой Николаевской дороге. И решение могло быть только одно: скорее вперёд! [1]

219

Для неисчезнувших членов Думы находились дела, и самые необычные. Одни входили в сам Комитет и час за часом, вперемежку с отлучками, участвовали в непрерывном его заседании-обсуждении. Другим пришлось принять на себя (из невольного соревнования с Советом рабочих депутатов) грозное звание *комиссаров*. Дело в том, что с саморазбежкой правительства почти все министерства остались без возглавителей,— и вот Комитет решил посылать в каждое по два-по три члена Думы, которые могли бы там наблюдать, влиять, разъяснять, помочь руководить. Правда, эти посылаемые и сами плохо представляли, что надо и что срочно (один Маклаков в министерстве юстиции точно знал). И даже ёжились в своём новом и неопределённом звании комиссаров. Да ещё и не во все те министерства легко было добраться по улицам.

Тут ещё вдруг прервались все городские телефоны, так выручавшие вчера: все барышни в испуге сбежали с телефонной станции. Пока их разыскивали, да возвращали к делу, включали телефоны только для нужд Таврического дворца.

Третьим доставалось выступать перед приходящими войсками — то с крыльца, а то уже и в зале. Четвёртым — ехать в незнакомые им казармы, и произносить речи в обстановке и перед аудиторией, к которой они никак не готовились никогда. Никакие тонкости тут были не нужны, а только с надрывной силой уговаривать: не спешить праздновать, не выпивать, не кидаться в анархию, а подчиняться своим офицерам.

[1] Схему железных дорог см.: Нева. 1991. № 6. С. 41. (*Прим. редакции.*)

Родичев, только что вернувшийся из Москвы (потрясающее историческое событие застало его в досадной отлучке: именно вчера была назначена ему явка к московскому нотариусу, он продавал лесную дачу),— воротившийся Родичев, несмотря на свой седьмой десяток, с молодой охотой ездил выступать: у него ведь дар был зажигать даже холодные сердца и натягивать нервы слушателей. И вдруг — открывшаяся возможность выступать прямо перед народом,— да можно ли устать, господа? Блистало, сверкало его пенсне на долгом шнурке, и острым треугольником выкалывалась маленькая бородка. Весь народ открыто валит за Государственной Думой! — чего ж ещё ждать? Это даёт возможность овладеть положением, стать во главе движения!

Но и когда выступленья казались успешными, когда и тоскливо безуспешными,— депутаты с облегчением спешили вернуться в свою Думу. Правда, уже не в свою, а сильно подпорченную. Уже перед дворцовым сквером автомобилями или напором народа свалили часть чугунной решётки и один гранитный столбик. В Купольном — штабели мешков. А дальше внутри — солдатский табор с бессмысленной толкотнёй, где течение сшибалось с течением не в политическом, а в самом примитивном физическом смысле — кто кого переселит и пройдёт раньше. Сквозняки. За одни сутки уже подшарпаны колонны, попорчена мебель, сальные пятна. А уж в уборные заходить стало противно, так загажены солдатнёй, да ещё и очередь. И перестал существовать гардероб, а в бывшей комнате личных ящиков депутатов навалены пулемётные ленты и даже взрывчатые вещества.

Так вот — пробраться надо черезо всю эту толчею, где радикальные барышни ещё разносили засидевшимся солдатам бутерброды и чай,— и даже с боязнью прислушиваясь к разговорам толпы, пробиться в те немногие последние комнаты левого крыла, в сторону Таврической улицы, где ещё сохранялся дух Думы и были в основном свои, и подышать привычной обстановкой: рассказать о своей поездке в полк, послушать рассказы других. И если удастся, как забытое счастье,— присоединиться к обсуждению каких-нибудь вопросов общего характера.

Тут стекались и не члены Думы, а просто петербургские их друзья, кадетская публика.

Что слышно о движении войск Иванова? Неужели достигнут и будут карать? Да ведь мы и не революционеры, господа! Почему мы и уговариваем солдат вернуться в казармы, почему мы и рады нашедшимся офицерам,— мы именно прекращаем революционную ситуацию и восстанавливаем тот порядок, который нужен для ведения войны.

(Не говорилось совсем вслух, а очень думалось: может быть царь признает их Комитет — и насколько всё сразу легализуется!)

Ко всему этому кризису привели не мы,— привёл безвольный монарх, прогнивший режим.

Боже, как мы при этом режиме жили!

И мы так уже стерпелись со страданиями, которые он нам причинял, что могли жить как будто и счастливо. По-видимости.

Но вот настал для них час расплаты.

Ничего, солдаты быстро успокоятся,— зато в армии произойдёт теперь патриотический взрыв, и война закончится победоносно и быстро!

Угнетал и перебивал поток всё приводимых новых арестованных — часто совсем случайных людей,— и всем добровольным конвоирам надо было выражать благодарность и отпускать их, задержанных же перехоранивать по несколько часов, пока минует им опасность,— и всё опять же в этих нескольких оставшихся комнатах.

Наконец появилось публичное заявление за подписью Родзянки: что Думский комитет до сего времени никаких распоряжений ни о каких арестах не производил (это была правда, вся эпидемия арестов текла мимо него, он только спасал несчастных) — и впредь аресты могут производиться не иначе, как по особому распоряжению Комитета.

Но даже это заявление напечатать — неизвестно где искать типографию, не придётся ли просить Совет рабочих депутатов.

И тем более не имел Комитет мужества призвать население не подчиняться той второй, парализующей власти.

Ужасно обидное положение! — все эти массы притекали в Таврический из симпатий к Государственной Думе — но утилизировать эти симпатии было никак не возможно: массы растеклись по помещениям и только мешали, а вот чужая сила внедрилась и захватывала их. И без этой второй силы кажется уже и не восстановить порядка, не собрать солдат в казармы.

Надо как-то ладить. Как-то взаимно дружественно.

Тут — вернулся Родичев, с какой-то по счёту своей поездки, уже вечерней. За один день узнать было нельзя, как он потерял утреннюю бодрость, и охрип, и постарел, и пенсне спрятал.

Сейчас он был в Семёновском полку. И вернулся сильно расстроенный и изумлённый. По вечернему времени солдаты собрались на его речь в большую казарму в одном белье и валенках. Слушали, хмурились — а „ура" совсем не кричали.

Так и разошлись в белье, как и не слушали его. Первый раз в его жизни речь настолько не произвела никакого действия, где уж там восторга.

А оказалось, ходит у них прокламация: революцию Пятого года украли офицеры, украдут и нынешнюю, если солдаты не дадут им урока.

Кто-то ж где-то эти прокламации печатает, для них типографии не закрыты.

220

Весь сегодняшний день прошёл у Председателя как на пышущем болоте, где он пытался нащупать хоть какие-то твёрдые точки и установить поддерживающие связи.

Лился поток арестованных, от городовых до министров,— и всё в Таврический, как будто это Родзянко руководил арестами, а многие сановники и генералы — прямо к нему в кабинет. И все взбунтовавшиеся войска валили куда? — в Таврический, и кто их приветствовал? — опять же Родзянко. И даже простые солдаты рвались зачем-то в кабинет Председателя. Кто-то занял Петроградское телеграфное агентство — и вот посылали во все провинциальные газеты телеграммы о падении старого правительства, и всё — от именно Временного Комитета. То есть опять Родзянко? И теперь если начнётся следствие — то он допустил кое-что незакономерное?

А между тем Родзянко оставался предельно лоялен и патриотичен — и только так выступал пред войсками. О Государе, правда, он ни слова не говорил, тут создалась какая-то неясность, но он просто трубил во славу родины! (Делая усилия над собой — не замечать этого безобразия, строя, вида и позорного отсутствия офицеров. Призывал к возврату патриотической совести, сознавая, что с *такой* армией нельзя будет прожить ни дня военного времени.)

Ведь власть с а м а выпала из рук законных носителей — а Временный Комитет только подобрал её и хранил. И готов был законно перелиться в новую законную власть. Да Комитет, по сути, уже и стал началом той конституционной власти, по которой изнывало общество и изнывали союзники. И так легко и счастливо эта власть создалась! Но чтоб распределять министерские портфели — не хватало санкции Государя.

Да и не хватало единства и подчинительства в самом Комитете. Повиновение дерзко разваливал Керенский, не отчитываясь, где он и что делает, совершенно возмутительно и в мятежном духе выступал перед юнкерами и перед батальонами — и на виду публики его невозможно было отстранить и обуздать. А в Комитете он анархически заявлял, что над ним тяготеет долг перед Советом депутатов. А Чхеидзе и вовсе там пропадал все сутки. Между тем обоих вводили в Комитет как дар левым, надеясь их этим осчастливить и привлечь,— но они не ценили этого дара. И так же ускользал из-под Родзянко свой думский заместитель Некрасов. А Милюков вёл себя так упорно-независимо и замкнуто — никакого подчинения Родзянко в нём не ощущал. Да всегда чуял в нём полную чужесть, даже до того, что сомневался: для Милюкова существует ли Россия как живое целое, хотя он так и заботился о расширении её границ и о выигрыше этой войны.

И с болью, с оскорблением узнал Родзянко, шепнули по секрету, что уже сегодня утром прибыл в Петроград князь Львов! Несомненно, что вызвал его интриган Милюков! — чтобы начать вытеснять Председателя! Но — молчал...

Вот так-так! Да Милюков не сносился ли тайно и с союзниками?

Но тут — Родзянко успел. Вернулся его тайный посланец, побывавший и у Бьюкенена, и у Палеолога. И верно угадал! — союзные послы, все эти годы сочувственные к борьбе русского общества против русского правительства, не могли не поддержать! Не на бумаге, пока ещё из осторожности устно, оба посла ответили Председателю, что они признают Временный Комитет единственным законным правительством России и выразителем народной воли! (Ай, спасибо!) И ещё выразили своё ненаписанное такое мнение: что самодержавный строй может быть успешно заменён конституционным, лишь бы поскорей установился порядок и русская армия могла бы выполнить свой долг перед союзниками. Достаточно, сколько революция прошла, а теперь надо её ограничить.

Так того же и Родзянко хотел. Очень хорошо, после этого ответа он стал чувствовать себя увереннее.

Да второй уже день Родзянко находился в настойчивом процессе — доразумения. Этот процесс почему-то не мог произойти сам собою и быстро. Но должны были течь часы, должны были приходить разные вести, должны были обращаться по делу и без дела разные люди, думцы и не думцы,— и всё это не оставалось без пользы в процессе доразумения. И так на протяжении дня сами собой и силою обстоятельств возникали мысли, освещались предметы и принимались решения,— убеждали Председателя люди или сам он додумывался.

И намёк союзников тоже посеялся плодотворным семенем. В самом деле — 11 лет строй называется конституционным,— а где же он?.. Это не противоречит монархической лояльности.

Всё-таки перед Государем Председатель чувствовал себя стеснённо. Как ни дурны были их отношения последнее время, как ни дерзил Родзянко Государю — но никак не чувствовал себя мятежником и не допускал им стать. Он просто спасал Россию от дрянного, гнилого прежнего правительства. А тут вот — изодранный государев портрет в думском зале... А тут ещё — эти арестованные министры, как будто председатель Думы их посадил. Как ни дрянны эти министры — но не сажать было под замок... Но Председатель не имел власти их освободить... И потом эти его речи перед войсками: как ни патриотичны, а при Государе бы их вслух не повторить...

Но и Государь! — почему он молчал? Почему он так надменно не отвечал на телеграммы?

А теперь ехал сам,— на расправу?

Это его движение было смутно, тревожно, опасно. Зачем он ехал? Как будто: ворваться в Петроград, стукнуть здесь ногой, окрикнуть на ослушников?.. Непохоже на него, но потому и страшно, что непохоже.

Расторопный Бубликов докладывал о движении царских поездов — и спрашивал, что делать?

А что можно было придумать?

Государь приближался — и нарастала неизбежность встречи и отчёта.

Но настолько ли в виновном положении был перед ним Родзянко?!

В корзине из дому принесли Михаилу Владимировичу тёплый обед. У себя в кабинете он уже не мог спокойно пообедать, пошёл в укромную комнатушку, прикрыл измученную грудь салфеткой, как будто стало поспокойней. Чего в голодном виде он не мог сообразить — теперь в насыщенном понимал лучше, еда прямо шла на питание головы.

Ведь он именно хотел правильной конституции, и ничего больше! Он был сейчас — самый миролюбивый человек в Петрограде, а может быть и во всей

России. Зачем ещё какие-то военные действия? Зачем они послали на Петроград восемь полков? Против кого?

А услужливый Беляев сообщил по телефону и перечень полков: 67-й Тарутинский, 68-й Бородинский, 15-й уланский Татарский, 3-й Уральский казачий, 2-й лейбгусарский Павлоградский, 2-й Донской казачий, 34-й Севский пехотный; 36-й Орловский пехотный. А ещё возможен Преображенский и два гвардейских стрелковых... Да уже и не восемь? И передовой полк уже может прибыть в Петроград на рассвете 1 марта.

Да что ж они? Что ж они делают?!

Только и надо было теперь Государю: признать кабинет Родзянки, и всем примириться — и дружно работать для победы над злейшей Германией. А Государь?..

И — надумал Родзянко! и понял, как ему действовать против этих полков.

И — не мог не действовать, ибо надо было устоять и против милюковского подкопа и приезда Львова.

Да всё та же мысль, а каждый раз приходит как свежая: самая надёжная поддержка для Председателя, никому другому не доступная,— это поддержка Главнокомандующих. Его особенное значение укреплялось такими, как вчера, ответами от Брусилова и Рузского. Сегодня он уже разослал всем Главнокомандующим телеграммы о создании Временного Комитета, который выведет столицу в нормальные условия, Армия же и Флот пусть продолжают защиту родины.

Но тот предмет, о котором Родзянко думал связаться теперь,— даже не подходил для телеграммы, а должен был носить более конфиденциальный характер. И связаться даже именно только с Алексеевым. И именно сейчас удобно, когда Государь уехал из Ставки.

Алексеев может стать и наилучшим посредником между Родзянко и Государем. От Алексеева и от самого зависит много: ведь это он посылает войска.

Вот что нужно сделать: сегодня поздно вечером, никому не объявляя, ни даже своему Комитету, устроить себе прямой телеграфный разговор с Алексеевым. Для этого, когда схлынут многие лишние глаза, поехать в здание Главного Штаба.

Конечно, Алексеев умственно ограничен, у него нет широты даже военного кругозора, а государственного и не спрашивай. Но должен же он понять, если объяснить ему самые необходимые вещи. Что тут, в столице, может подняться гидра революции и всё смести. И только Думский Комитет, и только сам Родзянко является истинным против неё оплотом — и должны быть поддержаны всячески. Что Думский Комитет — это и есть многожеланное общественное правительство, оно уже вот создано. Что Родзянко сейчас — единственная реальная сила в Петрограде, один он владеет ситуацией, и под его руководством налаживается полный порядок.

Что поэтому посылка каких-то войск на Петроград — не только начало злостной, ненужной, вредной междуусобицы, но подорвала бы целительные усилия Председателя задержать революционное движение и излечить Петроград. Такой приход войск был бы губителен для порядка, который уже налаживается.

Надо, напротив, оценить монархическую верность Председателя и поддержать его нынешнюю полную власть в столице.

Неблагодарный Совет рабочих депутатов делал, что хотел,— но на опасном направлении, против войск Иванова, предоставлял действовать Думскому Комитету. Неблагодарный собственный Думский Комитет плохо подчинялся. Неблагодарный Петроград ликовал, метался, стрелял, беспутничал. Но всех их, неразумных, прикрыть от карательных войск Иванова мог только один Родзянко. И должен был бескорыстно и благородно сделать это.

Он ставил себя жертвой за всех.

Тут приступили к Председателю его комитетчики: а что же Москва? Надо же и Москву валить! Нельзя же ей, первопрестольной, прогрессивной, оставаться в лагере реакции?

Без Москвы — и мы не Россия.

Верно. Тоже верно. Надо и тут приложить свою весомую руку.

Что же опять? Телеграмму! Во-первых — городскому голове Челнокову, на поддержку. Во-вторых, командующему Мрозовскому в устрашение:

Старого правительства в Петрограде не существует. Правительственная власть принята Комитетом Думы под моим председательством. Предлагаю вашему высокопревосходительству немедленно подчиниться. За допущение кровопролития будете отвечать своей головой. Родзянко.

Тут прибежали весёлые голоса:

— Протопопова схватили!!!

— Да что вы?! — обрадовались думцы, а больше всех Родзянко, падению изменника-предателя.

И вставил в телеграммы:

Министр внутренних дел арестован.

221

* * *

К концу дня посланцы революционного Петрограда добрались и до Шлиссельбургской крепости, в 35 верстах от столицы. Против крепостных ворот образовалась кучка. От неё вооружённые потребовали немедленного освобождения каторжан. Комендант сперва отговаривался, что должен получить распоряжение. Затем согласился освободить нескольких, кого назвали по фамилиям и за кем приехали друзья.

* * *

Получив телеграмму самозваного комиссара путей сообщения Бубликова, начальник Северо-Западных железных дорог Валуев понял, что был ему смысл уехать из Петрограда и управлять своею дорогой вне его, особенно когда царские поезда двигались к столице и могли не найти себе пути. Он поехал на свой Варшавский вокзал. Тот весь оказался наводнён взбунтованною толпой и почти не управлялся, как ему уже и докладывали. Валуев отдал распоряжение приготовить себе локомотив с вагоном.

Но и форма его генеральская железнодорожная и барский холёный вид, нежная борода сильно отличали его, и не было возможности уехать незаметно. Это зависело от двух-трёх случайных глоток, а потом уже и толпа пристрастилась: неизвестно почему, но не выпустить этого человека! Его дважды ссаживали из вагона, затем потянулись терзать. Уже несколько самосудных ударов досталось ему. Священник железнодорожного госпиталя вышел с крестом и уговорил рабочих отвести Валуева как арестованного в Государственную Думу. Посадили в автомобиль, облепили охраной, тронулись. Но на Измайловском мосту показалось конвою, что кто-то обстрелял автомобиль — как бы не с целью освободить арестованного?! Тут же, за мостом, остановились, высадили Валуева — и к стене. Составилась шеренга из желающих солдат. Валуев снял фуражку, перекрестился и сказал, что умирает за Государя императора.

Нестройным залпом всё было кончено. Убитого обшарили по карманам, взяли, что было.

* * *

Из 4-го гвардейского стрелкового Императорской Фамилии запасного батальона, квартирующего в Царском Селе, пришла своим ходом к Таврическому дворцу команда в знак того, что батальон присоединился к народу.

Гвардия царя! Ликование.

Присоединилась и Военно-медицинская Академия в полном составе.

* * *

На Сенной площади броневики разбивают магазины с продуктами. Городового привязали к двум автомобилям и разорвали.

* * *

В толпе толк, что кто-то выстрелил с колокольни Сергиевского собора. Вооружённый патруль пошёл проверять. Поднялся на колокольню — никаких и следов. Заподозрили двух церковных сторожей, не переодетые ли полицейские. Обыскали их — нет.

И ещё — поздно ночью второй раз пришли и бдительно осмотрели храм. И опять ничего не нашли.

* * *

По улице подскакивает легковой открытый мотор. В нём — агитатор: смоляная бородка, фанатические глаза, фальцет на срыве. Кверху выкинута рука с кулаком, весь изогнулся. Что-то кричит о недобитой гидре, о змее.

Покричал — махнул шофёру, помчали дальше.

* * *

На Петербургской стороне мальчик застрелил проходившую женщину.

* * *

Порванные трамвайные провода. Сваленный фонарь. Валяются бумажки, окурки, бутылки. Чей-то потерянный красный бант.

* * *

Предлагают спирт, не денатурированный.

— А может, из анатомического музея? На чьих-нибудь внутренностях настоен?..

* * *

В разных местах города открываются питательные пункты — бесплатная кормёжка всех солдат, да и студентов. Счастливы кто набредёт, кормятся.

Целый день протаскались солдаты по городу — кто с винтовками, кто отдал или продал. А морозец — и некуда деться вечером, как опять в казармы.

* * *

От Литовского замка всё валит чёрный дым. Едкий дым пепелища.

И от дома Фредерикса.

* * *

Перед типографиями, где ожидается выпуск газеты, собираются очереди из студентов, обывателей, рабочих, военных.

К вечеру начинают раздавать дополнение к „Известиям Совета Рабочих Депутатов" — манифест большевиков.

* * *

К вечеру всё больше громят и частные квартиры. Стучат — и врывается, кажется, вся улица. С винтовками, пулемётные ленты через плечо: „Отсюда стреляли! Прячете офицеров?" Бросаются на обыск. (Не дай Бог у кого — офицерское обмундирование.) Барышня-хозяйка стоит в нервной дрожи. Ничего не нашли — „ещё вернёмся!". С гвоздика исчезли часы Лонжин.

Пьяные матросы из гвардейского экипажа, что на Крюковом канале, врываются в квартиры близ Мариинского театра, грабят, забирают военных.

А которые солдаты вежливые и не воруют, те уходя просят у хозяев „на чай" за свой революционный труд.

* * *

По мостам, по Невскому — автомобили всё жужжат, всё гудят, всё гоняют. И крики „ура! ура!".

С двух сторон Невы автомобили скрещиваются снопами света, вырывают чёрные толпы в тревожном движении.

* * *

Вечером в городской думе в большом Александровском зале — запись студентов, желающих вступить в состав городской милиции. Являться с матрикулами в подтверждение — а идёт и так. В кабинете городского головы дамы и барышни режут на полосы куски белого холста, сшивают в виде нарукавных повязок. Кисточкой, красной краской рисуют буквы „Г. М.". И прикладывается печать городской управы.

* * *

Вечером пошёл большими мягкими хлопьями всё убеливающий снег.

Улицы были плохо освещены: много фонарей побито или проводка попорчена. Окна домов все тщательно завешаны. Там и сям — ружейные выстрелы. Чокают пулемёты.

И опять ползёт грузовик с вооружёнными рабочими, с тусклыми жёлтыми фарами, сверху — красный флаг.

А то — прокатил броневик. „Ярославль".

* * *

Прошёл слух, что на Варшавском вокзале высаживаются фронтовые части! И — всё вокруг дружно побежало, вооружённые бросали винтовки, смежные кварталы опустели.

А на Балтийском вокзале, рядом — и действительно стали высаживаться: школа прапорщиков из Ораниенбаума и ещё доехавшие пулемётчики. Слух понёсся — и у Таврического передавали: у Балтийского вокзала кровопролитное сражение.

* * *

Когда ж удостоверились, что прибывают части, поддерживающие революцию, — думский Комитет послал туда депутатов, встретить войска речами. Автомобиль для этой поездки дал депутатам великий князь Кирилл Владимирович.

Перед войсками после приветствий извинялись о помещениях: Комитет Государственной Думы старался, сколько мог, но не взыщите, что временно придётся потесниться.

Потом депутаты поехали ко дворцу Кирилла. Он встретил их у подъезда и обратился к ним, сопровождающим солдатам и кучке ротозеев:

— Мы все — русские люди, мы все — заодно. Нам надо теперь позаботиться, чтобы не было лишнего беспорядка и кровопролития. Мы все желаем создания настоящего русского правительства.

* * *

А пулемётчики под густым снегом пошли пешком к местам расквартирования. Как с позиций (на которых ещё и не были): все в снегу и таща обледенелые пулемёты.

* * *

Лояльный обыватель или переодетый офицер думают: ну, ночь наконец! Набегаются, настреляются, накатаются на чужих автомобилях — на ночь разбредутся же по домам и по казармам спать. А ночью — придут же на Петроград военные части, и всё легко возьмут. Достаточно одного крепкого полка.

* * *

И правда, к ночи сквер перед Таврическим опять совсем обезлюдел. Стоит несколько мёртвых автомобилей. Под снегом покинуты и охраняющие пушки, никого нет возле них.

* * *

Казарма Финляндского батальона наполовину пуста: бородачи-„старики" на местах, пьют чай, спят, не захвачены событиями. А молодёжь ещё не вернулась.

За полночь в ротную канцелярию пришли студенты, просят на помощь солдат: охранять пустые улицы от контрреволюционных сил и от грабителей. Пошли активисты будить бородачей. Те спят или притворяются спящими. Потом долго сидят на нарах, чешут грудь, поясницу. Очень нехотя идут.

А студенты снова приходят и новую партию просят. Так всю ночь.

* * *

У одной дамы в доме Лидваля за эту ночь было 10 обысков, каждый раз всё новая партия солдат, требовали вина и еды. Набрав, уходили — но скоро стучали следующие.

А направляла солдат — её бывшая прислуга: не поленилась всю ночь дежурить у дома снаружи. Она на днях была рассчитана и обещала барыне „припомнить".

* * *

Командующий Московским военным округом генерал Мрозовский к полудню 28 февраля приказал офицерам гарнизона находиться круглосуточно в казармах при солдатах. Но к вечеру этот приказ был отменён, многие офицеры ушли домой.

А именно к вечеру бунтующая толпа ворвалась в Спасские казармы. Тогда потребовали сотню конных из артиллерийских казарм на Ходынке, чтоб очиститься от толпы.

Но и в расположение артиллерийских казарм проникли поздно вечером городские агитаторы — и там тоже начался бунт. На плаце между жилыми бараками завывала „ура" толпа, среди которой много и пехотных новобранцев, ещё даже не одетых в шинели. Неизвестные забегали в бараки и кричали, чтобы все выходили вон. Уложенные спать солдаты слушали вой — и не снимали сапог. Толпа разгромила цейхауз артиллерийской бригады — и теперь, вооружённая, стреляя в воздух, круче выгоняла спящих из бараков. Старые солдаты удерживали молодых не выбегать, офицерам не удержать бы. Но угрозная стрельба частила — и из одного, другого, третьего барака артиллеристы стали выходить. А ночной мороз был 17°. Дежурный прапорщик Зяблов, спрятав свой револьвер, с одной шашкой пошёл уговаривать толпу. А свои: „Не знаем, зачем нас выгнали", „и рады бы спать, да выгоняют". Заводилы и сами, видно, не знали, что делать дальше. Постепенно всех утишил трескучий мороз, и к двум часам ночи разошлись.

Но пришла новая группа, не такая многочисленная, а буйная,— теперь к каменным зданиям, где были канцелярии батарей, и стали выгонять писарей, ездовых, пугая их расстрелом. Офицеров не трогали, не выгоняли. Командир бригады и старшие офицеры были тут, но не знали, что делать,— беспомощно ждали утра. (На поддержку прибыли конные жандармы — но отправили их обратно, не было бы хуже.)

Тут приехал из города автомобиль с двумя офицерами. Они привезли кипу прокламаций за подписью Совета рабочих депутатов. Раздавали. Толпа стала ломиться в караульные помещения, караул отстреливался в воздух. Вломились, стали выпускать арестованных. Двое не шли: „Нам два дня осталось сидеть, а уйдём — опять посадят!" Забивались под койки, освободители их выгоняли.

Командир бригады приказал офицерской группе вынуть из орудий замки.

Утихомирились часам к пяти утра.

222

Пошутил профессор Ломоносов жене, что эти петроградские беспорядки совсем не ко времени начались: во-первых, нарушили ему лечение зубов (к зубному врачу на Пушкинскую в назначенный час не стало возможно проехать); а во-вторых, хотя царский режим и давно пора кончать, это затянувшееся общее бедствие, но, пожалуй, во время войны не самый лучший момент.

А зубы у него оказались запущены потому, что в Петроград он только что вернулся с Румынского фронта, где несколько месяцев пытался восстановить и наладить железные дороги. С осени главная переброска войск и поставки снаряжения потекли в Румынию, но именно в этом направлении у нас были самые хилые дороги, ни по какой доктрине не намечалось там воевать. И состояние путей было развались (а у румын ещё хуже), а хуже всего с паровозами,— и Ломоносов как один из ведущх паровозников, притом железнодорожный генерал, и был послан.

Молодым человеком, вскоре после окончания института, почти одновременно, он начал опыты с паровозами, принесшие ему две дюжины книг и славу. Но и везде, где служил, не отказывал он в содействии революционно подмоченным, что естественно для всякого честного образованного человека в России. Иногда и места служб ему приходилось выбирать не только из соображений паровозного дела и личных успехов, но и чтоб подальше от глаз Охранного отделения. Побывал он и начальником тяги самой далёкой и запущенной Ташкентской железной дороги, которую быстро поднял к доходу и расцвету. Но вскоре карьера его взмыла вверх, увлекла в Петербург, и до самых высоких должностей, а поселился он в Царском Селе.

Происшедшее теперь в Петрограде в общем можно было ожидать: думские бури последних месяцев приготовляли к крупным событиям. Но сегодня — у Ломоносова были лекции. Однако вряд ли соберутся студенты, а если и соберутся — стоит ли ехать в такой день? действительному статскому советнику можно попасть в затруднительное положение. И Ломоносов по телефону перенёс лекции на завтра, а сегодня и сам вовсе не поехал в город, даже и в контору, остался в покое Царского Села.

Вероятней всего безрассудны и безнадёжны были все эти уличные столкновения,— но колыхалось в груди радостное. И всё-таки часть солдат стала за народ!

Придумали они с женой совершить перед обедом маленькую прогулку: взяли извозчика и поехали вокруг Александровского дворца. Поехали — проверить подозрение: не сбежала ли царская семья? Об этом был слушок и очень правдоподобный, потому что волнения перекинулись и в Царское — и это становилось опасно дворцу.

Так оно, кажется, и было: очень мало стражи стояло, и совсем не было видно шпиков в гражданской одежде, обычно шныряющих вокруг дворца. Впечатление было такое, что во дворце вообще никого нет, как летом, когда царская семья в Петергофе. Да и удивительно было бы, если б они до сих пор не дали тяги.

Возвращаясь домой, встретили на улице каких-то волынцев — часть батальона и почти всех офицеров. Оказалось, часть батальона в городе перешла к восставшим, а эти, лояльные, пришли пешком из Петрограда сюда.

Ну и рабы!

Едва пообедали — жену вызвали в лазарет: по слухам, ночью будут взрывать управление дворцовой полиции, как раз против лазарета,— и всем врачам надо быть на месте, возможны раненые.

Странное время: как будто и многое происходит, каждый час что-нибудь где-нибудь, но всё это рассыпано по разным местам и не узнаётся. Не встретили бы волынцев — думали бы: весь батальон перешёл на сторону народа.

Но сколько бы их ни перешло, хотя бы весь петроградский гарнизон, это ничего не решает. Пришлют с фронта две дивизии с артиллерией — и от всего восстания будет мокрое место. Восстание растёт себе на гибель, оно ничего не может принести, кроме жертв.

А вместе с тем — стыдно и обидно бессилие нашего образованного класса. Все презирают режим, а не могут его столкнуть. Очень тягостно сидеть дома и в бездействии. Решил Ломоносов позвонить по телефону в несколько бойких петроградских семей, где, конечно, близко касаются дела.

Но телефон в Петроград уже не действовал.

Так и просидел вечер дома, в глуши. Уже поздно, к девяти часам, вернулась жена. Рассказала много интересного. Этих волынцев не приняли в казармах стрелкового полка, куда они шли. И несколько офицеров явились в лазарет — сами себя бинтовать, чтобы скрыться тут. Жена категорически

попросила их уйти. Потом явилась и попросила убежища жена начальника дворцовой полиции Герарди с детьми, опасаясь взрыва в их управлении,— и поносными словами ругала императрицу Александру Фёдоровну, что из-за неё должны теперь погибнуть столько хороших людей.

Как же далеко зашло! — если и эта ругается. Положение действительно серьёзное. Нервы напряжены, и каждую минуту чего-то ждёшь.

Сели пить чай — звонок во входную дверь. И кухарка, шлёпая босыми ногами по деревянному полу, поднесла служебную телеграмму из министерства:

„Военная. Инженеру Ломоносову. Прошу вас срочно прибыть Петроград министерство путей сообщения, где на подъезде прикажите доложить мне. По поручению Комитета Государственной Думы член Думы Бубликов".

И по голове Ломоносова, гладко выстриженной под машинку от затылка до лба, побежали мурашки. Это что ещё такое за новое? Бубликова он знал хорошо. Но неужели Государственная Дума осмелилась — и зачем? — захватить министерство путей сообщения?! Дума решилась возглавить революцию?

Или это великая страница русской истории, или балаган.

Расписку о телеграмме Ломоносов подписал дрожащей рукой и передал телеграмму жене.

Что делать? Всё — авантюра, всё — до первых войск. Они придут с фронта дня через два и покончат.

Ехать? — просто на расстрел. Или в камеру Петропавловки. Уже поздний вечер. Уютно, спокойно в доме, дети. И покойно в снежном Царском Селе, ни выстрела. Ехать — безумие.

Но кто уже был революционером в одну несчастную революцию — тому не забыть, и пораженье горит. И революционная верность зовёт. И есть понятие общественной совести. Все думают — заодно. А тебя потом упрекнут, что ты испугался. Десять лет ты был — в запасе, тебя не трогали и не звали.

А теперь — зовут!

Сорок лет, расцвет сил, кому ж и идти? Так ходуном расходилось всё в груди — и опасность, и радость, и вера.

Да хоть поехать только посмотреть, это не опасно.

Встал:

— Собери мне сумку на тюремное положение. Еду!

И вынул револьвер из письменного стола.

223

Сдержал слово Гучков — и вечером в Военной комиссии стали появляться офицеры генерального штаба: полковники Туманов, Якубович, Туган-Барановский. Никого их Ободовский не знал, но тут появился и знакомый ему полковник Пётр Половцов, начальник штаба кавказской „Дикой" дивизии,— прямо с фронта, в лохматой папахе, в черкеске с иголочки, с кинжалом и револьвером, высокий, стройный, с подчёркнутой выправкой и живым сметливым лицом.

Половцова предавно знал Ободовский: когда-то, ещё в Горном институте, лет 16 назад, Половцов передавал ему своё казначейство в студенческой кассе, сам бросая институт и уходя в военное училище. Нельзя сказать, чтоб он к себе располагал, даже наоборот, была в нём холодная перебежчивость и расчёт, но считались знакомы, как-то виделись перед началом войны, собеседник он был интересный — и остроумен, и умён. С фронта? — нет, не совсем прямо, заезжал в Ставку хлопотать по делам дивизии. Такой парадокс: два дня назад был на приёме у царя, поехал через Петроград с Адамом Замойским, а тут... И вот...

Генштабисты внесли в Военную комиссию истинную военную струнку, тон, даже весёлый. Они заговорили между собой в особых интонациях, на особом жаргоне. Тут ещё выяснилось — да кого же Гучков и мог прислать? — что все они из *младотурок*, той группы офицеров, добивавшихся военных реформ до смены чуть ли не половины командного состава. Поэтому были у них общие клички, общие остроты, общие приёмы.

А уж Ободовский-то тем более всегда был за решительные реформы. И с приходом генштабистов ему очень полегчало, спало невыносимое напряжение, что если чего не сообразишь, то и всё может провалиться. Последнее, что он самостоятельно подписал в начале восьмого вечера,— это охрану Путиловского завода, а теперь мог положиться на штаб-офицеров.

За общее дело мог он только порадоваться, да. Но внутри возник и какой-то странный оттенок неодобрения к ним. Почему бы? Ободовский, придя сюда, ничего не нарушил в своём долге, его место — и было на этой стороне. А они все — что-то слишком легко переступили. Ну что это, два дня назад засматривать в царские глаза — и вот, как ни в чём не бывало — здесь? Тот морской офицер, арестованный тут днём, импонировал Петру Акимовичу больше.

А уж Масловский от их прихода вовсе скислился, и сжался в зависти и неприязни.

Но с какой лёгкостью генштабисты сразу вошли в дело как в известное: и какие отделы учредить, и как классифицировать бумаги, и кому чем заняться. Тем более что у них тут же появилась и батальонная преображенская канцелярия с поручиком Макшеевым, полковые писари с пишущими машинками, и преображенский музыкантский хор — для связи. И всё это, и самих себя, перевели на 2-й этаж, и там устроились попросторней, хоть и с низкими потолками.

А пожалуй самое ценное было: генштабисты обладали как будто невидимыми антеннами, выставленными над городом, и могли догадаться, услышать такое, чего остальным бы и не придумать. За один час загадочная враждебная громада Главного штаба стала как бы сотрудником Военной комиссии. Как-то стало сразу само собой понятно, что генерал Занкевич, хотя вчера и командовал войсками Хабалова, но, конечно, никакой не неприятель и вполне может остаться начальствовать Главным штабом. (Сегодня после полудня Занкевич не зря прислал какой-то неважный пакет на имя Председателя ВКГД — дал знак, что признаёт новую власть.) Так же и с генмором — Главным морским штабом — зазвучали телефонные переговоры, будто и не прерывались никогда, и всегда была Военная комиссия Думы — лучший друг этих штабов.

Сразу таким образом получились и сведения, которых иначе не известно, откуда бы брать. Во-первых, что Москва присоединяется к движению: от Мрозовского нет и не ожидается серьёзных распоряжений и сопротивления, воинские патрули не враждебны к толпам с красными флагами, а полицейские посты и вовсе сняты.

Великолепно! Восхитительно! Петроград — не один!

Во-вторых, что к революции присоединяется и Кронштадт. (Да скорей можно было удивиться, почему он не присоединился раньше, вместе с Ораниенбаумом.) Там воинские части ходят по улицам с музыкой — и комендант не имеет сил усмирить их.

Петроград — всё более не один!

Но ещё важнее: генштабисты одним усилием умов здесь, в голых комнатах, уже стали угадывать, как им спутать и грозную силу генерала Иванова. Тем же чувством армейского единства они смогли ощутить и эту силу как свой отдел. А память их хранила все армейские сослужения и взаимные знакомства. И кто-то сразу сообразил: в Главном штабе есть такой подполковник Тилли, служивший у Иванова под рукой на Юго-Западном фронте. Так взять теперь этого подполковника — и послать навстречу Иванову связным: чтоб он объяснил положение в городе и что тут воевать совершенно не против кого! — и так обезвредить Иванова. Нет, ещё лучше, просто и гениально, это придумал едкий Половцов: к этому разъясняющему подполковнику да пусть Главный штаб добавит полковника — *в помощь* генералу Иванову для лучшей организации его штаба! (Или даже — начальником его штаба?)

Действительно гениально! — очень смеялись. Ведь Иванов не выпадает из общей системы российской армии — и вот Главный штаб сотрудничает с ним, а он должен сотрудничать с Главным штабом!

И стали телефонировать Занкевичу.

А об этом анекдоте — как слушатели Академии собирались сегодня атаковать Таврический, так очень просто было решено: завтра из этих слуша-

телей сколько угодно наберём себе в Военную комиссию, не откажутся.

Но как ни гениально всё это придумывалось, однако может быть они по своей штабной замкнутости хуже понимали, чем Ободовский: все их связи, вся их стратегия и карты ничего не спасут, если не будет поправлен революционный дух в казармах так, что масса рядового офицерства сможет возвратиться на свои места — и солдатское доверие встретит их.

И он убеждал генштабистов думать об этом, непривычном для них: им кажется, что младшие офицеры обеспечены само собой,— но это не так.

Тут пришёл от Родзянки сияющий Энгельгардт (ему стоило усилия держать себя выше этих несомненных военных): проект Ободовского обращения к офицерству подписан Михаилом Владимировичем: собираем их в зале Армии и Флота, будем регистрировать и нашим именем выдавать поручения в части.

Хорошо! — радовался и Ободовский. Но с вечно неуспокоенным своим вниманием:

— Господа! А может быть начнём эту работу сейчас, в Таврическом? Ведь тут — немало офицеров, от разных полков, они места себе не находят. Давайте соберём их на совещание сейчас же, вот тут, у нас?

224

Братьям Некрасовым и маленькому Греве в какой-то комнате с толкотнёй и суетой напечатали машинкой на полулистах бумаги удостоверенин: „Предъявитель сего такой-то, чин, фамилия, проверен Государственной Думой и должен беспрепятственно пропускаться всюду по городу. Член Думы Караулов". И лихой пожилой офицер в форме терского казачьего войска поставил свою крупную энергичную жирную подпись, поплывшую по бумаге, и напутственно пожал каждому руку.

Но уже отлично понимали наши москвовцы, что и с этими бумажками нельзя им из Думы даже и высовываться. Уже испытали они, как это бывает, когда никакое спасение не пробрезживает. Повидав, уже не могли они верить, что эти удостоверения выручат их, когда сомкнётся снова толпа расстрелять их и разорвать.

До чего же дошло в одни сутки: как подозреваемых воров, офицеров *проверили*, и вот разрешали свободно ходить по городу!

Безопаснее, чем в Таврическом, нигде не могло им быть сегодня. Возвращаться в свой батальон нечего было и думать.

Итак, оставались они полусвободными пленниками обширного, многолюдного, гудящего и доселе им не известного дворца, куда и в голову им никогда бы не пришло прийти самим прежде. И вот они ходили и ходили, верней переталкивались, отдаваясь течениям, куда их несло. При свободном времени, как у них, тут много можно было посмотреть и услышать.

В большом круглом зале под несветящим куполом, изощрённо отделанном по всему верху, куда не доставал человек,— внизу до того было намокрено и наслежено грязными ногами, что едва вызнавались крупные паркетные клетки пола. А об лакированный деревянный футляр больших стоячих часов почему-то гасили цигарки — и весь он стал в заляпах пепла, а кое-где и окурки пристали. Как, впрочем, и на стенах, на уровне плеч.

Тут много было завалено вкруг стен беспорядочными горками, и ещё возили и выгружали и продукты, и военное, целые свинцовые штабеля патронных упаковок. А два офицера с унтерами тут же разбивали ящики и на корточках собирали пулемёты из частей.

В этой работе и Сергей и Всеволод могли бы им хорошо помочь,— но для кого это всё? против кого?

В другом большом зале, тоже со стеклянным куполом, белом зале заседаний,— набиты были все возвышающиеся полукруги скамей солдатами: сидели втесную на думских местах, и на ступеньках проходов, курили и бессмысленно глазели. Какой-то новый тип солдатского выражения был тут у некоторых, какого братья за всю службу не наблюдали: тупо-довольное, но не радостное даже, и совсем без налёта готовности, офицеров они и не отличали взглядом.

И разительно было видеть столько солдат без строя, команды, организации — просто бродячих, свободных. Дикое впечатление.

А в высоченной дубовой раме за председательским местом свисал лохмотьями изорванный стоячий портрет Государя, аршин в пять высотой. А выше рамы резной венец с короной был не тронут — не достали. Жутко было смотреть, и чувствуешь себя соучастником кощунства.

А между тем и другим залом — в ещё одном великолепном длинном зале, долготою наверно шагов сто, с четырьмя рядами белых колонн и с огромными люстрами,— всё время кипели какие-то ораторствования, сразу в нескольких местах кто-нибудь глагольствовал, подмостясь или не подмостясь. Тут, в Думе, не было подозрения к офицерской форме, все здесь офицеры были как бы примкнувшие к революции, и могли без помех протискиваться к этим сборищам, хоть и сами выступать.

Говорили до потери голоса. Где проклинали кандалы царизма, где вспоминали 905-й год. Совсем непривычные неведомые речи, никогда такое звучащее не слышали. И не видели таких восторженных курсисток, упоённо внимающих оратору,— совсем неизвестный мир, и неужели это всё существовало в России и раньше?

А один оратор, молодой городской штатский, кричал, что вот царь, забывая о внешнем враге, стягивает силы для похода против народа.

— Мерзавцы,— ворчал одноногий Всеволод,— а сами они не забыли о внешнем враге, когда бунтовали?

Но и ворчать надо было потише, опасно. Царило в массе такое нетерпимое единодушие мнений, которого даже в армии не бывает: достаточно было раздаться полугласу против, чтоб этого дерзкого сразу осаживали с бранью.

Безопасность — безопасностью, но мерзко. И откуда так быстро создалось такое внушительное единство? От первых убитых. Вероятно же и здесь не все так думали, но все боялись возражать.

Иногда протискивал через толпу конвой несчастных арестованных полицейских — в мундирах или переодетых в штатское, иногда — в сопровождении жён и детей, не понять — захватили их вместе, или они сами пришли вослед.

Уже достаточно здесь потолкались наши москвовцы, чтобы заметить, что арестованных уводили на хоры дворца, там были комнаты, приспособленные под камеры,— и там бы сидеть и им троим, если б не встреча с Керенским. А каких-то видных вели не туда, но первым этажом, коридором в обход зала заседаний. Проводили тут высокого представительного господина в партикулярном платьи с почтенной седой бородой. И он оправдывался перед здешним прапорщиком:

— Я ни в чём не виноват! Я только выполнял свой долг, но, поверьте, нисколько не сочувствовал этим приказам. И совершенно напрасно меня привели сюда.

И противно было от высокого чина слышать такие оправдания, как не мог он думать вчера. А в голове, повторяя круженье Таврического, кружилось и своё одурение — оттого что мало спали, и от двух расстрелов, и не евши со вчера,— и так досадно было, что сегодня в комнате причетника не позавтракали уже принесённым.

Кого-то в каких-то местах дворца кормили — курсистки и студенты,— в основном солдат, это множество одиночек из распавшихся частей и живущее тут новой единой жизнью. То проносили еду в бочках куда-то. Но офицерам было невозможно идти просить поесть. Да невозможно было и накормить всё это человеческое море. То кричали: „Хлеб привезли!",— и все бросались, душились к выходу.

Всё же какие-то расторопные бойскауты выручили их, предложили с подносов по большому бутерброду с колбасой и по кружке чая.

И всё же — безопасность была выше. И оставалось кружиться здесь и день, и вечер, и даже ночь — а перед рассветом, в самое глухое время, когда революционное ликование уложится спать,— уйти по квартирам родственников. И даже разумнее было бы переодеться в солдатское или штатское,— но где же и во что тут!

А пока — асё ходили, смотрели, толкались и всё более осваивались в обширном здании Думы. Уже обнаружили они, побывали в левом крыле, где сохранялся ещё относительный порядок, простор в коридорах, думские служители в ливреях, охраняемые от посторонних комнаты,— здесь-то можно было посидеть, отдохнуть, а то хоть бы и прилечь на пол, московцы так опустились, что готовы были,— но именно тут это было и неприлично. Можно было представить прежнюю жизнь Думы отчасти по этому коридору, отчасти — поднимая глаза ко взнесенным потолкам, карнизам, фигурным верхам колонн, орнаментам, лепке двухглавых орлов, многосвечникам, люстрам, всему ещё не испачкbнному шарканьем снеговых сапог,— прежняя думская жизнь как опрокинулась вверх дном замершей картинкой. Но и в ту красоту тянул и поднимался табачный дым, густой человечий пар, запахи сапог, сукна и пота.

Около четырёх часов дня раздалась гулко близко пулемётная стрельба — и началась паника во дворце. Действительно, эту толпу как баранов можно было косить тут шутя. Наши московцы обрадовались: свои? надо к ним как-то пробиться навстречу через задние окна в сад. Но тоже пробиться не могли. А потом всё стихло и объяснилось ошибкой.

Шёл вечер, спать хотелось — валились головы, но нельзя представить, где ж в этой круговерти можно офицеру прилечь поспать. Дворец не обещал на ночь обезлюдеть: всё так же горели сотни электрических ламп, и тысячи людей толклись, толклись.

А оказывается, уже стали примечать их характерную тройку как непременную принадлежность здешнего кишения. А кто тут и зачем — знать никому было не возможно. И вдруг какой-то поручик остановил их:

— Ну что ж вы, господа московцы, почему не идёте на заседание?

— Какое заседание?

Оказалось, вот-вот открывается в 41-й комнате на втором этаже собираемое Военной комиссией Думы совещание представителей частей петроградского гарнизона для ознакомления с положением в частях,— и о них трёх так поняли, что они и есть прибывшие представители.

Переглянулись: почему ж и не пойти? Они вполне понимали себя как представители полка, и не худшие.

Повели их ходом, который они раньше и не заметили: там была узкая лесенка наверх, и обычные низкие потолки и комнаты скромные.

В 41-й комнате уже собралось две дюжины офицеров — сняв шинели на вешалку, сидели на скамьях и стульях как ни в чём не бывало, будто в городе нигде офицеров не растерзывали. Только не ото всех батальонов прибыли.

Наши трое тоже разделись. Зарегистрировались.

Лицом к собравшимся сидело три полковника генерального штаба, чистенькие, неощипанные, как полагается самоуверенные. И ещё один, пожилой, видно, что не строевой, полковник Энгельгардт повёл председательствование. Предложил представителям батальонов докладывать, что у кого делается.

Преображенцы и егеря уверяли, что всё гладко. В Измайловском были убийства офицеров. В Семёновском аресты. Штабс-капитан Сергей Некрасов без труда рассказал, что в Московском: разгром караулов, разгром офицерского собрания, наводнение казарм рабочими. (Только о расстреле своей тройки было бы нескромно рассказывать.)

Полковники кивали, что им это известно: Московский батальон более других захвачен рабочими, и в нём полная анархия.

Но, горячо говорил Энгельгардт, нельзя представить себе такой обстановки, чтоб офицеры не могли вернуться к своим солдатам. Тогда кончена армия и кончено всё! Напротив, революционный энтузиазм даст новую основу отношениям офицера и солдата, которых раньше быть не могло,— отношений, основанных на полном доверии и гражданском единстве. Напротив, следует ожидать невиданного боевого подъёма у солдат, который принесёт нам скорую и лёгкую победу над немцами. Особенно в этих условиях внешней борьбы со злейшим врагом России Временный Комитет Государственной Думы намерен высоко поставить офицерское звание. Военная комиссия с распростёртыми объятиями принимает всех офицеров — и тотчас снабжает их полномочиями на их прежние или новые посты.

Сергей покосился на брата.

Ещё слишком помнили они вчерашнее своё размягчение, как они отдали оружие солдатам,— и сегодняшних два утренних расстрела. А что они знали об офицерах, оставшихся в батальоне, особенно старших — капитанах Яковлеве, Нелидове, Якубовиче, Фергене? Ещё — живы ли они?

О-о-о, произошло нечто хуже, хуже, невместимое в улыбки Энгельгардта и в бодрые призывы Временного комитета.

Штабс-капитан Некрасов поднялся и сказал в тишине:

— Господин полковник! Господа! Вы же слышали: в батальонах офицеров убивают. Я вам рассказал: вчера днём мы в этих солдат стреляли и не могли не стрелять, по долгу. Какая ж мы к ним депутация завтра? Вообще, все мы — разве можем вернуться к тому, что было до мятежа?

225

Сегодня Гиммеру удалось не пропустить хороший обед — всё-таки товарищи думали о таких простейших потребностях, заботились и друг о друге тоже. Революция — феерия, это замечательно, но покушать с закуской, первым, вторым и третьим — это материальная основа для дальнейшей революционной инициативы. Главное, что удобно — совсем близко от Таврического, в начале Фурштадтской, пошли целой гурьбой. Там жил известный доктор Манухин, когда-то вылечивший Горького на Капри от туберкулёза,— и сам Горький, совершивший маленькую экскурсию по городу, тоже был на этом обеде.

Правда, он же и испортил его. Ото всего виденного великий писатель стался не в духе. Он брюзжал на всеобщий хаос, эксцессы, проявления несознательности, даже на барышень, разъезжающих по городу с солдатами на автомобилях,— и во всём этом видел признаки нашей ненавидимой азиатско-русской дикости, будут вколачивать гвозди в черепа евреев, и это приведёт к провалу замечательно удавшейся революции, а вот европейцы давно бы всё организовали. Гиммеру были просто смешны такие политически-близорукие выводы, и он осмелился спорить (независимый ото всех фракций, он и от Горького старался держаться независимо): что дела, напротив, идут блестяще, два неполных дня, а нет уже ни царского правительства, ни охранки, ни Петропавловки, это просто чудо. А все эксцессы, жестокости, глупость — без этого ни одна революция никогда обойтись не могла, такое теоретически немыслимо. (По сути, Горький — обыватель и судит с обывательской точки зрения, вот и показал себя.) Но другие собеседники поддакивали Горькому, что героев в России всегда было маловато,— и Гиммеру пришлось смолкнуть.

А в общем обед занял много времени. Сговорясь, кто будет ночевать у доктора Манухина, а кто у других знакомых поблизости, разошлись,— и Гиммер ещё часа на два пошёл в Таврический. Он вернулся в отличное состояние и не хотел пропустить ещё доли наблюдения или доли участия в событиях.

Был десятый час вечера. Дворец уже значительно опустел по сравнению с дневным временем, впрочем в Екатерининском сидели на полу, располагались ко сну и уже лежали сотни солдат. Освещение дворца может быть было нормальным в обычное время, но при таком обилии людей теперь казалось недостаточным.

Совет депутатов наконец разошёлся, прозаседав с полудня, но в его просторной комнате всё ещё сидело группками сколько-то солдат, сколько-то штатских, всё не могли выговориться о свободе и успокоиться.

В комнате № 13 тоже ещё оставалось несколько необедавших членов ИК — Гвоздев, Красиков, Капелинский,— и Гиммер энергично вошёл с ними в обсуждение всплывавших вопросов.

Оказывается, за эти часы в Совет, почувствовав, что это новая власть, потянулись владельцы газет и владельцы типографий с жалобами на разорение: почему им не разрешают выпуск? Они демагогически апеллировали к принципам свободы печати, что её не может быть при революции меньше, чем до революции.

Как сказать. Чисто теоретическое рассуждение может далеко завести. Гиммер активно вмешался, пошёл разъяснять недовольным, что уже состоялось постановление Исполнительного Комитета. Что здесь нужна осмотрительность, нельзя оступиться в контрреволюционное болото.

А типографский вопрос был острый, и все партии уже нацелили типографии, которые хотели бы себе конфисковать, и требовалось только решение ИК, ещё сегодня не состоявшееся.

Последние члены ИК расходились, а Гиммер обещал теперь подежурить до полуночи.

Без дежурного никак было нельзя, потому что всё время кто-нибудь врывался. Например, какие-то самочинные группы, наметившие арестовать кого-нибудь из зловредных слуг старого режима, но одни решались совершить это до конца сами (и не встречали сопротивления), а другие приходили всё же за устным или письменным разрешением в Совет.

Новое чувство это было для Гиммера, он изумлялся: ещё позавчера, по сути нелегальный, без разрешения жить на собственной квартире,— вот он сидел в удобном кресле за массивным столом и решал вопрос свободы или тюрьмы для какого-нибудь вице-адмирала — или сенатора Крашенинникова, председателя Петербургской судебной палаты,— а тем более, помнится, который присуждал к трём месяцам думцев-выборжан,— так революция это и есть — возмездие! Прежде всего — возмездие!

Чувство всесилия наполняло революционной гордостью: как же всё перевернулось! И каков уже авторитет Совета рабочих депутатов, если подпись одного неизвестного члена ИК — вот, высшая сила в Петрограде!

Но если не обманываться, у Гиммера не было уж такой полноты власти: наличествовал разгон революционной стихии, и что Гиммер легко мог — это р а з р е ш и т ь арест почему-либо назначенной жертвы, а что было почти бесполезно, это — о т к а з а т ь: всё равно учинят сами или возьмут разрешение у кого-нибудь другого.

Да и какие были у него основания отказать в аресте? Такой арест старательного слуги царского режима был a priori справедлив,— и тем более справедлив, чем этот человек был умней и талантливей, а значит — возможный двигатель царистской реакции или вдохновитель монархического заговора.

В министерском павильоне Думы уже сидело под строгой охраной несколько десятков этих высших сановников, и ещё были места для следующих голубчиков. А для тех, кто помельче,— отведены были комнаты вдоль хор зала заседаний Думы, и там уже было заперто, наверно, несколько сот.

Отлично шли дела!

Гиммер подписывал, группы убегали, приходили другие.

И вдруг с большим драматизмом, с криками, ворвалась группа солдат человек 8-10, одни со штыками, другие без. Гиммер думал — тоже с арестом какого-нибудь генерала. Нет. Они просто клокотали от узнанного ими приказа Родзянки: возвращаться всем по казармам, оружие сдать назад в цейхаузы, принять офицеров, а самим исполнять службу. Уже раскусив, где можно найти управу и защиту, солдаты ворвались в Совет, в надежде получить приказ противоположный.

Со своей исключительной интеллектуальной силой Гиммер во мгновение оценил, нет у з н а л, момент, который должен был прийти! Ах, как же просчиталась буржуазия! Им не терпится вернуть армию в руки офицеров — и они поторопились, они просчитались, они получат обратный эффект! Роковой момент, ожидающий такого же громоносного решения Совета, а сейчас — его лично, Гиммера!

Маленький, он — вскочил навстречу крупным солдатам, пожимал им всем руки, даже некоторым по два раза, благодарил, что они пришли, благодарил за пролетарское доверие, приглашал их всех сесть,— и только когда все уселись, опустился в кресло.

А сам тем временем — соображал как вихрь, в густоте политического сплетения. Он как будто начал беседу с солдатами и всё время что-то подбодряющее говорил им, на самом деле при всей ясности вопроса он не имел права сейчас высказать вслух решение, но просверливал его, чтобы представить товарищам по ИК.

Ещё бы не понятно было это солдатское состояние! — боязнь утерять мелькнувший призрак свободы и новой жизни. Конечно, оно обращалось недоверием и распалённым негодованием против офицерства. И это состояние надо было уметь использовать для хода революции! А — как? А — как?.. Вот не хватало практической политической хватки.

Пока что Гиммер мог обещать солдатам только: всё тщательно расследовать и поставить об этом вопрос на заседании Исполнительного Комитета.

А вскоре после их ухода ворвался — он всегда не входил, а врывался — Соколов. Он слишком задержался на обеде, но тем более был шумен и весел.

Он выдумал совсем несообразное: привёл какую-то польскую делегацию, вернее трёх поляков, неизвестно кого и какие круги представляющих, и требовал выйти к ним от имени ИК: дать возможность этим полякам поприветствовать русскую революцию.

Хотя в голове крутился солдатский вопрос — но польский вопрос тоже осевой в революции. Ладно, Гиммер уступил. Вышли с важным видом в комнату № 12, откуда служители выносили последние стулья, чтобы завтра Совету было просторнее стоять,— и тут декоративно-торжественно приняли поляков, выслушали их и свою произнесли им речь, желая и Польше не долго задержаться в фазе буржуазной революции, но иметь в виду широкие демократические перспективы.

Зато после приёма Гиммер теперь схватил Соколова за пуговицу, потащил в комнату ИК и там стал обсуждать с ним, выяснять теорию: общую постановку армейского вопроса, как он вставал теперь перед Советом. Не то чтобы Гиммер надеялся получить решение от бестолочи Соколова, но в беседе с ним думал отточить собственное. Вот есть такое распаление солдат: не возвращаться в повиновение офицерам! Такое настроение должно быть правильно канализировано. Это же неповторимый момент! Маркс и Энгельс говорили: дезорганизовать армию — это и условие победоносной революции и её результат. И установка Циммервальда — вырвать армии из-под буржуазного господства. Слышал ты про такой приказ Родзянки?..

Раз в воздухе носится — конечно Соколов слышал, что может его миновать! Правда, самого приказа никто в глаза не видел.

Хорошо, пусть такого приказа даже нет. Может быть, его и нет. Но достаточно было сегодня днём послушать возмутительные выступления Родзянки и Милюкова перед приходящими войсками — там всё это и содержалось: „возвращайтесь в казармы, повинуйтесь своим офицерам!". Но это есть лукавая атака на все достижения солдатской свободы. Цензовые круги открыто и бесстыдно призывают к порядку, к подчинению, послушанию,— пытаются опять загнать революционных солдат в офицерские ежовые рукавицы.

„Восстановить порядок"! — так для этого самого и движется генерал Иванов!

И вот какую тактику предлагал Гиммер. Конечно не выбрасывать открыто антивоенных лозунгов. Мы их пока молчаливо припрятали, и это совершенно верно: пока царизм ещё не побеждён окончательно, пока революционная власть ещё не освоилась и не укрепилась — нельзя нам допускать раскола с цензовыми кругами. Напротив, мы по-прежнему должны подталкивать буржуазию углублять и закреплять революцию.

Но вместе с тем не можем мы допустить, чтобы массы революционных солдат снова попали в плен к офицерству. Совершившийся выход их на свободу неповторим — и нельзя допустить простого возврата в казармы. Нужно нам, Совету, немедленно, завтра же, предпринять какой-то революционный шаг, который обновил бы все взаимоотношения *внутри* армии, создал бы в армии — атмосферу политической свободы и гражданского равноправия!

Соколову — очень понравилось, он — со всем согласился. Он — и сам отчасти уже думал схожее, и сегодня со Стекловым был у него сходный обмен мнениями. Он брался завтра идти с этим на Совет.

Что-то надо сделать, иначе какие ж мы циммервальдисты?

226

Ездил сегодня утром Милюков на Охту в 1-й пехотный полк — и зарёкся, больше по полкам не ездить, это не его работа. На большом плацу пришлось лезть на высокую вышку и оттуда на морозном воздухе кричать, надрывая себе горло — втолковывая неведомой солдатской толпе самые элементарные вещи: что общественную победу надо закрепить, для этого сохранить единение с офицерством, а иначе их полк рассыпется в пыль. Офицеров же призывал (они уже были готовы и рады тому) идти рука об руку с Государственной Думой и помочь организовывать власть, выпавшую из рук старого правительства, захлебнувшегося в своих преступлениях.

И не только было ему физически трудно, неприятно произносить эту речь, и не только не ощутил он реального эффекта от неё, но было до безобразия бессмысленно ему этим заниматься. Найдутся лужёные глотки. Стихия Павла Николаевича была публика университетская или даже западная. С армией что он имел общего? Только то, что сын его неразумный после гимназии кинулся добровольцем и погиб в Галиции.

Милюкову ли сейчас ездить на эти речи низкого уровня, когда именно в его голове столько мыслей, сложностей, планов, и всей силой своего интеллекта и предвидения он должен беспощадно пронизывать быстропеременчивую ситуацию.

Что видели все, что было доступно каждому? Что грозит анархия из-за подрыва офицерства. Что силы реакции ещё не разбиты, и движется извне карательная экспедиция генерала Иванова. И за этими внешними событиями упускали созидательную структуру: к а к же именно надо теперь организовать власть? Никто ещё, кажется, не понимал, какие напряжённые опасные двусмысленности возникали даже а тех немногих нескольких комнатах, где затаилось последнее, что осталось от Думы.

Первая двусмысленность и была — сама эта Дума. Хотя именно в её громких заседаниях, на крылах её авторитета и вознеслись над Россиею все они здесь, хотя ещё вчера клялись Думою и ещё сегодня войска приходили приветствовать именно Думу, и Комитет был думский, и сам Милюков именем Думы приветствовал 1-й пехотный полк, и все раздували именно ореол Думы (как видно теперь — непомерно), да и сегодня среди думцев ещё никто не сообразил и не мог бы высказать сомнительного суждения о Думе,— лидер думского большинства и лидер кадетской партии отчётливо и холодно понял: Дума — умирает. Даже — умерла, где-то между вчерашним и сегодняшим днём. Думы — больше нет, это фикция, от которой пора отрекаться, истинный политик должен отмечать подобные факты без сентиментального сожаления.

Парадокс, какими богата история: более всего добивалась Дума падения царского прааительства. А едва добившись — сама стала ненужной. Дума — отыграла всё полезное, что она могла дать, а в нынешние часы вся суть перетекала к новой правительственной власти, которую ещё надо было организовать и взять в руки. Дума была избрана недемократически, по столыпинскому закону, и не может быть авторитетна в такой шаткий момент.

К тому же авторитет Думы, в своё время заслуженно возвысив её лучших лидеров и ораторов, внёс и вредное наследство: тем, что непропорционально вознёс также и авторитет её председателя в глазах общества, но ещё непоправимей — в собственных глазах Родзянки. И теперь он не способен, да и не старается понять истинного соотношения сил и своей ложной роли: из его раздутости ему кажется, что это по его санкции создался Временный Комитет и по его санкции будет создаваться новое правительство, и сам же он его возглавит. И, рассчитывая как-то перехитрить Милюкова и других, он отклоняет разговоры о правительстве, а раздувает свой Комитет. И надо бы поскорей всё вскрыть и назвать, но не удаётся: вчера ночью Родзянку же ещё заставляли взять власть для Комитета, без этого не было пути. (Вот так текут революции: ситуации меняются по часам, спазматически.) А когда Родзянко преодолел свою трусость и решился,— он тут же с первобытной простотой потребовал ото всех членов полного себе подчинения — какого-то неслыханного феодализма, которого не было даже в царских правительствах. Все думцы и Милюков

просто остолбенели. Для таких случаев была у них о Родзянке известная фраза:

Вскипел Бульон, потёк во храм.

Остолбенели: каковы же аспирации, ничего себе! Но в ту минуту возражать было ещё рано. А вслед за тем грянула новость о карательных войсках, и тем более Родзянко стал нужен, чтоб остановить войска. Так и держался весь сегодняшний день невзорванный нарыв, и приходилось его толерировать.

А тем временем по вызову Милюкова сегодня из Москвы приехал уже и князь Георгий Львов. И надо было принять Львова в Таврическом и не сталкивать их носом к носу с Родзянкой, тоже дипломатия. А Львов так жаловался по телефону на усталость и очень просил, нельзя ли отложить встречу на завтра. Это неприятно поразило Милюкова: как можно настолько не чувствовать темпа событий!

Приехал. Сели беседовать с ним в одной из комнат. Милюков пытливо — так близко и так пристально, как ему ещё не приходилось, смотрел на этого низкорослого, очень аккуратно причёсанного, волосок к волоску, очень чистенького, очень вежливого, очень мягкого князя,— может быть потому так отличного от них тут всех, таврических, что он не провёл бессонной ночи во дворце, а хорошо спал в поезде и ещё после поезда на частной квартире привёл себя в порядок. А может быть потому, что он московский? А может быть потому, что он земский и никогда политическими делами, если раздуматься, не занимался, кроме последних месяцев всеобщего ажиотажа? Да, вот парадоксально! Во все твёрдые глаза смотрел Милюков на князя и удивлялся: как будто он *не наш*, из другого теста, не из общего потока общественности, не возбуждается, не тревожится тем, что всех их возбуждает и тревожит. Он как будто не ощущает обжигающих событий вокруг или во всяком случае опасается вмешаться в них.

Львов высказывался осторожно, благостно-расплывчато, а когда можно было вообще не произносить, а слушать,— то предпочитал слушать.

И засосала в груди Павла Николаевича самая тоскливая тоска, какая только может быть: тоска сделанной собственной ошибки. Как будто — не с той женщиной обручился, а свадьба вот уже подкатывает,— не вырваться, не исправить. Эту кандидатуру вместо прущего давящего Родзянки Милюков сам же и предложил, и продвигал, доверясь земской славе князя, времени не имев проверить самому. А теперь — все поверили и приняли, и Львов приехал, и поздно переигрывать.

Да собственно, он — неизбежен, Львов. Только на такую нейтрально-общественную фигуру и согласятся левые. А без левых в правительстве нельзя, надо восстановить с ними утерянный фронт.

Да даже угадывал Павел Николаевич и раньше некую слабость князя Львова, но думал, что это-то и облегчит потом отстраненье его. Не рассчитал, что власть придётся передавать в такие бурные дни, как сейчас: никто не мог предвидеть такой мгновенной и решительной катастрофы.

А засосало, что на таком кандидате можно всё проиграть, даже и временно не продержаться.

Подсели ещё несколько депутатов, разговаривали. Выглядело как пустой салонный разговор, а не приход вождя. И на тихий вопрос своего соседа:

— Ну, как?

ответил Павел Николаевич тихо:

— Шляпа!

И это было то самое основное *лицо доверия*, на котором должна была теперь успокоиться вся Россия!

Посидел-посидел князь Львов как в гостях, и даже в голову не пришло ему остаться бы в Таврическом на ночь, обсуждать состав своего же правительства, быть наготове к возникающим обстоятельствам,— посидел, откланялся и ушёл почивать на квартиру.

Да Милюков его даже не уговаривал: подумал, что самому вести торговлю о правительстве будет и проще. Он сегодня и на кадетском ЦК, за завтраком у Винавера, также обошёл обсуждение состава новых министров, это было не нужно.

Милюкову и вообще по-настоящему никто не был нужен или близок. Даже с самыми смежными товарищами по партии он избегал отношений личных: утомительно было распространять симпатию на частные стороны жизни и не менее утомительно встречать такую симпатию к себе. То ограниченное количество нежности, которое отпускается нам от рождения, естественнее и приятнее потратить на дам или единожды в жизни решиться даже на смену жены.

Но сейчас попадал Милюков в изоляцию большую, чем даже привык и хотел бы. Шингарёв был — тень его, работник, но не вождь. С болваном Родзянкой он еле себя сдерживал. С Маклаковым всегда была отдалённость и неприязнь. С Винавером соперничество, да он сейчас не в игре. С Некрасовым — стычки. С Гучковым — глухая давняя вражда. Из тех, кто сейчас тут вокруг вращался, Милюков едва ли даже не предпочёл бы Керенского. Но!

Но! Punctum saliens! Давно Милюков подозревал и замечал, его предупреждали, а в эти критические часы он даже и убедился, что между этими столь разными людьми, как кадеты Некрасов и Коновалов, и квази-эсер Керенский, даже не мыслимых, кажется, в соединении, существовала и вот явно проявлялась какая-то сокрытая связь, неожиданное согласие в самых парадоксальных вопросах. Как будто они специально по каждому вопросу успевали сговориться втайне от Милюкова.

Бессомненно, эта тайная связь не могла быть ничем иным, кроме так известного, но и так тайно и успешно скрываемого масонства. Масонство — оскорбляло Милюкова. Ему предлагали вступать, даже не раз, он всегда отказывался. Не только его рациональной натуре была чужда, коробила всякая мистика,— но даже это казалось какой-то невзрослой игрой. А ещё и нечестной, ибо масонство отменяло всякие личные таланты и заслуги, заменяя сговором членства. Это было бы подавлением индивидуальности.

Но как в переплывающее тесто — нельзя было в масонство твёрдо ударить, указать, критиковать. Мнимая пустота и мнимое недоумение.

Так и сейчас при подборе кандидатов в министры — чем иным можно объяснить такое противоестественное единство их мнений: ввести в правительство — Терещенку, бездельного молодого миллионера, ничего не умеющего, ни к чему не приспособленного и никому не известного. Просто скандал, как это можно будет представить публике? Что за него были Гучков, Коновалов — ещё можно было понять, они дружили и вместе в военно-промышленном комитете. Но почему — туда же и Некрасов, столько мотавший кадетскую фракцию своею левой оппозицией? Почему и Керенский, вопреки всем своим партийным позициям — тоже за Терещенку? Только — сговор.

Милюков изо всех сил старался их расколоть, играя именно на Керенском, но ничего не выходило.

Керенский, в эти дни всеобщий кокетливый герой, вёл себя исключительно непринуждённо. Он всё время вбегал и убегал, заботясь сыграть свою роль в обоих крылах дворца, а больше всего — посередине, в массе, то где-то принимал арестованных, то приносил кем-то бестолково притащенные в Таврический документы,— и во всём рисовал себя спасителем. То разваливался рядом на диване, готовый теперь уже до утра обсуждать состав правительства. То через пять минут вскакивал и опять убегал.

Ещё не был принципиально решён вопрос, войдут ли в правительство социалисты,— а они могли потребовать много мест. Переговоры с ними ещё формально не велись, а приглашались пока персонально Керенский и Чхеидзе, они же оба не хотели соглашаться без Совета депутатов. Но счастливо упоённые глаза Керенского выдавали его: здесь, на диване, обсуждение состава правительства конечно были счастливейшие его минуты. Да иначе быть не могло, всегда Милюков был уверен в его политическом реализме. Никакая социалистическая игра не могла же сравняться с увесистым министерским портфелем. Каким именно? Для третьестепенного адвоката трудно было придумать что-либо, кроме министерства юстиции.

Но тогда окончательно оттеснялся кадетский кандидат Маклаков. Но это было и неплохо: Маклаков всегда был кадет какой-то не настоящий.

А куда совать Терещенку? Совершенный ребус.

Тут вбежали с сенсационным известием: в Думу явился Протопопов!

Сам?? Потрясающе! Побеждающе! Какое возмездие! Уже ничто не могло остаться на местах! — Керенский взбросился на половине фразы и унёсся вершить власть. Многие любопытные поспешили за ним. Зрелище было, конечно, пикантнейшее.

Однако Милюков не пошёл. Во-первых, его положение было слишком солидно, чтобы выйти досужим зрителем. Во-вторых, политический противник имеет значение лишь пока он занимает позиции. А *лично*,— лично Павел Николаевич так же никого не ненавидел, как никого и не любил.

А происходило вот что. Протопопов, в дорогой шубе, пришёл в Таврический и вошёл внутрь, никем не узнанный. И может быть мог так и дальше идти, хоть и в думский Комитет, но растерялся в новой обстановке дворца, нервы его не выдержали. Он сам выбрал и обратился:

— Скажите, вы студент?

— Студент.

— Пожалуйста, проводите меня к членам Государственной Думы. Я — бывший министр внутренних дел Протопопов.

Первый раз он назвался *бывшим*. И тут же, неврастенически играя выразительными глазами, добавил, что желает общего блага и потому явился добровольно.

И настолько это получилось частным образом, и настолько его не узнавали,— да кто его знал? солдаты его не знали, и фамилии не слышали,— что студент спокойно потолкался с ним вместе до какой-то комнаты, где сидели беседовали члены Думы.

Те — изумились (даже больше, чем возмутились). А Протопопов — мял меховую шапку в руке и с неврастеническим извинением улыбался, и пытался говорить приятные фразы.

Тут, среди думцев, не нашлось железного человека, который бы распорядился, но, разумеется, никто не пригласил его и сесть. Так он стоял и мялся у дверей.

Но кто-то мгновенно бросился с известием — и вот уже в распахе двери показался струнно-гневно-неумолимый Керенский. Он был вытянут, сколько допускали кости, строг, бледен и даже прекрасен.

И обернувшийся Протопопов, со всем раскаянием, заискиванием и надеждой, произнёс почти невозможное, никто ещё так не выражался:

— Ваше превосходительство! Отдаю себя в ваше распоряжение.

Да отроду не слышали! да не готовы были услышать такое его уши! Но и это же — умягчило его сердце. Хотя он так драматически звонко объявил, что слышали за дверью и все в густом коридоре:

— Бывший! министр! внутренних! дел! От имени! Исполнительного! Комитета! — (непонятно было, думского или советского) — объявляю! вас! арестованным!

На крик стали толпиться за дверью и даже внутрь. Никто этого облезлого барина не приметил, а он оказался самый главный враг, чо ль?

Арестованным? Протопопов, счастливо облегчаясь, будто этого только и ждал, и желал! — имел однако бестактность подшагнуть к Керенскому и пытался сказать ему что-то конфиденциально.

Но беспорочно недоступный Керенский отклонил недостойного властным движением узкой руки — и ею же взмахнул само собой появившемуся конвою, указывая вести.

И двинувшись вперёд, той же рукой трагически помавая, восклицал в толпе:

— Не прикасаться к этому человеку!

Коли б он не кричал — никто б того барина и не подумал трогать, а тут уже и руки сами вытягивались, время такое — укажи, кого рвать. Вот-вот на темя ему могла опуститься рука или приклад.

Протопопов бросал отчаянные взгляды, вымаливая себе откуда-нибудь спасение.

Может и пожалели.

Как прокажённого, как ведомого на казнь или ещё что худшее, с ружьями наперевес, повели этого, в шубе съёженного,— и толпа расступилась, отдавая его на расправу несомненную.

Так и шли, через Екатерининский наискось, а потом коридором до министерского павильона, и сквозь пару преображенских часовых.

И только за последней дверью Керенский, уже не так вопленно, голосом уменьшенным, но всё ещё неподкупно строго, объявил прапорщику Знаменскому:

— Господин караульный офицер! Бывший министр внутренних дел желает сделать мне какое-то секретное сообщение. Потрудитесь провести его в отдельную комнату.

И сам снисходительно прошёл туда же.

Протопопов, пережив спасение от толпы, с горячечно благодарными глазами за самую малую тень покровительства, повторял так пришедшееся:

— Вот, ваше превосходительство... вот...

И совал Керенскому какой-то ключ.

Он так был нервически потрясён, слова не выговаривались чётко,— Керенский не сразу понял, что этот ключ — от ящика письменного стола в министерском доме на Фонтанке. А в том ящике найдётся другой ключ, уже от несгораемого шкафа. А в том шкафу в газету завёрнуты 50 тысяч рублей, принадлежащие графу Татищеву.

— Зачем же там его деньги?

Протопопов даже извивался плечами, так ему было стыдно. Речь вернулась к нему, он говорил быстро и сбивчиво.

Собственно, это уже деньги не графа, а министерства внутренних дел. Они принесены в вознаграждение за некоторую поблажку. Но Протопопов, разумеется, не взял себе ни копейки. А так и было решено, что деньги эти пойдут на помощь семье убитого Распутина.

А теперь Протопопов жертвует их новой власти.

227

Подхватистый преображенский унтер Фёдор Круглов, самозванный начальник караулов по Таврическому, быстро сообразил, что ни один из постов его, часто сминаемых толпою, не имеет такого значения, как этот — у входа во временную тюрьму бывших министров.

Никогда Круглов не служил тюремщиком, вряд ли сидел и сам, но по наклонности быстро усвоил может быть слышанное урывком, и сегодня с утра, когда стало подбывать высокопоставленных арестантов, он толково применял тюремные правила: должны были все арестованные быть обысканы и всё из карманов отнято; должны были все арестованные целосуточно сидеть на стульях и в креслах, а не лежать на диванах (которых и не могло на всех хватить). И никто из них не мог встать пройтись, расправить ноги, пока не будет дана, в день раз или два, общая для того команда. И не подходить к окнам, иначе из сада будет стрелять часовой. Чтоб сообщить о своих потребностях, должен был арестант поднять руку и молча её держать.

Несколько раз приходил сюда Керенский как главный шеф арестного дома. Он же объявил и порядок всеобщего гробового молчания: не должны были арестованные разговаривать между собой, даже обмениваться самым незначащим, а только отвечать на вопросы караула и должностных лиц.

Для уследки за всем тем по комнатам у стен расставлены были вооружённые солдаты. (На эти посты, по ротозейности их, добровольцы всё время находились.) Сам же унтер Круглов, отрываясь от других постов, всё чаще и чаще приходил сюда и прохаживался тут, вокруг сидящих, удивляясь судьбе, вознесшей его ввдо всеми вельможами.

И Керенский так был им доволен, что властно положил свою лёгкую руку ему на погон:

— Пришейте себе четвёртую нашивку, я вам добавляю!

И хотя во всей русской армии ничего подобного не было — четвёртой унтерофицерской лычки, Круглов сообразил, что это сильно его возвышает,— и к вечеру она была вырезана и пришита, удивляя сидящих тут генералов.

У Круглова были углубистые глаза, и лаистый голос, он обрывал попытки говорить или просить. И когда кто-то из обслуги обратился к сидящим „господа", он окрикнул: „Не господа, а арестанты!".

Чем сильней было давать перевес, тем кренче будет новая власть.

И вот в этом одноэтажном павильоне, сбоку пристроенном ко дворцу, так и предназначенном для министров в перерывах думских заседаний, теперь собирались — частью министры последних правительств, частью разные сановники или видные деятели (иногда по случайному капризу обстоятельств или мстительности своих врагов). Большей частью они пришли сюда одетые тщательно, в крахмале и отутюженности, они вообще не одевались иначе. Многие из них, самые важные, попали за овальный стол в зале министерских заседаний — как будто для важного заседания.

И они — всё имели в голове, без бумаг, для такого обсуждения. Тут было три премьер-министра, и много долголетних министров, и все они не раз писали весьма рассудительные докладные своему Государю и делали всеподданнейшие доклады — со значительным пониманием государственных проблем, гораздо более высоким, чем их обвиняли в Государственной Думе. И все они держали в памяти череду государственных дел, осуществлённые и упущенные возможности за много лет,— и так лучше многих членов Думы могли оценить всё происходящее, утешая или растравляя друг друга. Все вместе они держали в голове ещё цельный образ и смысл государственной России,— но обречены были никому его не передать, и самый обмен мнениями был им запрещён.

За соединительным коридором гудело многотысячное солдатское море, невообразимо перемешивались лица,— тут люди одного слоя и тона были посажены каждый как бы в невидимую одиночную клетку — травить самого себя собственным бедственным жребием. В этой неподвижной затёклости и молчанке вокруг общего большого стола государственные соображения в их головах были затмены и утеснены собственной бедой. И всего-то они могли ждать только — как бы им поесть, да разрешили бы ночью не сидеть, а прилечь, хоть и в этой одежде, хоть и мучение не менять одежды на ночь.

Сперва через окна вливался ярко-солнечный день, потом он перешёл в пасмурный, даже со снегом. Однажды сильно стреляли близ дворца, так что металась надежда на освобождение. Но кончилось ничем. И вот потянулся изнурительный долгий вечер при лампах.

Самого последнего ненавидимого правительства, которое только что было свергнуто, как раз почти и не было: ни Беляева; ни Протопопова, которого, роя землю, искала вся столица, а числили уже в Царском; ни Риттиха, ни Раева; ни Покровского, ни Кригер-Войновского, ни Григоровича,— к трём последним благоволило общественное мнение, а главные разыскиватели на арест были студенты. Сидел тут только князь Голицын, столь же недоуменно-неуместный здесь, как и недавно во главе правительства; да стареющий эпикуреец Добровольский, наиболее комфортабельно попавший под арест: сам позвонил о сдаче из итальянского посольства, и Родзянко прислал за ним автомобиль; да более всех виновный Рейн, несостоявшийся министр здравоохранения, запрещённого Думой; да позже привели Шаховского, Барка и Кульчицкого.

Зато были два предыдущих премьера — 77-летний хладнокровный Горемыкин с опущенно-разведёнными бакенбардами, не упустивший прихватить с собой и коробку сигар, сокращавших ему тут время. (А привели его, навесив для глумления поверх шубы цепь Андрея Первозванного.) И 70-летний Штюрмер с помятой вялой бородой и дрожащей челюстью. Зато было несколько заместителей министров — иногда случайных, иногда известных твёрдыми убеждениями. Зато памятливое общественное мнение выхватило сюда, вдобавок к Щегловитову,— врача Дубровина, председателя Союза Русского Народа, и нескольких видных правых из Государственного Совета — Ширинского-Шихматова, Стишинского. (А митрополита Питирима, как он расслабился и заболел у самых дверей, так и не довели, отпустили.) Обман Хабалова не помог, арестовали и его. Несколько чинов градоначальства, во главе с Балком. Злополучный хлебный уполномоченный Вейс. Попался и Курлов, никак не

ожидавший себе ареста и застигнутый дома утром,— сидел вот, низкорослый, с прищуренным одним глазом и сигарой в углу рта. Несколько генералов, начальник Военно-медицинской академии, начальник военно-учебных заведений да начальник военно-морского корпуса вице-адмирал Карцев, да адмирал Гирс, да начальник управления железных дорог. А остальные — мельче, незначительней, и не все уже принимались в этот павильон, отводили их на второй этаж.

Так, кроме нескольких сильных лиц уверенных убеждений, состав собранных арестантов поражал своей незаконченостью: неумело ли были проведены аресты? или некого было в императорской России брать?

Новые узники сидели в своих прозрачных одиночках по нескольким смежным комнатам, иногда открывался вид из двери в дверь, можно было досмотреть туда и так догадаться, кто уже попал и кто ещё не попал. Сановные пленники ревниво оглядывали друг друга, с удовлетворением находя знакомых („не я один") и с завистью не находя известных одиозных лиц, как Николай Маклаков или Протопопов. С обидой видели, что главный виновник всех последних месяцев — словчил и ускользнул! Но вся свобода узников была — вертеть молчаливой головой да жаловаться про себя.

Вся их оставшаяся свобода была — под столом подбирать ноги или отпускать их. Выход в уборную разрешался по одному, с выводным, не часто и не сразу, как старикам бывает и трудно. Вот только когда узнали они неоцененную степень своей бывшей свободы, даже в обиженной отставке: передвигаться, разминать ноги или давать хребту отдыхать в постели.

Иногда несколько курсисток приносили им поесть: бутербродов и чая, так и ставили на столы перед ними. То и было всё разнообразие в их суточном сиденьи.

Да с важностью входил Керенский, обходил комнаты напряжённо-торжественной фигурой:

— А, Стишинский! Однако вы могли бы встать, когда с вами разговаривает член Комитета Государственной Думы.

Керенский привёл и прапорщика Знаменского, никому не известного своего приятеля, объявив его начальником караула павильона, над Кругловым. Курсисткам Знаменский назвался, что — педагог, но прирождённая хватка у него оказалась тоже тюремная и сильный голос для окриков, хотя он обращался мягче Круглова. Однако весь установленный жестокий режим при нём не ослабел. Так же с зычностью поднимали призрачный мир сановников:

— На прогу-у-улку! Внимание, часовые! В случае неповиновения — применять оружие! Всем, всем подниматься!

Но не приходилось им надевать пальто, шуб (да деть их было некуда, сановники так и сидели просто в них или держа их под собою в креслах),— а вставали, как были, иные пошатываясь, и, повинуясь педагогической длани Знаменского,— шли гуськом в затылок вокруг своего стола, по-за стульями, по-за креслами своих коллег, раз в круг добредая минуть и собственный свой стул.

И так брели они этой странной вытянутой вереницею, только пожилые и старики, чередуясь гражданские в белом крахмале и военные с тяжёлыми витыми эполетами, все дородные, все вальяжные, многие ходившие в придворных церемониях, а вот теперь здесь,— отсиделыми ногами, а кто с кружащейся головой, без права поворачивать ею, лишь глазами коситься,— замкнутой овальной чередой, как не ходят нормальные люди, и уже некоторые не зная вскоре, не лучше ли рухнуться в своё кресло,— пока не звучала тем же густым голосом команда:

— Са-дись по местам.

Было ещё у стен полдюжины коротких бархатных диванов, и прапорщик Знаменский определял на глазок, кому разрешить на ночь лечь.

Молчали гробово.

Только растравленный адмирал Карцев несколько раз за вечер вдруг вскрикивал сильно:

— Дайте воздуха!.. Душно, дайте воздуха!..

228

События кипели где-то, но к царскосельскому Александровскому дворцу докатывались только слухами и более всего не через должностных чиновных лиц, а через прислугу. Слух был, что в Петрограде убит камергер Валуев. Слух был, что пробрался в Царское начальник петроградского Охранного отделения генерал Глобачёв, его отделение разгромлено со всеми тайными бумагами,— но это он рассказывал начальнику дворцовой полиции, а сам не сделал попытки доложиться императрице. Пришёл ужасный слух, что подожжён дом графа Фредерикса, а графиня отвезена в больницу. Похоже было, что в Петрограде и всё разгромлено, что могло стоять, что было властью, а новый думский комитет Родзянки не владел положением. И даже, рикошетом от столицы, достиг слух, что и сам Протопопов — в Царском, и даже прячется здесь, во дворце, или у Вырубовой,— и из-за этого будут громить дворец. (А что Вырубова приносит несчастье — это вся прислуга почему-то считала так.)

Ах, Александр Дмитриевич, надежда царской семьи! — отчего же он не спас ничего?..

И в самом Царском усилялось брожение. Говорили, что броневики подошли к Софийским казармам стрелков и поднимали их куда-то. Что в царскосельской ратуше собирались солдаты и офицеры. Изредка издали доносились выстрелы — как будто громко кололи дрова. К вечеру сгустилось ощущение подступающей опасности.

Но ничего реально дурного не присходило близко, никакие мятежники на виду не появлялись — и свободен оставался проезд к Фёдоровскому собору, где в 7 часов был назначен молебен о здравии цесаревича. Государыня поехала с единственной здоровой Марией, а также немало офицеров Конвоя и Сводного полка.

Чудный был молебен, но душа не стала легка. Возвратились во дворец так же беспрепятственно, однако здесь — то от баронессы Буксгевден, то от четы Бенкендорфов, от мадам Шнайдер и от Лили Ден, государыня узнавала жуткие новости, которыми уже был угнетён дворец: в Царском солдаты разбили несколько винных лавок и погребов (заходили распивать в соседние дома, а если их не впускали, то разносили двери),— и это были императорские стрелки?? Да и при закрытых окнах была слышна усилившаяся беспорядочная стрельба, а при открытых форточках — и игра военных оркестров, то как будто гудел морской прибой или как изображают шум толпы в операх. Передавали, что освобождены арестанты из тюрьмы. Но самых страшный слух был, неизвестно как пришедший, но уже уверенный во всём округе: что из Колпина к Царскому валит огромная толпа, называли тридцать и триста тысяч, тамошних рабочих и всякой восставшей черни,— идут сюда, громить дворцы!

Но, правда, немалая же сила стояла и на охране дворца. Прямо во дворце, в его обширных подвалах и примыкающих казармах, были собраны: две роты Конвоя — терская и кубанская, одна рота железнодорожного полка, два батальона Сводного гвардейского — и уже пришли из Александровки две роты родимого гвардейского экипажа, и ещё была батарея воздушной охраны во дворе, пушки которой теперь наклонили и направили к воротам. И несколько дворцовых генералов было во главе, а генерал Гротен — и воевавший, с фронтовым опытом. Вдоль дворцовой ограды вкруговую была расставлена цепь. Вне ограды разъезжали верхом казаки Конвоя.

Сила была немалая, и все преданные, все верные, готовые к защите — и против них разрозненные расстроенные солдатские толпы не должны бы иметь силы, да они не пытались и приблизиться.

Но вдруг сами воинские начальники обнаружили, что их части, так долго содержимые для лейб-защиты Их Императорских Величеств,— как же могли быть применены? Если принимать бой и защищать дворец — то при перестрелке могут получить повреждение члены августейшей семьи, да и сам дворец?

Обратились за разъяснением к Ея Величеству.

Александра Фёдоровна сохраняла всё мужество и наружное спокойствие,

она словно совсем перестала испытывать в эти дни свои беспрерывные изматывающие болезни. Она была здесь сейчас как бы старший из генералов, первый комендант своей дворцовой крепости, несомненный начальник этого пёстрого гарнизона. И власть была ей дана — пожалуй, впервые в жизни, не опосредствованно, не через влияние на царственного супруга, не через приказы послушным министрам, не влиять-уговаривать,— но прямая власть применять силу и открывать огонь.

И, всю 45-летнюю жизнь томившаяся от невольной женской своей ограниченности, оттого, что не открыта ей прямая власть над событиями,— в этот великий день событий и при собранной всей своей решимости, смелей и властней всех этих придворных мужчин и генералов,— императрица почувствовала, что уверенность решений изменяет ей. Все предметы вдруг задвоились, затроились — и она перестала единственно верно видеть: как же следует поступать?

Давать бой?..

Единовластие оказывалось совсем не прямолинейно, каким Александра Фёдоровна видела его всю жизнь.

Угроза разгрома дворца, шальных пуль, залетающих в окна, может быть и к детям (может быть и к наследнику!), и возможные раны и смерти любимых чудесных конвойцев, которых знала она в лица и по фамилиям, и семьи их, и гвардейских матросов (столько спутников яхтенных прогулок!), да и гвардейцев Сводного полка,— да даже не только их, но и тех, наступающих, не известных поимённо, но тоже наших, императорских гвардейских полков,— обессиливали её приказать бой.

А те колпинские рабочие, которые только и рвутся для грабежа и мести и может быть подкатят сюда через час? К ним — у неё не могло быть жалости?

Сколько травили её и кляли, что она — немка, что она — чужая, не считает народных смертей, а жалеет только немецких военнопленных,— от одного этого висящего обвинения, если не просто как христианка, воротившаяся с церковной службы,— она не могла приказать стрелять!

А стрелять в эту колпинскую толпу — это был бы ужасный повтор ужасного 9 января, этот распад ума, когда, имея всё оружие, ты беспомощен что-либо сделать.

Сколько раз в колебаниях и растерянности мужа императрица дрожала от порыва к действию! И вот — прямо к ней обращались генералы за приказом, а она ничего не могла повелеть, кроме слабости.

Расслабились брови над её глазами и разжались губы.

Порог решения.

А ещё то, почему-то, добавило страшности, что вдруг погас электрический свет по всему Царскому Селу, кроме дворца,— и ночной мятеж в этой мгле показался особенно затаённым и угрожающим.

Тут баронесса Буксгевден позвала её к окну. Там, на площадке перед дворцом, освещённый фонарями и окнами дворца, генерал Ресин выводил и расставлял две роты Сводного полка — очевидно, готовился к близкому бою.

И действительно, ружейные выстрелы, казалось, приближаются. И кто-то сказал, что в пятистах шагах отсюда убит полицейский на посту. Вот-вот начнётся стрельба и здесь, и прольётся кровь на глазах! А ещё же — сколько беззащитных постов расставлено вокруг решётки парка! Нет!! Этого нельзя допустить!! Кровь — не должна пролиться, и тем более — на глазах!!

— Ради Бога! ради Бога! чтобы ради нас не было крови!!

Но — как же?

Государыня распорядилась: все войска ввести внутрь дворцовой черты. И — снять посты за парковой решёткой.

Но если не воевать — тогда неизбежны переговоры?

Да, очевидно так. Да. Как-нибудь уладить, договориться. Послать парламентёров.

Кого же? куда? к кому?

Придумали: начальника дворцового управления князя Путятина послать — куда же? — в ратушу, где мятежники собираются, и предложить

нейтралитет: дворцовые войска не станут стрелять, если не будет внешнего нападения.

Повилась размытая черта между мраком города и ярким светом дворца. Ожидание. Иногда оттуда надвигались, с криками или песнями. Отходили.

Но нарушился строгий недопуск. Проникали какие-то неизвестные личности и в полутьме шептались с дворцовыми. Во дворец просочился и распространился расслабляющий слух: что если только вздумают защищаться, то артиллерия откроет по дворцу разрушительный огонь. И хотя комендант Царского ещё днём предупредил, что царскосельская артиллерия не имеет снарядов,— сейчас нелегко было убедить рядовых защитников, что это — действительно так.

Возбуждение поднялось и на верхи. Во дворец собрались многие придворные чины, жившие вне, как Бенкендорфы или Апраксин,— а теперь им следовало оставаться здесь и помещаться едва ли не в комнатах прислуги.

Усвоив и развивая принятое миролюбие, граф Апраксин испросил повеления государыни перевезти больную Вырубову со всеми её четырьмя сиделками и тремя докторами — куда-нибудь вовне дворца, чтоб ослабить напряжённость и опасность для остальных.

Императрица изумилась: она сказала — миролюбие, но разве это значит предавать друзей?

О! сколько было пережито, изжито и подавлено в её отношениях с Аней за 14 лет! Не было у государыни женской души доверительней и капризней, и надоедней, и даже такого предмета растравной ревности,— но в голову бы ей не пришло пожертвовать Аней для благополучия остальных. Перевозить её в кори, когда детей она не решилась перевозить.

Скорей, она видела теперь, ей придётся расстаться с этим графом.

Возвратился князь Путятин из ратуши. Перемирие принято,— но пусть на дворцовых патрулях будут белые нарукавные повязки — в знак миролюбия.

Хорошо. (Разорваны две скатерти на повязки.)

И дворцовый гарнизон пусть пришлёт своих представителей в революционную комендатуру.

Хорошо.

И пусть пошлёт парламентёров в Государственную Думу в знак признания её.

Ничего больше не оставалось. Хорошо. (Незаметно и без боя дворцовый гарнизон включался в бунтующий.)

Но торжество было в том, что избегнуто кровопролитие.

Тут передали из почтовой конторы по телефону, несказанно обрадовали государыню новой телеграммой от Государя, уже из Лихославля. Он подтверждал, что завтра утром надеется быть дома.

Ну слава Богу! Ну слава Богу! Завтра будет сам, и кончится эта неизвестность. (Едва ли не впервые в жизни она воспринимала своего мужа как твёрдого повелителя.)

Всего оставалось пронести бремя императорской власти — до утра.

Но тут стали докладывать, что дворцовые части в смущении, на них подействовали вести и угрозы извне. Были даже глухие намёки — уйти из дворца.

Офицеры обходили свои роты и подбадривали, что наступил момент доказать на деле свою преданность Государю.

О нет, не так! Тут — знала государыня приём. Сколько раз какое воодушевление, восторг испытывали все полки, которые объезжал смотрами Государь, да ещё с наследником. Надо понимать эту немудрёную народную душу: они — обожают царственную семью и на царских глазах готовы на всё.

И Мария Антуанетта сейчас пошла бы обойти строй своих швейцарцев.

И решила императрица: сама обойти фронт своих войск в дворцовом дворе. Её предупредили, что очень холодает. Но она как будто забыла свои бесчисленные болезни, никогда она не двигалась так уверенно, как эти дни.

Вот сейчас они взглянут на неё, верные души,— и воспрянут, и выпрямятся, и будут готовы на любой смертный подвиг!

Большой дворцовый двор был освещён сильным электрическим светом — и в нём выстроили в карре несколько рот. Мороз набрался — 23 градуса по

Цельсию, и крупно вызвездило небо сквозь всё электрическое осиянье. Слышались постреливания и песни в тёмном Царском Селе. Выстроенных предупредили не отвечать на приветствия громко.

На высоком крыльце распахнулись широкие двери. Вышли и стали по сторонам два нарядных лакея, над собою подняв серебряные канделябры с зажжёнными свечами, хотя и не добавлявшими света во дворце.

В шубе и белом пуховом платке вышла высокая, ровная, жёстко-величивая императрица, на закинутой голове как бы неся невидимую корону.

Рядом с нею в меховой шубке шла полноватая миленькая 18-летняя Мария, совсем без величия.

Войскам негромко отчётливо скомандовали.

Снег скрипел под ногами.

Царица и царевна обходили ряды, кивали, улыбались — ведь они не могли ни взять к козырьку, ни скомандовать сами.

А сказать солдатам что-нибудь отчётливо и громко — царица не нашлась, да и опасалась своего акцента.

Можно было что-то говорить негромко офицерам, даже непременно надо было говорить. А — совершенно нечего, неудобно, не придумать и столько фраз.

Разве:

— Как холодно! Какой мороз.

От мороза или чего, но лица многих солдат были хмуры, никак не сиял всеобщий восторг, не прорвался в полугромких ответах рот,— и сама государыня уязвлённо заметила это.

Смотр — тоже оказался трудным императорским делом.

Августейшие особы — обошли, ушли. Надо было бы ещё спуститься и к тем частям, кто оставался в подвалах, но уже отказывали ноги императрицы. Она уже падала.

Со двора водили солдат — группами в коридор 1-го этажа и там поили чаем.

Часовые при орудиях прыгали, чтобы согреться.

В тёмном с заревами отдалении слышались пьяные голоса и редкие выстрелы.

229

Поезд со свитою, литер „Б", шёл на полчаса раньше императорского поезда, литер „А". Перед десятью часами вечера в Вышнем Волочке от жандармского подполковника узнали: в Петрограде Николаевский вокзал горит, новый комендант вокзала всего лишь поручик Греков приказывает всем начальникам станций сообщать ему обо всех без изъятия воинских поездах, их составе, количестве людей, роде оружия — если они имеют назначением Петроград. И поездов этих не выпускать со станции без разрешения временного комитета Государственной Думы.

Это, очевидно, касалось экспедиции генерала Иванова — о ней уже прослышали в Петрограде.

Впрочем, опоздали: генерал Иванов уже вероятно в Царском, и верные полки стягиваются к нему.

Но если так следили за воинскими поездами, то тем паче за императорскими? Каждый переход их от станции к станции отмечался в мятежном Петрограде — и там что-то готовили против них?

Но если так — надо же было что-то предпринимать, нельзя же было ехать так безоглядно!

Что думал Государь?

Однако не было указаний свитскому поезду останавливаться и ожидать. Единственно они могли — оставить на станции связного для Воейкова с изложением обстоятельств.

Через полчаса после литера „Б" подкатил к Вышнему Волочку императорский литер „А". Воейкову были доложены все опасения свитских.

Воейков сумел поставить себя так гордо и независимо, будто ему одному

принадлежало не только решение о пропуске или непропуске каких-то известий к Государю, но и само решение по этим известиям.

Ничего не ответив свитскому и ничего не выразив надменным лицом, он перешёл по платформе и поднялся в вагон к Государю.

Через несколько минут императорскому поезду было дано отправление дальше.

Светло-успокоенное настроение сегодняшнего солнечного дня, особенно после ликующих солдатских приветствий,— с сумерками, с темнотою и с тревожными известиями угасло в Государе. Он курил по полпапиросы, вдавливал их в пепельницу.

Унизительно, но на просторах и железных дорогах его страны распоряжался даже не Родзянко, не Гучков,— а какой-то Бубликов, какой-то Греков... От этого одного заполнялась душа скучливым омерзением.

Он — не понимал, как это могло происходить — да ещё во время войны?

Лишь спокойно-упорядоченный, подчинённый вид проезжаемых станций успокаивал, что всё остальное был налёт какого-то бреда.

Если принять всё это всерьёз — что возникло противодействие Государю на просторах его государства,— то, может быть, надо было применить ещё более решительные меры? Привести в действие главные силы?

(Да не вернуться ли в Ставку?..)

Ни с кем, ни с единым человеком, однако, не мог он посоветоваться! — ни меньше всего с Воейковым, о котором правду всегда говорила Аликс, что он плохой советчик, что его надо осаживать, и даже — не настоящий друг, но держит нос по ветру.

Как бы это вдруг: повернуть в Ставку? А Аликс и больных детей покинуть на произвол судьбы?

Что должна она испытывать, бедняжка ненаглядная, в самой близости разбойного мятежа? И он обещал ей завтра утром быть.

Да и как такой поворот выглядел бы перед тем же Воейковым? перед всеми придворными? Потом и перед Алексеевым?

Монарх бывает скован в движениях больше, чем любой подданный.

Окончательное решение он мог принять только достигнув Аликс.

Катили дальше. Гладко шёл поезд по отлаженной Николаевской линии.

Государь не находил, чем заняться до вечернего позднего чая. Не читалось. Много курил.

Вспомнил свою беспричинную грудную боль позавчера на литургии, так и не разгаданную,— боль при наиздоровейшем сердце и всём теле. Не было ли это каким-то знаком или предчувствием, угаданием на расстоянии?

В Бологом ожидался встречный фельдъегерь из Царского Села и новости от Аликс. Но когда пришли в Бологое близ одиннадцати вечера — не оказалось фельдъегеря. Вместо этого свитские раздобыли ходивший на станции листок за подписью Родзянки: о создании временного комитета Государственной Думы, который перенял всю власть от устранённого совета министров в целях восстановления порядка.

При бушевании черни это могло быть и хорошо — но слишком давне было недоверие к Думе, всегда интригующей против Государя. И редко кого Государь так упорно не любил, как Родзянку. В перенятии же власти от совета министров было и дерзкое самозванство.

А само Бологое — совершенно спокойно. И до Тосно, поскольку были сведения, повсюду охрана и никаких беспорядков.

И уже так близко оставалось до Аликс — к утру уже можно быть с нею! Как же не ехать дальше?

Вперёд!

Как любил про себя повторять Николай: сердце царёво в руках Божьих.

230

Положение конвойцев Его Величества было особенное, высокое, в родных станицах аж глаза закатывали: охраняет самого Царя! И верно: раз уж зачисленный в Конвой (по виду, по лицу, по покровительству), казак стано-

вился если не членом императорской фамилии, то как бы спутником её. Он много раз в простой обстановке и разных чувствах видел и царя и царицу, сопровождал их в поездках, конно охранял парки, где они гуляли, стаивал вблизи комнат, где они разговаривали, нередко и по-русски, был знаем ими по фамилии, привыкал к их небожественности, а к своей напротив довечной обеспеченной поднятости над положением простого казака. Не приходилось ему томиться по смене обмундирования, по увеличению содержания, по праздничным подаркам,— всё это приходило неизменной чередой, как и рождественская ёлка конвойцев с непременным посещением царя, царицы и дочерей. А обязанности были: лихо выглядеть в своём страшном убранстве, чернолохматой папахе над красной или синей черкеской при белом бешмете, сапогах без каблуков, внушительно стоять на постах, весело отчётливо отвечать на приветствия, а при свободе от дежурств и кончив утреннюю уборку коней — хоть прыгать в упругую чехарду с такими же застоявшимися товарищами.

Собственный Его Величества Конвой со славою состоял при особах императоров уже 106 лет (ни разу не вступивши за них в бой), и в этом была гордая устоенность его.

Пять сотен его в начале 1917 года распределялись так: по одной кубанской и терской сотне в Могилёве, при Ставке, по одной — в Царском Селе, при дворце, пятая сотня — частью в Киеве, при вдоствующей императрице, а частью — 37 человек, 2 офицера, денежный ящик, имущество конвоя и запасные лошади — в Петрограде, в подворьи между Шпалерной улицей, куда выходили ворота, и Воскресенской набережной, куда выходило несколько офицерских квартир.

Гой, беда! ворота выходили на Шпалерную! И так эта полусотня попала в самый вихревой захват революции — хуже нельзя. Находись она где-нибудь на улицах дальних, она ещё долго могла бы пересиживаться за запертыми воротами: провиант и фураж у неё были.

В первый день, в понедельник, отсиделись благополучно — всё это чертобесие сновало по Шпалерной мимо, не озираясь по бокам. Даже когда солдаты вроде гуляли, руки в карманы, цыгарки в зубах, зрелище невиданное,— и то как будто всё гнали куда-то с поспехом. Но уже вчера с вечера стали в ворота сильно и пьяно стучаться. А нонче с утра и вовсе жизни не стало: стучащая прикладами и стреляющая толпа по Шпалерной ломилась во все запертые ворота подряд, добиваясь, что за ними. Не то чтоб осибно к конвою, который не имел же вывески, а ко всем кряду: что там прячут?

Вывески конвой не имел, но черкески, но вызывающие папахи — тут, посереди Петрограда, в такой день, не могли не привлечь зарьявшейся толпы: что-то особое, не как у всех.

А ворота открывать — не избежать.

Так прибеднились, и офицеры тоже. Были у конвойцев такие „казачьи шубы", вроде лёгких полушубков нагольных, не имеющие на себе никаких воинских отличий и надеваемые обычно под черкеску, когда холодно,— остались теперь все в этих шубах. И ворота — открыли.

И стали весь день засовываться прохожие, пробеглые. Видят — какие-то казаки при конях, никого не трогают. И сперва сходило.

Но потом стали добиваться: а где ваши офицеры? вы ж не без офицеров? Перебейте своих, как мы своих перебили!

Казаки отшучивались. Так начали их угадывать:

— Ну, погодите, опричники! До ночи!

И уже скоро вся Шпалерная знала, что тут засели — *царские опричники.*

Плохо. Положение конвойцев становилось нестерпно: ведь так и нагрянут ночью! и разнесут! Или подожгут.

И придумали, и с дозволения офицеров стали казаки к этим шастающим солдатам оборачиваться как тоже бунтари, отзываться разными вольными и скверными словами. Двое-трое пошли в шествиях толкаться и даже речи говорили. Но и на такой манере если было дотянуть, то только день до ночи, а что завтра?

А поддержка из Царского Села — к ним не шла. Не вызволяли их из этого

ада, не забирали туда, во дворец, со всем нестроевым имуществом и денежным ящиком, который тоже надо было от разграба охранить. И телефон с Царским занеработал.

И тогда есаул Макухо, казначей, приодевшись понезаметнее, пошёл вечером в Государственну Думу: ведь недалёко, ноги не отвалятся, а сходить у з н а т ь.

Узнал. Люди там как люди, не злые, не убивают, но дюже занятые, теснятся, толкаются. Тоже жить хотят, запасы большие делают. И офицеры там бродят, немало. А всем заворачивает там нашенский же человек, есаул Терского войска Михаил Алексаныч Караулов, да он по прежней службе некоторых и наших офицеров, надоть, знает. Издаля его видел — но к нему не протиснулся, да без формы он за своего и не признает, как и подойдёшь, о чём разговор?

И рассудили казачки́: а нам бы послать к нему своих выборных, да в полной казачьей форме. По Шпалерной сейчас, по ночи, як-небудь проберутся кучкой — а там у Карулова всё испросят, как быть, как в новой обстановке обращаться.

Поладили. Семеро конвойцев во главе с урядником оделись в полную конвойскую форму. Ещё прикинули: а ведь без красных бантов теперь тоже идти нельзя? Прицепили на грудя́ по большому красному банту. И — пошли по Шпалерной размеренный шагом, сами над собой посмеиваясь: вот дожилито! с бантами и в Думу. Нужда погнетёт — пойдёшь и к чёрту. А мы — и не в Думу, мы к своему хорошему земляку.

К ночи враждебной солдатни на Шпалерной сильно поменело, никто их не задел. И перед Таврическим не так густились, вступить — вступили.

И усере́дине, по забитому залёжанному людьми дворцу найти Караулова не так было сутужно: носился он в газырях быстро-лихо, да и был он не кто иной, а *комендант* Таврического.

Подступили — увидел. Общупал конвойцев весёлыми глазами:

— Ну что, старики? — хоть молодых больше.— Что скажете?

Постояли, где встретились, потом в сторонку отошли. Караулов всё посмеивался, а конвойцы переминались. Поведали ему, в какое стесненье попали, просто безвыходье, и как офицеров уберечь? А из Царского Села никакой подмоги нет.

— И не будет! — сказал Караулов.— Надо самим думать.

Так вот, мол, придумать и не можем, головы наши к тому не приспособлены.

Прищурился Караулов и посоветовал:

— А вы вот что, земляки. Вы — арестуйте-ка своих офицеров. Верней, оно сами пусть арестуются по доброй воле, им же и безвредней. И их под арестом никто не тронет, и на вас укору нет: мол, сделали, что могли, мы — за новый строй.

Совет понравился конвойцам. Чего ж? — меж своими, по-хорошему.

Только вот нельзя ли какую бумажку охранную — ото аякого напору, кто налезет?

Ещё посмеялся Караулов, повёл их на второй этаж, в такие комнаты, где офицеры были, полковники, и штатские, и какой-то Александр Иваныч,— и все на них пялились, улыбались, дивились.

И дали целых две бумажки.

Одну — от Караулова, что числится полурота Конвоя за ним.

Вторую — Александр Иваныч велел: что от Государственной Думы предписывается их начальству продолжать оберегать лиц и имущество, находящиеся ныне под их охраной.

Так понять, что: продолжать охранять Их Величества? Правильная бумажка.

231

А дачные поезда и под полночь ходили строго по расписанию, хотя почти никто не ехал — в вагоне 1-го класса Ломоносов оказался один. И как ни в чём не бывало шёл контролёр. И рассказал Ломоносову, что на сторону Думы

перешёл уже и весь петроградский гарнизон, в Петрограде боёв больше нет.

Поразительно! Интересно до захвата!

На площади у Виндавского вокзала, на Семёновском плацу ещё было два-три фонаря и люди, но близко сразу всё кончалось: надо было шагать вдоль Обуховской канавы в полной тьме, безлюдьи — а неподалеку слышались выстрелы, то ружейные, а то и пулемётные.

Сжимал в кармане револьвер. А на случай властей — что ж, вполне ответственная служебная телеграмма.

А на Фонтанке оказалось светло. И близко наискось, у министерства путей сообщения, видны были солдаты на часах.

Вышел прапорщик, Ломоносов показал ему бубликовскую телеграмму. В вестибюле несколько солдат спало на лавках, кто и на полу. Озабоченный швейцар поспешил к знакомому железнодорожному генералу и, снимая с него пальто с зелёной генеральской подкладкой, пожаловался:

— Вот, ваше превосходительство, до чего мы дожили.

— А где Бубликов?

— В кабинете начальника управления. Только к нему без пропуска нельзя.

Солдат повёл Ломоносова знакомыми лестницами и коридорами. Из приёмной вышел гусарский ротмистр с роскошными пышными светлыми усами, и с какой-то игровой строгостью допрашивал, ушёл, заставил ждать в коридоре стоя — а солдат тоже не отпускал. Наконец, проходил знакомый экзекутор — он и доложил Бубликову. Впустили.

Кабинет было ярко освещён. А чтобы не светил на улицу — сторожа прибивали к окнам занавеси из солдатского сукна. Бубликов сидел за столом начальника управления, ещё было двое штатских и знакомый путеец. Бубликов радостно вскинул руки, вышел из-за стола. Глаза его бегали быстрей и острей обычного, и движенья рук больше нормы, как если бы в подвыпитьи, что странно было при тщательности его причёски, усов, воротничка.

— А-а, Юрий Владимирович, как я рад вас видеть! Очень вас жду! Ну, так вы к нам присоединяетесь?..

Неосторожно, нетактично, никак не хотел бы Ломоносов такое объяснение вести вслух, при посторонних. Ведь он приехал пока только — посмотреть. А Бубликов, ничего этого не понимая, взвинченно-радостно объявлял:

— Все бывшие министры — арестованы! Вся власть — у Думского Комитета! Угодно ли вам предоставить себя в распоряжение нового правительства?

Очень был вскипячён. Смотрел азартно. Среднего роста, при средней наружности старательного чиновника — кажется, откуда такой революционный размах?

Ломоносов — почти того же роста, но — плотней, и животик округлён, и голая голова как круглый котёл, но с вьющейся бородкой, а глаза тоже — быстрые, острые, колкие.

На Бубликова. На этих. Пожимал руки — а на всякий случай ничего определённого не отвечал.

Бубликов порывисто снова сел на место начальника, Ломоносову указал невдали и так же азартно:

— А я — возглавил министерство, и беру в руки все железные дороги страны! Разослал телеграмму по всей России! А вот, распорядился: на 250 вёрст вокруг Петрограда воспрещаю движение всяких воинских поездов!! И всё! И никакие подавительные войска не продвинутся! А? Яицо Колумба! Железные дороги в России — это всё!

И правда. Оглушительно простое решение. Ломоносову понравилось. Так и правда перевешивает новая власть? Так быстро и определённо? И Бубликов — по сути новый министр?

И этот новый министр объяснял, что посылает нескольких верных на разные дороги, чтоб утвердить новую власть и ускорить перевозки, в том числе и Ломоносова на Московско-Киевско-Воронежскую.

Э, нет, так Ломоносов не согласен. А за кого Москва? А что в Киеве? Делить шкуру медведя, когда он ещё гуляет в лесу. Э, нет. А где царь, что делает?

Бубликов успел увидеть отказ на метуче-сметливом лице Ломоносова, но не успел ничего ответить — из соседнего кабинета вошёл солдат глистового вида, с полуобразованным лицом, и доложил:

— Императорский поезд прошёл Бологое и следует к Вишере.

— Вот и первый ответ вам! — И переменил план: — Давайте-ка, последите за императорским поездом.

Ещё острей, прямо на нож сажали. Но Ломоносов понимал и даже любил такие перемёты, он в жизни делал их не раз: учился в кадетском корпусе — потом надумал в духовную академию — а поступил в институт путей. Играл с революцией — а сам выдвигался в учёного и в генерала. Он любил приключения, ах, любил! Сейчас — всё на перевесе, но кажется на хорошем. А упустишь момент, несколько часов — и тоже всё упустишь.

— А что вы предполагаете с царским поездом делать?

— Ещё не решено! — быстро ушагивал Бубликов в соседний кабинет.— Сейчас об этом буду с Родзянкой по телефону.

У оставшихся Ломоносов спросил:

— А почему это солдат? Кто это?

— Член Государственной Думы Рулевский,— ответили ему.— Помощник Алексан Саныча.

Побиться об заклад готов был Ломоносов, что такого члена Думы не существует. Сообразил, что тут в шкафу может быть справочник. Пошёл в тот угол, поискал, подтвердилось: такого члена Думы не бывало, ни Первой, ни Второй, ни до сегодня.

Вернулся Бубликов, подошёл сюда в угол, Ломоносов тихо спросил:

— Алексан Саныч, откуда такой член Думы?

— Да пусть, для солидности, ему распряжаться надо.

— Вы его хорошо знаете?

— Только что в Таврическом прицепился.

— Да как же так можно?

— А что? Помогает и ладно! — всё тот же азарт нёс Бубликова.— Всех телеграфистов к рукам прибрал, хорошо! В русском народе ещё какой запас государственной энергии, батенька! Кто б ни пристал — надо пользоваться, переживаем исключительную минуту!

Да чёрт его знает, может быть. Этот вихрь закручивал и Ломоносова! Уж он не спрашивал: а что за солдаты-семёновцы охраняют министерство, кто их набрал? а переменятся в настроении, поднимутся сюда, и всех нас переарестуют? Пистолет-то хоть и принёс в кармане, а никогда по-настоящему не стрелял.

Ещё удивительней было, что далёкие, даже сибирские линии, узлы и станции уже подчинялись ещё сегодня утром не слыханному Бубликову? И за 250 вёрст останавливались воинские эшелоны?

Попробовать? приложиться?

Царь, видимо, ехал в Царское Село? Ну, не в Петроград же.

Но тем временем самозваный комендант Николаевского вокзала уже сам скомандовал: забирать его в Петроград!

В плен!

Царя!

А мы?..

Звонил Бубликов Родзянке уже не раз, оттуда отвечали только:

— Сейчас обсуждаем... Ещё не решено... Следите пока за поездом.

Разве с думцами сваришь настоящую раскатистую революцию?!..

232

Генерал-от-инфантерии и генерал-адъютант Алексей Ермолаевич Эверт обладал фигурой высокой, крупноглыбной, большими руками, большой головой и крупными чертами, прямым железным взглядом из-под резких бровей,— и даже кто б не знал, что этот генерал командует Западным фронтом, по всему его облику и повадке должен был предположить такое. Каждым шагом своим несуетливым утверждал: я — Главнокомандующий!

И почерк его на резолюциях был такой — не обычный человеческий

почерк, буквенная вязь, но — громадные буквы, и почти одни палки, ужирняющиеся как дубины. В себе он более всего ценил здравый ум — и через этот здравый ум пропускал воинские уставы и перелагал обширными приказами к войскам, уча и какая должна быть хорошая пехота, и какая должна быть конница хорошая — та, что, не боясь противника, не знает ни фланга, ни тыла. Но и вместе с тем, хотя швед по давнему происхождению, он был генерал православный и не забывал, что стратегия лишь тогда имеет успех, когда благословлена Богом. Но и вместе с тем он был генерал послушный — и любил получать приказания от старших самые категорические. А когда не получал их, то сносился со Ставкой по проводу и всячески спрашивал советов. Сверху вниз — всегда должна быть ясность.

И поэтому особенно обескуражен был генерал Эверт в понедельник утром, получивши, вне всяких диспозиционных расписаний, телеграмму от председателя Государственной Думы, которая ни по какому распорядку не могла быть послана Главнокомандующему фронтом. И почему именно Эверту? (Можно было догадываться, что и другим Главнокомандующим, но неудобно и не у кого спросить.) А сама телеграмма была тона недопустимого, дерзко отзывалась о правительстве и толкала давать Государю неприличествующие советы. За такой тон и такие советы этого мерзавца Родзянку можно было вполне посадить в тюрьму.

Но часы текли, и Ставка же знала, что Эверт получил телеграмму,— и не давала никаких указаний. Часы текли — и Эверт начал думать, что может так это и надо, по новому какому-то распорядку и при смутных петроградских событиях. Или иначе: Ставка упустила, что Эверт получил такую, но сам он не должен был её утаивать. А значит — надо было по долгу верноподданого донести о ней в Ставку же, то есть повторить туда её полное содержание. А уж раз передавать, то, не вмешиваясь в дерзкий смысл телеграммы, можно было и от себя подтвердить то, что в телеграмме было справедливо. И Эверт добавил от себя прямыми словами: я — солдат, в политику не мешался и не мешаюсь. Не могу судить, насколько справедливо изложенное в телеграмме. Но не могу не видеть крайнего расстройства транспорта и значительного недовоза продуктов продовольствия, что может поставить армию в безвыходное положение. А значит, надо принять военные меры против возможных забастовок.

Так Эверт хорошо вышел из положения: и не смолчал, и, как хороший хозяин, защитил интересы своего фронта. И предложил твёрдые меры.

И ещё прошло несколько часов. И он получил из Ставки приказ о высылке четырёх полков против мятежного Петрограда. Итак, он угадал, всё правильно: принять твёрдые меры!

Так он и думал.

С быстротой Эверт стал выполнять это разумное распоряжение. Он рассчитывал, что через сутки, в ночь на 1 марта, уже сумеет доложить о полном исполнении.

Но не мог он и послать эти полки просто так, без отеческого напутствия. Но и сам не успевал к местам погрузки, чтобы предстать солдатам своим могучим видом и словом. И решил воодушевить их пространным письменным напутствием через начальников дивизий, идущих с ними в Царское Село. Что они, доблестные севцы, орловцы, павлоградцы и донцы, отмеченные выбором Главнокомандующего, идут на государево дело, в трудную для государства минуту восстановить внутри России порядок, без которого невозможна победа над нашим жестоким упорным врагом, захватившим часть нашей родной земли и томящим в неволе наших братьев. Без этого сейчас успокоения нарушится снабжение наших храбрых войск, и каждый такой день идёт противнику на пользу. Без этого сейчас успокоения невозможен будет славный мир и свободное широкое процветание нашей родины. А залог успеха полков, идущих на эту задачу,— строжайший порядок, дисциплина и служить живым примером верных слуг своего царя и родины.

И ещё тут же вослед послал трём своим командующим армиями телеграммы, что не может быть допущено никакое брожение среди войск Западного фронта, стоящих перед злейшим врагом России.

И ещё, перерабатывая железнодорожные предупреждения Ставки, Эверт обеспечил чёткую охрану всех своих фронтовых путей: приготовил подвижные резервы с пулемётами и под начальством твёрдых командиров.

И так — всё было совершено, в чём мог он проявить свой твёрдый характер по отношению к мятежу. Его фронт, как и вся Действующая армия, становился крепостью против мятежного Петрограда. И осталось только ждать новых известий, которые носил ему его начальник штаба генерал Квецинский.

Генерала Квецинского Эверт держал за аккуратность и непротиворечивость. А вид у него был не военный — лысый, обрюзглый, обвислый, с чем-то восточным в наружности, казался как переодет в генеральское и с трудом выравнивается в мундире.

И вот, не успел Эверт хорошо ощутить всё своё железное стояние под волей державного Верховного вождя, как принёс Квецинский длиннейшую осведомительную телеграмму из Ставки. Сообщалось там подробно обо всех телеграммах, пришедших из Петрограда за двое суток, и какие известия, безрадостные и неверные, они приносили, кое о чём в Минске знали и сами,— и вдруг посреди того малозначащей фразой сообщалось: „Государь император в ночь с 27 на 28 февраля изволил отбыть в Царское Село".

Как?? Что такое?? Верховный вождь не стоял во главе своей несокрушимой армии? И даже прямо поехал в пасть мятежа??

Эверт перекрестился. Как будто перестала поддерживать спину главная опора.

Как же Государь мог рискнуть поехать?

Не наше, конечно, дело судить.

Но теперь во главе Ставки остался всего лишь Алексеев,— и Эверт уже не мог быть таким уверенным и покойным.

Опять потекли час за часом, по железнодорожным проводам из Петрограда катились ужасные известия, распоряжался какой-то неизвестный наглец Бубликов,— а Ставка молчала. Но теперь само молчание её было не доверительно-надёжно, а — тревожно.

Только короткая пришла телеграмма с убедительным предположением, что весь петроградский мятеж возможно подготовлен противником — и теперь он может начать активные действия так же.

Верно! Этого следовало ждать. Требовалось всем фронтом насторожиться. Но тем более беспокоило бездействие Ставки.

Терпел Эверт, терпел — и наконец, уже после часа ночи на 1 марта, поручил Квецинскому поговорить со Ставкой, разведать: что же там предпринимается?

Разговаривал по проводу Квецинский, а Эверт сидел рядом, но не объявлялся: не хотел своего ранга терять.

С той стороны подошёл Лукомский.

Квецинский пожаловался, что по всем станциям железных дорог поступают дерзкие телеграммы некоего Бубликова, потом и поручика Грекова (они задержаны в пределах фронта): что никакой воинский поезд, имеющий назначением Петроград, не может двигаться без разрешения революционных властей! Такое распоряжение, буде оно выполнится, остановит движение всех посланных на Петроград полков, о которых Западный фронт сообщает военному министру в Петроград,— и, кстати, правильно ли это? где там военный министр, во власти ли он? Главнокомандующий Западным фронтом интересуется знать, не признает ли Ставка необходимым изолировать боевые армии от проникновения таких бунтарских телеграмм? — это невозможно осуществить в пределах одного Западного фронта. Благоволите сообщить взгляд наштаверха. И штазап не имеет своевременных сведений — что может Ставка сообщить о нынешнем положении в Петрограде?

Лукомский стал успокаивать, что телеграмма Бубликова нисколько не революционна, ибо призывает к порядку и даже удвоенной работе. Телеграммы же Грекова Ставка не знает, но такой надо было ожидать. Вообще же прекратить телеграфное и почтовое сообщение с Петроградом невозможно, ибо это вызвало бы панику и общее замешательство. Необходимо лишь преподать указания, что по долгу присяги мы должны повиноваться только законным властям. Конечно, военные эшелоны должны следовать безостановочно.

Странное понимание присяги: пусть революционеры рассылают, что хотят...

Да вот, вероятно, завтра, успокаивал Лукомский, все железные дороги на театре военных действий будут подчинены Ставке через Кислякова. А в Петрограде? — теперь спокойно: в управление вступило временное правительство из состава Думы. А бывший военный министр сидит у себя на квартире и, да, по-видимому, ориентирован не во всём.

Прочтя ленту до конца, Эверт только плюнул и выругался.

233

Недалеко до полуночи, когда разогнанный маховик военной экспедиции совершал свои махи по двум фронтам и по нескольким железным дорогам, а завтра уже должны были проступать и результаты,— генерала Алексеева вызвал к прямому проводу неутомимый Родзянко.

Уже простых телеграмм ему было мало. Он желал лично разговаривать с военными властями, неизвестно по какой субординации. Как когда-то аэропланы заказывал у союзников, никого не спросясь. И тогда Алексеев передавал ему государев выговор. И отношения стали между ними натянуты. А вот — вызывал.

По телеграфному аппарату не доносился могучий голос Родзянки, но во всём разлитии фраз проявлялось исключительное успокоение. Родзянко объяснял, что при руководимом им Временном Правительстве всё в Петрограде послушно становится в свои берега. (Вот как, уже не комитет, а правительство? Ну да, и Бубликов же распоряжался как министр.)

Но в каком состоянии гарнизон? Войска дезорганизованы, не подчиняются, бунтуют?

Напротив, все войска непрерывной чередой восторженно приветствуют Временное Правительство. Гарнизон в полном составе примкнул ко Временному Правительству.

Но офицеры арестованы, разоружены, преследуются?

Ничего подобного, какие-то исключительные случаи. Офицеры — при своих частях, руководят ими и ждут указаний от Временного Правительства. Да вся жизнь в столице быстро нормализуется. Вот например, банки и частные кредитные учреждения ввиду наступившего спокойствия населения решили завтра возобновить свои операции.

(Но это был характернейший знак — банки! Да вообще вся картина оказывалась диаметрально не той. В конце концов откуда у Ставки были все сведения? От подавленного растерянного Хабалова, от взвинченного Беляева, от случайных частных лиц, от напуганных иностранных офицеров в Петрограде. Как ни относиться к Родзянке, к его постоянному всезнайству и апломбу, но всё-таки же он фигура, Председатель Думы, и камергер, и паж,— он же взвешивает, что он говорит.)

Но всё это, Михаил Владимирович, слишком разнится от остальных сведений, которыми мы располагаем.

Михаил Васильевич, но на меня вы можете положиться больше, чем на кого-нибудь другого. И моё положение позволяет мне видеть и знать больше других. Все сведения стекаются именно ко мне. А если бы вы могли слышать мой голос, вы различили бы, что даже я — охрип. Это оттого, что полдня я приветствовал полки, приходившие стройными рядами в Государственную Думу. И вот почему я спешу пояснить вам, что войска, которые вы, как слышно, шлёте на Петроград,— исключительно вредны и могут снова опрокинуть нормализующееся положение в анархию, я уже не говорю — вызвать столкновение, страшное взаимное кровопролитие, которого все, решительно все хотят избежать.

(В самом деле, это страшно выглядело: всё успокаивается, всё устанавливается — Алексеев же шлёт войска на кровопролитие...)

Временное Правительство только и ждёт приезда Его Величества, чтобы представить ему пожелания народа. В этих условиях присылка войск и открытие военных действий...

(Опять-таки благоразумно. Сведения Родзянки меняли всю картину, очень ободряли, а доводы его — просто душу поворачивали.)

Официальное подтверждение, что правительство сменилось? Родзянко и посылал его сегодня, уже дважды, а разве Ставка не получала?

Но пришлите ещё раз.

Хорошо, пожалуйста.

После разговора Алексеев ушёл к себе и обдумывал тяжело.

Восстание-не восстание, что бы там ни было — но оно прошло,— и в каком же свете перед обществом представала Ставка, посылая карательные войска? И, действительно, зачем же теперь возбуждать анархию заново?

А за отсутствием Государя — войска посылал лично Алексеев? Очень некрасиво. Взглядом общества, вся ответственность ложилась на него.

Он хотел предотвратить избиение офицеров и администрации? Так ничего подобного в Петрограде, оказывается, не происходит.

По сути вот образовалось то знаменитое правительство доверия или ответственное министерство, которому никогда не хотел дать пути Государь,— а теперь оно приплыло на революционной волне. И какое же моральное право имела теперь Ставка посылать на Петроград войска?

Если бы Государь сейчас был в Ставке! — Алексеев пошёл бы к нему с докладом и ждал приказаний.

Но Государя не было, и связи с ним не было, и вся лёгкость рук и вся тяжесть рук принадлежала Алексееву одному.

Борисова — уже нет в Ставке, не посоветуешься.

Вместо того — насажал здесь Гурко — Лукомского, Клембовского. Впрочем, Лукомский тоже за правительство народного доверия. А Клембовский с мненьем не выступает.

Всё ясней виделась невозможность воевать против русского общества и его законных желаний! Да ещё во время внешней войны.

А разве для армии это будет такая лёгкая прогулка? К чему может привести столкновение с собственным тылом? Расстроятся железные дороги — и армия перестанет получать продовольствие. А она живёт только подвозом, ничего не имея в базисных магазинах.

Армия не сможет спокойно сражаться, когда в тылу идёт революция.

Да всё это стягивание войск на подавление было глубоко внутренне против убеждений Михаила Васильевича.

Но не мог же он и ослушаться государева приказа.

Ах, как несчастно, что Государь уехал! В такую минуту. Был бы сейчас на месте — куда убедительней выразить голосом, рядом, чем знаками азбуки Морзе слать теперь вдогонку — и куда?..

Ну, уехал, так уехал. Знал, что делал. Так тому и быть.

Через несколько часов Государь должен быть в Царском. Послать туда? Давно так не мучился генерал Алексеев в трудности выбора.

Никогда бы он не взялся служить незаконному государственному перевороту! Он из-за того сторонился Гучкова и князя Львова. Но если — всё равно свершилось и новое правительство само собою благополучно установилось,— то надо ли ему мешать?

Наконец решился Алексеев на такую полумеру: войск ни в чём не останавливать и, значит, приказ будет строго выполнен. Но послать остановительную предупредительную телеграмму Иванову как самому переднему — чтоб остановить самое остриё движения, чтоб он не успел ввязаться в бой. Переложить главные впечатления от разговора с Родзянкой, но из тактичности не называя Родзянки.

Осторожно составили телеграмму вместе с Лукомским. Никакого приказа на остановку не давать, вообще ничего не приказывать, но *советовать*. Но — просить доложить это всё Государю по его прибытии (а значит — пропустить через свою грудь и внять).

Это — хорошо было придумано. Это — очень хорошо придумали.

В начале второго ночи эта телеграмма № 1833 потекла к Иванову по особой линии царскосельского дворца. И едва пошла — как удачно успела! — линия прервалась. (Петроград прервал?)

Наконец мог Алексеев вздохнуть после этой труднейшей телеграммы и отправиться спать.

Но засыпал он всегда не сразу, пока всё перерабатывалось и улегалось,— и не успел заснуть, как ему в постель принесли неожиданную странную телеграмму от Брусилова.

Докладывал тот, что может начать посадку частей на поезда с утра 2 марта (не очень-то быстро) и даже 3 марта (очевидно, от снежных заносов, на юго-западе бушевали мятели). Однако:

„благоволите уведомить, подлежат ли эти части отправке теперь же или по получении особого уведомления?"

Поразила Алексеева и неуместность такого вопроса: какое ещё подтверждение и уведомление, если послан приказ?

Но ещё более поразила *своевременность* этого вопроса: как мог Брусилов так почувствовать без всякого намёка?

Или Родзянко и ему тоже дал как-то знать?..

Вопрос не давал Алексееву покоя. И он поднялся, койка была за перегородкой, недалеко от рабочего стола, в одном белье пошёл, засветил лампочку и нашёл свою дневную телеграмму Брусилову. Вот как? Там стояло:

„как только представится возможность по условиям железнодорожных перевозок... Не откажите уведомить, когда обстоятельства позволят отправить эти войска".

Ни о каком повторном уведомлении от Алексеева здесь речи не было. Но... значит это так звучало? Что тут почувствовал Брусилов?

Вот странно. Ничего подобного Алексеев не задумывал, не включал в приказы главноккмандующим — но вот как будто это было написано — несомненно его почерком — и четырнадцать часов назад?

Это — само написалось, между мыслями.

Так с Юго-Западного фронта войска и не двинулись.

ДОКУМЕНТЫ — 5

Телеграмма, № 1833
Царское Село, генералу Иванову

Ставка, 1 марта, 1 ч. 15 м.

Частные сведения говорят, что 28 февраля в Петрограде наступило полное спокойствие. Войска, примкнув к Временному Правительству в полном составе, приводятся в порядок. Временное Правительство, под председательством Родзянки, заседая в Государственной Думе, пригласило командиров воинских частей для получения приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное Временным Правительством, говорит о незыблемости монархического начала России, о необходимости новых оснований для выбора и назначения правительства. Ждут с нетерпением приезда Его Величества, чтобы представить ему все изложенное и просьбу принять это пожелание народа. Если эти сведения верны, то изменяются способы ваших действий, переговоры приведут к умиротворению, дабы избежать позорной междуусобицы, столь желанной нашему врагу, дабы сохранить учреждения, заводы и пустить в ход работы. Воззвание нового министра путей Бубликова к железнорожникам, мною полученное кружным путем, зовет к усиленной работе всех, дабы наладить расстроенный транспорт. Доложите Его Величеству все это и убеждение, что дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит Россию. ***Алексеев.***

234

Премного был напитан Родзянко своим ночным разговором! Удачная была мысль поговорить со Ставкой!

По недлинным и сперва неохотным ответам Алексеева он стал угадывать безусловный успех. Алексеев явно не имел никаких своих твёрдых сведений о Петрограде, потому — и твёрдых возражений, ему нечего было выдвинуть своего. И ещё текла лента — а Родзянко уже чувствовал, как его слова внедряются в Алексеева. В конце концов, хоть немудрящий генерал, но был он честный человек. Этим ночным разговором, Родзянко чувствовал, он сильно

поколебал посылку войск на Петроград. (А заодно прощупал, что они ещё и не на подступах, никакой полк, видимо, ещё не подъезжает.) Если подавить в этом направлении ещё, то можно войска и вовсе остановить.

И так совершались все деяния героев, от Геракла! — в одиночку и даже не на глазах толпы. В глуши ночи, единолично, при телеграфном аппарате — Родзянко своей широкой грудью прикрыл Петроград и спас, а Петроград спал и даже не знал этого! И только коллеги по Думскому Комитету смогут оценить, но и то — доброжелательные. Не Милюков. Не Некрасов. Не Керенский.

Геройская ночь!

И как тактично и как даже легко Родзянко этого достиг! Просто — силой своего желания. Не пожелал, чтобы войска шли — и они не пойдут. И, кажется, ни в чём не покривил душой. Ну, может быть чуть прибавил насчёт стройных войсковых рядов, глазу старого офицера это не так,— но и искупается же небывалым порывом этих войск идти в Государственную Думу! И в этом, можно сказать, проявлена их верность, так что и тут не преувеличил. И эти войска действительно ожидают приказаний от Думы — а разве можно сказать, что они не подчиняются? Такого не было. Ну, может быть несколько сильно выразился, что офицеров не преследуют,— так это и успокоится уже сегодня. Родзянко выразился — от своего большого горячего сердца, во что бы то ни стало желая остановить войска, предупредить междуусобицу, которая подорвала бы воюющую Россию.

А ещё чего достиг Родзянко этим ночным разговором: он называл свой Комитет Временным Правительством, а самого себя — главой нового правительства, и Алексеев это усвоил, и попросил уяснить добавочной телеграммой. И потому из Главного Штаба Родзянко поехал не домой, а опять-таки в Таврический. Хотелось ему и передать свою удачу коллегам.

Но они все спали деревянно. И он распорядился послать телеграмму в Ставку, что правительственная власть перешла... всё-таки к Временному Комитету Государственной Думы.

После этой ночи Родзянко в своих глазах тем более стал главой правительства. Перед Ставкой и Главнокомандующими он уже и был премьер-министром. И в глазах населения, подписывая воззвания,— кто же он был другой? И перед своими коллегами фактически был им и чувствовал теперь в себе сопротивление этой подстроенной кандидатуре Львова. И только — только перед Государем он ещё никак не был назначен.

Что и надо было сейчас — получить от Государя утверждение Думского Комитета как правительства. И притом — как правительства *ответственного*, парламентского. И этим будет достигнуто последнее его превращение. И вся революция — благополучно окончилась. И всё станет на незыблемые места.

Но пока Государь в движении — аппаратный разговор с ним невозможен. Да даже если б и аппарат был, то разговор такой невозможен: Государь — не генерал Алексеев, ему не напечатаешь требование. Просить утвердить себя главой правительства можно только на личной аудиенции.

Не просто „лицо, пользующееся доверием всей страны", но именно — Родзянко! А глухой упрямый Государь не хочет услышать!

Конечно, тут и заминка, мешающее чувство. Председатель уже несколько раз откровенно обошёл Государя — в телеграммах Главнокомандующим, вот в разговоре с Алексеевым. И свою прямую телеграмму Государю тоже не держал в тайне, но вслух читал с крыльца, и дал корреспондентам, и не мог отказаться от дивной фразы, вычеркнутой зря: „Молю Бога, чтоб в этот час ответственность не пала на венценосца". И во всех речах к войскам как ни патриотичен был Родзянко — а всё время переходил строго законную меру. И чувствовал это — и не мог не переходить, и даже самому нравился этот бунтарский размах, который, оказывается, всегда был в его натуре — и вот проявлялся теперь.

За последние двое суток Родзянко уже привык к свободе — и не очень хотелось сгибать себя к прежней послушности.

А в общем — надо им, надо им, двум первым людям государства, встретиться.

Уже так было поздно, ближе к утру. Поехал Родзянко скорей домой, лёг спать.

Сон у него был богатырский.

235

В два часа ночи на станции Малая Вишера стояла бестревожная глубокая тишина. Сон, морозная ночь, станция пустынна, но ярко освещена. Нигде ничего опасного не совершалось.

И по указаниям Его Величества, данным перед започиваньем, следовало неуклонно ехать дальше — на Чудово, на Любань, на Тосно.

Но к подошедшему свитскому поезду Литер Б по пустому перрону подбежал поручик Собственного Его Величества железнорожного батальона: он только что сам пригнал сюда на дрезине, едва уехал от мятежников! Их в Любани уже две роты, и они очевидно движутся сюда. Поручик Греков линии телеграмму: комендатам литерных поездов направляться на Николаевский вокзал Петрограда!

Свита заволновалась, кто не спал. Как обманчива эта пустота и тишина. Могло показаться, они движутся в тёмной ночи, невидимые и неизвестные. Но начальники станций докладывали новому начальству — и мятежники Петрограда, и пробуждённая Москва, и телеграфисты мелких станций,— все видели через ночь и через даль, как два тёмно-синих поезда несутся в приготовленную разъявленную пасть.

А военной силы при императоре нет никакой. Даже, можно сказать, и простой охраны нет.

Через четверть часа после Литера Б тихо мягко подошёл и царский Литер А. Стали рядом. Не решаясь подвергать опасности поезда на свою ответственность, комендант Литера Б решился разбудить в Литере А дворцового коменданта Воейкова. Воейков крепко спал, сердито проснулся, со всклоченными волосами. Однако очнясь, обстановку сообразил быстро и решился идти будить Его Величество, испросить указаний. Постепенно и вся свита пробуждалась в тревоге.

Только в сон и уйти от этих нелепостей, несоставностей, беспорядков,— но и оттуда, из нежного погруженья, вытягивает, вытягивает почтительный зов. Даже в излюбленном поездном покое не стало укрытия.

Сперва, как всякому спящему,— императору досадно, неоправданно, зачем? Потом серьёзней, встал с ложа, надел халат. Очевидно, очень серьёзно. Смотрели с Воейковым карту. Кратчайшим путём через Тосно в Царское можно не попасть. Успеть проскочить до Чудова, а потом свернуть на Новгород? Ах, удлиняется путь, отодвигается встреча с семьёй. Но Воейков доказывал, что и до Чудова двигаться опасно, что надо от этого места поворачивать назад.

Сов-сем назад?..

...Назад! О, конечно! Заколдованный сон, отлети с моих вежд! В последний момент решенья мужского и царского — вскочить! и ноги в сапоги, уже потом доодевая китель: да, возвращаться! В Ставку, конечно! Сколько часов нам гнать туда? Сколько мы потеряли? 22 часа сюда из Могилёва, 18 часов назад — сорок часов? Так ещё можно успеть! Остановки — только брать уголь и воду. Алексееву скомандовать: обеспечить безопасность линии. Даже не слать войска на Петроград — только выставить заградительные отряды по подкове, на всех линиях. Командующему Московским округом: не допустить заразы в Москву! Разобрать пути между Москвой и Петроградом! Хоть ни единого хлебного эшелона не пропустить в Петроград! Генералу Иванову — держать оборону Царского Села. Составить ультиматум и объявить им из Могилёва: всему Временному Комитету и всем зачинщикам явиться с повинной в Ставку Верховного! все бунтующие бездельные части — в маршевые роты! Попляшет, кто у них там сейчас верховодит!..

...Назад? Через Бологое и Дно, лишь тогда на Царское? А ведь царскосельский гарнизон малочислен, как бы мятежники не захватили императрицу?..

Воейков: никогда они этого не посмеют!

Да впрочем, там и Иванов.

Ну что ж, назад. Обогнём через Дно. Снова в тёплую нododеяльную нежность, в спасительный сон. Завтра в Царском станет ясно, там решим. А пока — спать...

Пока на поворотном круге разворачивали паровозы — прошло ещё полчаса, и слух пришёл, верный ли, неверный, что мятежники уже в двух верстах от Малой Вишеры.

Возбуждённая свита открыто гудела, ощущая плечами и горлами страшную хватку мятежников: надо сговариваться с Государственной Думой! уступать! давать ответственное министерство! Что же думает, наконец, что ж упорствует Государь? Мы так все погибнем.

Но никто не посмел пойти высказать такое Государю.

Да ведь он и почивал.

А на перроне было морозно-преморозно, все расходились.

В половине четвёртого ночи первым отправили на юг царский поезд. Литерный Б — на двадцать минут позже.

И снова скользили синие поезда через тьму и снова просматривались всеми телеграфистами и стоокой революцией.

236

Они отказались идти в батальон,— но как же они представляли себе дальнейшее? Ну, сегодня ночью они рассчитывали пойти на Петербургскую сторону, там при 2-м кадетском корпусе жил отец их хорошего друга-однополчанина, можно было следующий день провести у него. Ну, ещё второй день. А дальше? Всё равно им некуда было идти, как в свой Московский батальон.

Вот что сделала с ними однодневная революция: выкинула их из армии, из полезных офицеров превратила в ничто, в никчемных, опасных, преследуемых людей.

Да неужели так теперь и установится этот обезумелый круг? Не может и неделю так существовать петроградский гарнизон, и вся армия, и вся Россия!

Ах, как пожалели они после ложной паники, что это не правда подошла боевая часть разогнать сброд по местам! Вот что б им одно сейчас — это помочь разогнать мятежную банду. Да где был тот генерал, который в них нуждался? Не звали их.

После совещания в Военной комиссии братья Некрасовы и маленький Греве стали что ж? — искать себе ночёвку в Думе. Даже подосадовали, что пошли на это совещание: успели бы себе лучше место захватить, уже в залах лежали солдаты вповалку. Впрочем, офицерам и надо ложиться из последних, когда уже спят, иначе стыдно.

Почему-то всем хотелось ночевать в Государственной Думе — не только тем, кто спасался, но и кто революцию делал.

Пришлось нашим офицерам проверять комнаты — так и заглядывать во все комнаты подряд, как и другие делали. Решились идти и в приличное думское левое крыло. Так же и здесь во всех комнатах люди укладывались на столах, на диванах, на составленных стульях и на полу. И солдаты тоже.

Наконец нашли не столь набитую комнату — „Секретарь Председателя Государственной Думы". Места были только на полу, рядом с солдатами. Ничего не поделать. У них же и научились: взяли от печки каждый по три полена и положили их под головы. Легли все трое рядом, не снимая шинелей, лишь расстегнув, тепло было. Братья по бокам, Греве между ними.

Одна лампочка оставалась светить на комнату.

Днём так хотелось спать порой, а тут не сразу и заснёшь: и внутри ещё всё ходит ходуном, и голод грызёт, и рёбра поленьев режут голову, и новое непривычное униженное положение.

Полушёпотом ещё поговорили. Всё не укладывалось.

Всеволод лёг на бок, деревянную ногу книзу, лицом к друзьям,— и тихо рассказал обоим:

— А вот, живёт в Угличе такой старик Евсей Макарыч. Много он читал

Священного Писания и прошлой осенью предсказывал так: скоро наступят для всей России горькие времена-бремена. Люди будут тем спасаться, что надевать лохмотья и уходить туда, где их никто не знает. И будет голод много лет. И людей будут опустошать и уничтожать многими тысячами. Сначала будет плохо одним, потом плохо другим, потом плохо всем. И только седьмое поколение будет снова жить хорошо.

Да...

Теперь надо было заснуть, но не слишком надолго, не пропустить предрассветья, вовремя тихо уйти, иначе опять на сутки застрянут.

Но в чутком сне ещё раньше проснулись от сильного вздрога Греве.

Он — сидел, глаза его блуждали, отдышивался тяжело.

— Что с вами, Павлик?

Держался за бок, на лице страдание:

— Приснилось: всадили штык. Вот сюда.

237

Из своих злонесчастных тяжких позиций всё близ того же Стохода, где прошлым летом и прошлой осенью столько гвардейских сил было положено и уложено на приречных болотах, сегодня утром Преображенский полк получил приказ смениться: выйти из окопов в резерв своей 1-й гвардейской дивизии.

Повеселели солдаты, повеселели офицеры — надеялись недельки три теперь поотдыхать, походить не гнясь, и по земле, а не ходами сообщения, не знать разведок, не знать сторожевого охранения, спать ложиться — как люди, и многие даже в домах.

Но ещё не растянулись они поспать первую ночку, ещё и не стемнело — как командиру полка, флигель-адъютанту свиты Его Величества генерал-майору Дрентельну передали из штаба дивизии, что Преображенский полк в любую минуту может быть вызван куда-то.

Полк довольно располагался в резерве, не зная об этой тревоге.

Уже стемнело, когда Дрентельн получил секретную телеграмму из штаба фронта, перелагавшую секретную телеграмму генерала Алексеева из Ставки: Государю благоугодно вызвать в Петроград Преображенский, 3-й и 4-й гвардейские стрелковые полки для подавления беспорядков.

Та-ак! Дрентельн забывал свой окопный ревматизм. В Петербург! Там беспорядки, ерунда, но в Петербург! Повидать стольких друзей и знакомых; хотя он только что приехал оттуда из отпуска — но с охотой снова.

Команда грузиться была на ближайшую крупную станцию — Луцк. В темноте полк был разбужен, поднят — и выступили походным порядком на Луцк в непроглядную темень и снежную грязь.

И месили её — 30 вёрст.

Всё же какие ни молодцы-удальцы, но к утру выбились — и пришлось трём батальонам дать привал, поспать часа три, в деревне Полонная Горка в 8 верстах от Луцка.

Сам же Дрентельн поехал вперёд, на станцию, куда 1-й батальон уже достиг и готовился к погрузке.

На вокзале Дрентельн обнаружил растерянность у комендантских и железнодорожных чинов, — а в зале близ кассы висел приклеенный на стене, от руки написанный листок — принятая телеграмма какого-то комиссара путей сообщения неведомого Бубликова, который передавал приказ Родзянки: старая власть оказалась бессильной, Государственная Дума взяла в свои руки создание новой власти.

Что за бред? Как это понять? Кто повесил?

Принятая телеграмма из Петрограда.

Тут Дрентельна разыскал офицер связи из штаба армии и подал ему распоряжение командующего Особой армией Гурко: посадку полка временно отложить.

Дрентельна зазнобило. Сочетание этих двух распоряжений было уже нечто очень тревожное. Если что-то делалось в Петрограде с властью — то как раз и нужна была там гвардия! Кем отставлен переезд? Самим ли Государем? Нет ли здесь недоразумения?

Или даже измены?

Особость момента и особость положения Преображенского полка дали Дрентельну смелость не выяснять через дивизию и корпус, а отправиться прямо к генералу Гурко: штаб армии был тут же, неподалёку под Луцком, в католическом монастыре.

Проехал в автомобиле по пустым ночным плохо освещённым улицам, видя в фонарях только разбрызгиваемую снежную грязь. Потом по загородной дороге.

Проверены в воротах — въехали во двор.

Дрентельн просил дежурного офицера доложить командующему, несмотря на то, что было уже 4 часа утра. Но не удивился дежурный,— и генерал Гурко принял генерала Дрентельна за письменным столом в полной форме, то ли ещё не ложившись, то ли уже поднявшись. Всегда серьёзный, решительный, острый, он выглядел сейчас ещё впивчивей, сжатый рот, усы настороже, стянутые глаза настороже, сосредоточен, и маленькая голова поворачивается быстро.

Никакого замечания не сделал за обращение не по команде.

Приказ? Приказ, генерал, передан Брусиловым от самого Алексеева. Какое основание мы имеем сомневаться? Воля Государя и всегда передавалась через генерала Алексеева. Никому из командующих армий, ни даже фронтов не дано сноситься с Государем непосредственно. Мы — обязаны выполнять. Мы не имеем права переспрашивать.

Но это — не в упрёк Дрентельну. Живые потемнелые глаза генерала Гурко смотрели очень тревожно, и глазами он, кажется, выражал то же самое сомнение.

Но отправить сам преображенцев в Петроград — не смел.

Дрентельн ощущал себя, как паралитик, у которого голова работает, а пошевельнуться не может.

Итак, в ожидании дальнейшего, полк останется в Полонной Горке, 1-й батальон устроить в бараках при вокзале.

На том же вокзале, опять проходя мимо и косясь на мерзкую телеграмму Бубликова, сел пока ожидать и Дрентельн.

Не просто он был командир полка, уже больше года, и не простого полка: в этом полку служил сам Государь, и Дрентельн был его сослуживцем тогда, и обласкан, и близок. И — годы в государевой свите, помощник начальника походной канцелярии, пока его не отлучила императрица из-за его вражды к Распутину. (И даже преображенцев хотела у него отнять.) Не имея никакого служебного права — Дрентельн однако должен был и мог обратиться непосредственно к Государю.

Из 1-го батальона он вызвал доверенного офицера поручика Травина и велел ему готовиться ехать с тайным письмом к Государю.

Пошёл к начальнику станции, достал хороший лист, чернил, сел, стал писать за столом под яркой лампой.

„Ваше Императорское Величество, наш дорогой Государь!

По первому Вашему знаку преображенцы будут подведены к подножию Вашего престола, какие бы препятствия их ни ждали..."

Одно облегчительно помнил: ведь есть же преображенцы и в самом Петрограде, пусть и запасной батальон. Они-то! не стерпят и не останутся безучастны!

ЧТО И СВАРИЛИ — В ПЕЧИ ЗАСТУДИЛИ

ПЕРВОЕ МАРТА

СРЕДА

238

В вагоне были одни офицеры, человек сорок их ехало из Томска в Ораниенбаум для прохождения пулемётного курса в офицерской стрелковой школе. В Тихвине вошёл в вагон комендант и объявил:

— Господа офицеры! В Петрограде бунт. Я не советую вам туда ехать.

Недоумение: какой бунт? что за бунт? Комендант и сам точно не знал. Политические волнения? Да даже если революция, которой ожидали,— так это нас не касается, мы — военные люди, мы относимся к фронту. Что нам грозит? Ничего, поедем посмотрим.

Бывший студент Аксёнов, сын слесаря и казачки, про себя подумал: если революция, то разве мы её враги? Даже интересно.

А стоянка в Тихвине — четверть часа, надо решать. Меньше половины быстро собрались и ушли из вагона, больше половины осталось.

А поезд опаздывал. Он должен был придти в Петроград поздно вечером, но вот уже ночью шёл, дремали, размаривались. Кто-то предложил спрятать револьверы в чемоданы. Так и сделали.

К Николаевскому вокзалу подошли в третьем часу ночи, перрон тёмный. Но — движенье на нём, и сразу ворвались в вагон солдаты с красными бантами. И при свете поездных свечных фонарей приставили штыки к грудям первых же:

— Господа ахвицера! Сдавайте оружие!

Тут, в вагоне, в мерцаньи свечей, не видев Петрограда, ничего не узнав — и решать? и сдавать? Оттого ль, что дремали, час нековремениый, как-то и сопротивления не было,— стали шашки сдавать.

Странное чувство, как оголённые или оплёванные. Пошли с чемоданами — куда же? в буфет.

По вокзалу освещение скудное, не всюду. Бродят солдаты, посматривают. Офицеры тесной группкой, защищая себя числом.

Буфет первого класса оказался нараспашку, но разнесен и разбит, осколки на полу, никого из буфетчиков, ни еды, ни посуды, часть стульев поломана, другая унесена,— а прямо на столиках сидели солдаты, курили, шумно разговаривали, не обращая внимания на офицеров.

Одно другого дичей. Бесприютно прошлись по вокзалу — уехать не на чем. Уставили все чемоданы вместе, столпились группкой. И так стояли потерянно, час или больше. Глупое, безвыходное положение. Поезда на Ораниенбаум всё равно не раньше утра, и не тащиться же сейчас на Балтийский пешком.

Вдруг со звонким весёлым разговором вошли в зал четыре студента и две курсистки. Они говорили громко, уверенно, как хозяева тут и будто ничего особенного не происходило. Они глянули на офицеров, но вниманья бы не обратили и прошли — если бы Аксёнов, обрадовавшись своим, не вышел к ним сам. Заговорил, представился, что недавний студент, и другие офицеры такие же. (Несколько и было студентов, а те всё равно молодые, подходят.)

И сразу переменилось.

— Ха-а! Товарищи! Так пойдёмте, мы вас угостим хоть шоколадом!

— Где ж это?

— Да тут, на Разъезжей, не так далеко.

— Да мы с чемоданами.

Никакой камеры хранения, конечно, на вокзале не было, всю разобрали или разворовали.

— Да оставляйте здесь. Мы вот солдат попросим.— И с уверенностью в расположении и подчинении — к солдатам, сидевшим недалеко: — Товарищи солдаты! Вы здесь побудете? Посмотрите, пожалуйста, за чемоданами.

Уверенно говорилось — и солдаты, как переменённые, обещали.

Рискнули, пошли. Между собой смешки: там-то револьверы.

По дороге узнали от студентов, что в Ораниенбауме мятеж ещё сплошней, нечего туда и ехать: восстали оба пулемётных полка и уже прибыли в Петроград.

Вот так-так.

На Разъезжей во дворе была у них целая столовая, питательный пункт для революционеров. Объяснили, что таких питательных пунктов много сейчас открылось по Петрограду. Откуда же продукты? Начинали вскладчину, а сейчас — за счёт реквизиций частных складов.

Как одна и та же жизнь в одни и те же минуты и рядом — для одних мучительно тянется, грозит опасностями, взбаламучена, непонятна, а для других всё весело и легко!

Ярко горели лампочки, скатерти, правда, сильно замазанные посетителями, сварили им прекрасного шоколада, подали горячим да с бутербродами, со сдобными булочками.

Отлично поели. Весело разговаривали. Не все. Какое-то опьянение, хотя от шоколада ж не опьянеешь. В несколько часов — вагонное томление, отдача шашек, растерянность и этот шоколад. А что там с чемоданами?

Не хотелось уходить, сидели б и сидели до утра. И — куда же теперь, если не в Ораниенбаум? Кто же властен сменить назначение офицеру?

Возвращались по пустынной улице без студентов — и как будто беззащитные. Вот перевернулось: студент — защита офицеру!

Но никого на Лиговке не было, самый глухой час.

И чемоданы — оказались все целы! те самые солдаты добродушно доложили. Один из них, поразвитей, спросил:

— Вы куда хотите пройти? — (Не добавил „ваши благородия" или „господа офицеры".)

— Да в какое-нибудь учреждение...— Сами не знали в этом потерянном мире.

— А вы пройдите в Таврический дворец, там наверно вам укажут, что делать.

— Да мы и дороги не знаем, не здешние. И трамваи утром не пойдут?

— Трамваи? — засмеялся.— Их не будет. Да мы вас проводим. Сейчас время такое, а вы офицеры, целой группой вместе идёте, чего подумают. Давайте проводим.

А что ж, вещи опять оставить? Опять оставили.

Пошли. Между тем рассветало.

Около памятника Александру III лежал убитый в штатском, и густо-красный снег под ним.

Улицы безлюдны, но начинали оживляться. Около хлебных лавок выстраивались хвосты.

Перед Таврическим ещё было пусто. Караул впустил без труда.

За столиком подпрапорщик из вольноопределяющихся был очень обрадован:

— Как хорошо, господа офицеры, что вы пришли! Вы поможете нам устанавливать порядок!

Как приятно. Возвращались в нормальное состояние.

Одним предложил помогать какому-то поручику выписывать удостоверения всем офицерам, кто явится. Другим... А Аксёнову:

— Будьте добры, господин прапорщик! Сейчас явится сюда взвод солдат гвардии Волынского полка. Возьмите их, пойдите на Исаакиевскую площадь, там грабят винный склад. Восстановите порядок, поставьте караул.

Аксёнов потянулся пощупать пустое место на левом боку, как отрезанную конечность.

— Шашку? — догадался подпрапорщик.— Господа, это у нас есть, пойдёмте выбирать.

И в соседней комнате показал им груду сброшенных шашек.

Выбрали, надели. Не своё, не так, а сразу — лучше, людское состояние.

Тем временем взвод уже пришёл и ждал у крыльца. Унтер подошёл с рапортом, правда не „ваше благородие", а „господин прапорщик".

Оказалось — надо далеко, и Аксёнов решил: пять минут шагом, пять

минут бегом, всё время подсчитывая ногу, проверяя дисциплину. И что ж? Держались прекрасно, как будто никакой революции.

Так ничего ещё такого страшного.

Грабители разбежались, уже на виду их, завидев через площадь.

Забили склад досками. Поставил караул на час.

239

— А вы, Юрий Владимирович, смелый человек. Как это вы так сразу ко мне поехали? Действительный статский советник! Ведь вы же понимали, что похоже на авантюру?

Бубликову хорошо лежалось в этом кабинете, а через день-два он перейдёт в кабинет Кригера. Проснулся, переполненно довольный своими вчерашними действиями. Одна настольная лампа всё время горела на столе: рваная ночь, звонки да вскоки. Да было уже утро, скоро семь.

С другого дивана басовитый смешок Ломоносова:

— Взвесил, конечно.

— Ведь революция что могла сделать — уже всё и сделала: свалила правительство, захватила Петроград. А больше у неё нет сил ни на что. Вы видите, что делается с гарнизоном? Гарнизона сразу нет, остался сброд. Никакого отряда никуда выслать невозможно. И чем мы будем Иванова отражать — я не представляю. В Думе, вы видите, полная растерянность, ни руководства, ни решительности.

Он так по-настоящему не думал, но — проверить.

Ломоносов, так же помятый от лёжки одетым, как и Бубликов, рассматривал лепку на потолке:

— Ну, чего-нибудь же стоит, Алесан Саныч, вся традиция свободолюбия, в которой воспитаны три русских поколения. Она нас как-нибудь и выручит. Я и в генеральском мундире всегда был — запасной рядовой революции. У нас каждый культурный человек на счету, мы не имеем права неглижировать собой. А то, позволительно спросить: на что рассчитывали вы, когда шли сюда и когда меня вызывали?

— А вот,— сам себе удивлялся Бубликов,— какой-то порыв! Я в Думе просто позорился от безделья, как они все там руки опустили. И подумал: ну как не использовать министерство путей сообщения, если мы тут как рыба в воде, а никто больше ничего не понимает?.. Вообще, для человеческой деятельности существует только три стимула. Любознательность. Стремление к славе. И стремление к комфорту. Первые два по всяком случае у меня наличествовали.

— А освобожденческая традиция?

— Не уверен. И смотрите, как оказалось легко: просто нахрапом начать приказывать всей России — и слушаются. Россия — привыкла слушаться, наш народ — никуда не годится.

— Но мы пока ещё ничего серьёзного им не приказывали.

— Ну всё-таки! Моя телеграмма пошла по всей России без сопротивления. Во всяком случае, я вам гарантирую, что вы будете у меня товарищем министра. Нынешних обоих придётся убрать. А вот если что, если что... Так мы побежим с вами через Финляндию, успеем.

Ломоносов невесело:

— Да кто ж не бегал через Финляндию. Не мы будем первые.

Всё опять ходуном внутри.

— Знать бы, насколько серьёзные эти войска у Иванова. Если хороших есть полка четыре — то за полдня раздавят.

Бубликов закричал с диванного валика:

— Но я хочу знать, куда повернул царь? Куда он там едет!

Ломоносов перекатил по валику голову, сощурил цепкие глаза:

— Может, в Москву? Чтобы там укрепиться?

— Не-ет,— ликовал Бубликов,— мой диагноз, что он в панике!

Ломоносов спустил ноги и сидел, наклонив голостриженную голову с оттянутым мощным затылком:

— Надо не дать ему вернуться к войскам.

— Верно! Да что, чёрт возьми, этот Родзянко не мычит, не телится?

От самого поворота царского в Вишере они ему звонили — то не могли его найти, то не могли добудиться, наконец велел заказать с Николаевского вокзала поезд, поедет к царю сам, и вот уже, звонят,— поезд готов, а Родзянко всё не едет, всё через полчаса,— а царский поезд прошёл Алешинку, прошёл Березайку...

Дружно вскочили, пошли в соседний кабинет Устругова, начальника службы движения, откуда была связь по линиям. Устругова они домой не пустили, он спал где-то ещё, а при телефонах сидел неусыпный костлявый Рулевский.

Рулевский только что узнал из Бологого, что оба царских поезда прибыли туда.

— Уже? — метнулся Ломоносов.— Задерживаем сами, никого не спрашиваем! — Схватил линейную трубку.

Бубликов — за городской:

— Нет-нет, всё-таки надо спросить Родзянку, комиссар-то я от него.

И опять, и опять ждать, пока там в Думе ищут, вызывают, советуются. Уже у Бубликова рука затекала трубку держать — ответили: да, царский поезд в Бологом задержать, удостовериться, что телеграмма Председателя передана ему.

Как они боялись, страховались — задержать, и тут же оправдательная телеграмма. Нет, не будет из них революционеров!

И когда это Бревно наконец сдвинется и поедет на вокзал?

Зато Бубликов с Ломоносовым ощущали себя в полёте, какого не знавали в жизни. Или всё уже выиграно, или всё потеряно! Ни умываться, ни чаю пить,— ходили, нервно потирали руки, пылали в четыре глаза: небывалая охота! Задерживаем Царя!

Бологое что-то не отзывалось. Вместо того самая верная за эту ночь из дорог Виндавско-Рыбинская доложила: из императорского поезда поступило требование дать назначение на станцию Дно.

Молниеносно: Николай хочет пробраться к армии?!

— Не пускать ни в коем случае!

— Слушаю, будет исполнено.

Хор-рошо! Ещё потирали руки, похаживали, ещё изучали карту, как шахматную доску. Значит, во всяком случае — не на Москву. Движение царя на Москву опасно, хотя и там уже *начинается*.

И вдруг с Бологого подали телеграмму:

„Поезд Литер А не получив назначения прежним паровозом отправился Дно".

Бубликов взбесился! закричал! зачертыхался! затопал! — и к трубке — упустили, идиоты!!!

Туда им: изменники! головы оторвём! расстреляем!

Но что-то — делать? Что-то делать!

Ломоносов впился десятью пальцами в карту на стене. Цедил, соображая:

— Задержать его прежде Старой Руссы...

Но задержать — кем? чем?

Взорвать мост? Разобрать пути?.. Можно попробовать, но Дума совсем перепугается.

Да и кто это будет, как этим на расстоянии управлять?

— А вот что: забьём полустанок товарными поездами. Где два пути — поставить два поезда, вот и всё.

Вызвали Устругова. Пришёл, исправный движенец, вялый от сна.

Бубликов распорядился.

Устругов вздрогнул, очнулся. И, чиновничья душа, отказно глянув на дерзких революционеров, заикаясь:

— Нет, господа, этого не могу... Такое распоряжение... невозможно.

— Что-о?

— Как? Отказываетесь?

Вдруг из угла выбежал длинный худой Рулевский с револьвером — и приставил прямо к переносице Устругова:

— Отказываешься?

И Ломоносов присмехнулся:

— Милейший, придётся подчиниться.

ДОКУМЕНТЫ — 6

Виндавская ж-д, ст. Дно

1 марта (около 8 ч. утра)

Благоволите немедленно отправить со ст. Дно в направлении на Бологое два товарных поезда, занять ими разъезд и сделать фактически невозможным движение каких-либо поездов. За неисполнение или недостаточно срочное исполнение настоящего предписания будете отвечать как за измену перед отечеством.

Комиссар Государственной Думы
Бубликов

240

Кажется, никогда так трудно не выбуживали — да ведь не молодое офицерское время. Сперва Родзянко вообще ничего не мог разобрать-понять: смотрел на часы — шестой час? А лёг в три? кто затеял требовать, почему? Ах, этот Бубликов неуёмный.

Этот Бубликов вчера вечером ни с какой целью, просто из революционного озорства, предлагал: не остановить ли царский поезд? Охладил его Родзянко, что цели такой нет.

А сейчас он докладывал, что *царь слизнул* — так буквально, *слизнул*: от Малой Вишеры повернул назад!

Вот так-так! — пробуждался Родзянко.— Что ж это могло значить? Намерения Государя переменились?

Но оторванному ото сна так трудно уразуметь, ещё трудней что-нибудь решить.

Да, хотели же повидаться. Куда он?

Что-то надо ответить.

— Вот что. Вы дайте Государю по линии телеграмму, что я прошу у него аудиенции в Бологом. И приготовьте мне на Николаевском вокзале поезд, я скоро поеду.

Но хорошо — сказать. А не только сил нет подняться — а как же ехать самовольным решением? Ведь заругают. И — с чем ехать? Чего просить? на чём настаивать? А если Государь — ни на что не согласится, тогда как? Надо с коллегами посоветоваться. А они спят хоть и в Таврическом — так тоже не добудишься, не досознаешься.

И сам свалился ещё на полчасика.

Разбудила жена через два: от Бубликова всё звонят, и поезд готов!

Ну, теперь уже время человеческое. Голова прояснела — и стукнуло в неё: да не в Москву ли??.. Да не в Москву ли он покатил?

О, конечно! И там объявит свою столицу! И оттуда будет давить мятеж.

А мы — не успели Москвой овладеть.

Плохо!

Надо догонять! Надо удержать Государя от безумия!

Ах, время пропустил!

Скорей умываться! Скорей автомобиль!

Покатил в Таврический.

Под лежачий камень вода не течёт. Надо нагонять Государя! И остановить его от чего-то непоправимого. И окончательно перенять себе правительственную власть, ответственное министерство.

Всё твёрже и увереннее наливался Родзянко. Наконец, пришло время говорить с Государем не только в форме верноподданной просьбы. Подошёл момент и потребовать.

Ему рисовался разговор достойный, независимый, собственно — равный, даже с перевесом сил у Председателя. Разговор, начинающий новую эру в истории России.

По сути от хотел перенять власть из слабых рук Государя в свои сильные — для пользы родины.

На февральском докладе почему-то так почувствовал, сказал Государю: это я последний раз у вас, больше не увидимся.

А вот и увидимся.

Но в Таврическом ещё никого он не успел созвать, как телефонировал Бубликов: царский поезд упущен! улизнул из Бологого без разрешения на Валдай!

На Валдай? На Старую Руссу? Куда ж это? Ну, хорошо, что не на Москву. И ещё лучше, что не в Ставку.

Ну, держите мой поезд под парами, скоро поеду!

Куда ж он двинулся? Если на Петроград — то уже было совсем рядом, зачем же объезжать?

Тут недремлющий секретарь — у Председателя, несмотря на всю сумятицу в Таврическом, ещё были секретари, и у них столы, и они пробивались через толчею,— поднёс копию записки великого князя Кирилла начальникам царскосельских воинских частей. Поскольку гвардейский экипаж Кирилла приписан к Царскому Селу, то и сам он как такой начальник сообщал остальным, что он, свиты Его Величества контр-адмирал Кирилл, со своим экипажем вполне присоединился к новому правительству — и уверен, что также все остальные царскосельские части присоединятся.

Здорово! Вот это — неожиданная поддержка! Удивил и изумил! Даже развеселил: уж если видные члены династии и сами присоединяются... и ещё других зовут! Наша победа!

Сильно взбодрился Родзянко, совсем другое ощущение. Наша победа! (Да что ж он сам, голубчик Кирилл, не докладывается, прямо?)

А каково теперь ведьме в Царском Селе?

Легка на помине. Комендант царскосельского дворца передавал просьбу государыни принять меры к водворению порядка в Царском Селе и в районе дворца. И ещё такая от государыни просьба: не может ли господин Родзянко приехать к ней этим утром переговорить?

Ну, дура форменная, не представляющая жизни! Как она это себе воображает, что Председатель поедет к ней сейчас с визитом? Как бы это выглядело в глазах революционного Петрограда! Раньше даже не приглашала к завтраку, когда он ездил на всеподданнейшие доклады. А теперь — просила приехать? Как смирилась! А почему потеряла вчерашний день, и вечер, и ночь, пренебрегла родзянковским советом уехать поскорей? Ждала супруга? А он вот повернул.

Ну, двух депутатов Думы послать на успокоение Царского можно.

Кажется, день начинался неплохо. Рассвело. Вот уже скоро опять, наверно, станут подходить к Таврическому с музыкой и в дурном строю воинские части, желающие приветствовать Думу. И в общем, эти шествия лучше, чем солдатский бунт. Но сегодня пусть служит отечеству горлом кто-нибудь другой — а Председатель поедет на переговоры с царём.

Пора была известить Комитет о своей поездке, договориться о полномочиях, да ехать на вокзал.

Но тут почти вбежал бледный Энгельгардт.

А такая обстановка опять была, посторонняя публика, не всё и скажешь вслух. Отошли в сторону.

— Михаил Владимирович, страшная беда! — говорил Энгельгардт, в военном мундире, но не с военным видом крайнего испуга.— Откуда-то пошёл среди солдат слух о каком-то „приказе Родзянко", которого вы ведь не издавали? Будто ваш приказ: всем возвращаться в казармы, сдавать оружие и подчиняться офицерам.

Брови и лоб Родзянки выкатились. Такого прямого приказа он не издавал, но высловлялся именно так,— а как же иначе? А если солдатам не вернуться в казармы и не подчиниться офицерам...? До каких же пор хулиганить?

— Ужасное, ужасное недоразумение! — сокрушался Энгельгардт.— Вы

ие представляете, что заварилось! В казармах — новые вспышки! Вернувшихся офицеров — прогоняют, грозят убить! Говорят — будет массовое их избиение! И грозятся убить — вас!.. Вам небезопасно выходить сейчас к делегациям...

Родзянко почувствовал, как кровь отлила от головы и объяло её недобрым холодком.

И это была ему благодарность за то, что всех их он спас этой ночью!

ДОКУМЕНТЫ — 7

ПРИКАЗ
(1 марта)

Господа офицеры петроградского гарнизона и все господа офицеры, находящиеся в Петрограде!

Военная Комиссия Государственной Думы приглашает всех господ офицеров, не имеющих определенных поручений Комиссии, явиться 1 и 2 марта в зал Армии и Флота для получения удостоверений на повсеместный пропуск и точной регистрации, для исполнения поручений Комиссии по организации солдат...

Промедление явки господ офицеров к своим частям неизбежно подорвет престиж офицерского звания... В данный момент, перед лицом врага, стоящего у сердца родины и готового пользоваться ее минутной слабостью, настоятельно необходимо проявить все усилия к восстановлению организации военных частей...

Не теряйте времени, господа офицеры, ни минуты драгоценного времени!

241

Георгий проснулся не в темноте по будильнику, как приготовлено было, а падал через открытую дверь дальний непрямой свет. И Калиса стояла у кровати, будя его.

Уже ждал его горячий завтрак.

Теперь как по тревоге он вскочил, оделся, сапоги его ещё вчера с утра были начищены. Вот и сидел за столом. Калиса кормила и охаживала его со всей привязанностью, и угадывала, что бы ему ещё.

Как жена. Нет, не как жена. Нет, именно как жена! — он только теперь узнавал.

Смотрел на её капот в подсолнечной россыпи, смотрел на её добрую улыбку и поражался, и не верил: позавчера ещё сторонняя, какая же она стала своя и близкая. Как успокоительным маслом натёрла сердце его.

Раз и два поймал её руку и с благодарностью окунулся в ладонь.

Эти предрассветные утренние сборы прорезали напоминанием о других сборах: как он уходил на эту войну. Тоже было ещё темно, проснулись они по будильнику. И Георгий сказал Алине: „да ты не вставай, зачем тебе?", зачем ей терять постельное тепло (а сам-то хотел, чтобы проводила). Но Алина легко согласилась и осталась лежать, натягивая одеяло,— то ли ещё заспать горькие часы, то ли понежиться. А он поглотал в кухне холодного и уже в шинели, в полной амуниции, подошёл ещё раз поцеловать её в постели. Так и ушёл на войну и сам не находил в этом худого, хотя в те дни по всей России бабы бежали за телегами, за поездами, визжали и голосили.

И только вот сейчас, когда Калиса отчаянно обнимала его за шею, утыкалась в лацканы колкого шинельного сукна, вышла с ним во двор и ещё на улицу бы пошла, если бы это было прилично,— только сейчас он обиделся на Алину за те проводы.

Быстро пошёл по пустынной Кадашевской набережной. Ему надо было до вокзала неизбежно зайти домой. Но сейчас он вполне мог и домой.

Рассвет был туманный. Набережная была видна повсюду, а через реку, ещё разделённую островом, туман уплотнялся так, что Кремль не был виден, только знакомому глазу мог угадаться.

У Малого Каменного стал ждать трамвая. Сколько дозволял туман — не было видно. Ни в другую сторону.

Воротынцев стоял так, задумавшись, рассеянно наблюдая где дворников, скребущих тротуар, где разносчиков молока, булок. Не заметил, что, как ни долго не было трамваев, никто больше не подходил к остановке.

И сколько б он так простоял, не очнувшись, если б не подошла баба с корзиной бубликов и сочным говором, жалеющим голосом обратилась:

— Ваше благородие! Трамваи ить не ходят. Второй день.

— Как? — обернулся Воротынцев.— Почему?

— А — не знаю. Забунтовали.

— Да что ж это? — будто баба знать могла.

Могла:

— В Питере, говорят, большой бунт. Вот и эти переняли.

— Воо-от что... Спасибо.

Значит, в Петербурге не стихло.

Взять извозчика? Но теперь Георгий понял, что и извозчик за это время ни один не проехал, и сейчас не видно было.

Да что тут ехать? — глупая городская привычка. Он быстрым лёгким шагом пошёл через Малый Каменный мост, и дальше на Большой Каменный.

Теперь, хотя морозный туманец не ослаб, но вполне рассвело, и сам он ближе,— стала выступать кирпичная кремлёвская стена, и завиделись купола соборов, свеча Ивана Великого.

Что же с ним, что в этот приезд он даже не заметил самой Москвы, ни одного любимого места,— всё отбил внутренний мрак.

Зато теперь, пересекая к Пречистенским воротам, он внимчиво, освобождённо смотрел на громаду Храма Христа. Стоит! Стоят! Всё — на местах, Москва — на месте, мир на месте, нельзя же так ослабляться.

Да, действительно, так и не прозвучал и не появился нигде ни один трамвай. Один, другой санный извозчик прогнали поспешно, в стороне. И людей было мало.

Чуть бы позже — газету купить, узнать, что это где делается,— но киоски закрыты, и газетчики не бегут.

На углу Лопухинского булочная уже торговала, внутри виднелся народ, а снаружи хвоста не было. Булочная Чуева у Еропкинского ещё была закрыта.

А сохранялось радостное ощущение — излечения. От алининых терзаний, претензий. Он освобождён был ехать на своё фронтовое место. Совсем без угнетения всходил на лестницу и только когда дверь открывал — хотя знал теперь, что она в отъезде, что её быть не может, что не вернуться ей так быстро,— всё-таки сжалось на миг: вот сейчас она выскочит с раздирающим криком.

Но не выскочила. Всё же — сразу обошёл комнаты и проверил. И посматривал на все места ножниц: не раздвинуты ли опять жалами?

Но — не было Алины, и все ножницы лежали спокойно соединёнными, как он их оставил,— когда ж это было? Только позавчера?..

Пошёл проверил почтовый ящик — тоже ничего.

Самое главное — не было этой соединённой боли всей квартиры — и всей кожи — и всего сознания, острой боли от каждого взгляда на каждый предмет. Он смотрел вокруг и удивлялся, как всё надрывало его тут позавчера. Как он мог так мучаться? Сейчас — его не бередило, сейчас он бодро мог побриться, собраться, да и прочь, пока Алина не нагрянула.

А уезжал-то он отсюда — не навсегда ли? Через месяц — великое наступление, и Семнадцатый год по изнурению, по потерям не затмит ли три предыдущих?

Пока расхаживал да брился, думал, написать ли ей письмо? Что-то надо было ей оставить, совсем короткое простое?

Но чувство вины ушло. Но и никакого другого, отталкивающего, к Алине тоже не возникло. Эта несчастная её способность всё превращать в громокипение. И когда ты под снарядами.

За тем прошло может быть и больше часа, туман изник, день обещал ясность. Воротынцев услышал с улицы, несмотря на замазанные рамы, шум многих голосов и обрывки пения.

Подошёл к уличным окнам — не высунуться, плохо видно вниз. Пошёл к окну, смотрящему вдоль Остоженки,— и увидел в спину толпу человек в двести, скорей молодёжи, рабочей, не студенческой: нестройно, но весело они шли в сторону Пречистенских ворот — с красным вроде флагом на палке. Кто-то запевал, не подхватывали, а гулко говорили все.

Из шествия один выскочил, побежал к решётке Коммерческого училища — и там проткнул и рванул косой полосой наклеенный лист объявления, которого утром в сумерках Воротынцев не заметил. Но лист остался, так и свисла косая отдирка.

Что-то творилось! Если с раннего утра такое шествие? Надо будет газету достать. И пойти прочесть это объявление.

Сбежал вниз. Привратница сказала ему, что никаких газет нет второй день, а в городе — „бушують".

Быстро пересек Остоженку, подошёл к изуродованному объявлению, близ которого и читаталей не было, и придерживая отодранную полосу, что наверно выглядело смешно, прочёл:

„Объявляю город Москву с 1 сего марта состоящим в осадном положении. Запрещаются всякого рода сходбища и собрания а также всякого рода уличные демонстрации. Требования властей должны быть немедленно исполняемы. Запрещается выходить ранее 7 утра и после 8 вечера кроме случаев...

Командующий войсками
Московского Военного Округа
генерал-от-артиллерии Мрозовский".

242

Сколько там было сегодня сна, и как государыня без него держалась, ещё при расширенности сердца, слишком требовательно перерабатывающего все события? Ожидая приезда Государя, она поднялась и оделась в пять утра. Как сговорясь, покинули её все, все болезни и боли, которые многомесячно и многолетне приковывали к постели, к кушетке, к возимому креслу, почти не давая появляться ни в обществе, ни в Петербурге. И — не отказывали ноги. И даже — при испорченном впервые лифте, стало для неё вполне посильно подниматься по лестнице к детям на второй этаж.

Стряхнулись все оправдательные помехи, не оставляя ей в эти дни никаких уловок, а только проявить всю волю, всю власть. Но теперь-то и оказалось, что — не через кого проявить: все линии её власти обрывались на придворных и не продолжались дальше.

Должны были доложить во дворец по телефону в ту же минуту, как поезд Государя прибудет на станцию. Но в пять часов его ещё не было. Ни в половине шестого. А близ шести доложила камеристка, что передали со станции: поезд Государя задержан, где, кем, почему — неизвестно.

За-дер-жан??! Государь з а д е р ж а н в своём отечестве???

Может быть — обстоятельствами? может быть — поломкой? вьюгой? А иначе — что же делала железнодорожная охрана? власти? Ставка, генерал Алексеев?

Генерал Алексеев — как же может допустить такое, со своими главнокомандующими?! Ах, говорила Государю не раз: грязный он мужик, прислушивается к Гучкову, к дурным письмам, потерял дорогу. Посылал Господь эту болезнь, перстом указывал — отодвинуть его. А Государь вернул.

Однако всё, что она могла,— это с выравненным окрепшим телом расхаживать по дворцовым переходам, опираясь на руку дежурного офицера Сводного полка Сергея Апухтина,— и швырять о стены свои отскакивающие вопросы, и смотреть в немые тёмные окна.

Она гневно спрашивала у стен — но внутренне уже подготовлялась, что всё — возможно.

Царское Село было черно, неподвижно.

Не укрыла своей тревоги от рано поднявшейся Лили Ден (она спала близ спальни государыни, чтоб не оставить её одну на этаже). Обошли с ней детей. Анастасия — в жару, старшие две девочки плохи. А наследник, напротив, легче. Но их всех оберегали от внешних известий, оставляя ещё в благой доле — лежать в полутьме с жаром, сыпями и кашлем и совсем ничего не знать, не представлять о творящихся событиях.

Долги и мучительны были эти ночные часы до рассвета, не приносившие никакого разрешения и разгадки.

На память о них императрица подарила Апухтину свой платок в слезах и пепельницу императорского фарфорового завода.

От офицеров железнодорожного полка со станции пришёл слух, что царский поезд где-то остановлен бунтовщиками!

В 8 часов утра, уже в свету, пришёл доложить генерал Гротен: императорские поезда остановлены ночью в Малой Вишере и теперь не поспеют раньше полудня. Но и он не знал причин остановки.

Но ещё несколько часов? Но как остаться безопасными эти несколько часов? Уже вчера вечером бунтовал царскосельский гарнизон, уже вчера вечером шла громить дворцы мятежная толпа из Колпина, слава Богу не дошла, может быть из-за мороза. Но — сегодня?

Как не хотелось унижаться перед этими скотами думцами! И перед этим гнусным Родзянкой, говядиной Родзянкой! Но — уже посылала к нему флигель-адъютанта за распоряжением охранять дворцы,— и теперь уже легче был шаг: просить Гротена звонить немедленно Родзянке, спрашивать его — кто и почему смел задержать Государя?? И: может ли господин Родзянко сам приехать сюда для объяснений?

Самый шумный из бунтовщиков становился единственной законной опорой.

И не было от Государя никакой объяснительной телеграммы! У постели больных детей — ничего не знать об отце!

Ах, зачем же он не поехал по прямой линии через Дно, уже был бы тут? Теперь слать телеграммы наудачу на разные станции по пути следования?

Да, но где же были — великие князья? Свора ничтожеств! Их голоса только и слышны, когда делить доходы удельного ведомства или хором защищать династических убийц. Сейчас они не только не неслись к императрице с помощью, не спешили ей телефонировать или приехать — но все затаились злорадно и ждали развязки. Что делал Кирилл? Ничтожный пустой хвастунишка, всегда она и видела его таким (но подсылал свою жену с выговорами к государыне!),— таким он и сейчас затаился. Ведь его гвардейский экипаж вот тут стоит — а где же он сам? А милый бесхарактерный Миша, весь в руках своей властной жены, даже и на этой войне так и не ставший человеком? А повеса, развратник, опустошённый Борис, только место занимающий казачьего походного атамана, ведь он не в Ставке сейчас, ведь он где-то здесь болтается, где же он? Да перебирая их многочисленные мужские ряды — императрица и вообразить и назвать не могла такого мужчину, который мог бы представить защиту. Все — тряпки и трусы. Один стареющий Павел хоть похож на мужчину.

Но — что же он делал — не делал? — с гвардией? Но — что ж он придумал и сделал со вчерашнего дня?

И ещё доложили: уходившая из дворца ночевать рота железнодорожного полка — не вернулась утром, как должна была.

Охрана таяла.

Хам Родзянко передал, что не может быть речи о его приезде — и ничего он не знает о причине задержки Государя.

Не может не знать, лжёт как всегда. Но обещал, что пришлёт в Царское Село для успокоения — депутатов Думы.

Этой Думы, которую всю давно следовало разогнать, а кого и обезглавить, депутаты — теперь явятся как ангелы-хранители царской семьи. Боже, до чего всё пало! Боже, куда это всё закручивается!

Тем временем вернулась из Петрограда посланная вчера, по уговору, депутация дворцовой охраны. Им обещали, что дворца не тронут.

Только стоять им с белыми повязками на рукавах. Повязками, означающими что же? Что эта охрана не враждебна взбунтовавшимся царскосельским войскам!..

Ну, может быть, всё и к лучшему, обойдётся мирно. Но где же Государь? Но как же узнать о причине и месте задержки?

Повелела государыня запросить Ставку, по прямому проводу.

Их разлучили на неизвестно какой срок — и вот она осталась единственной и отдельной старшей. Она знала, что и рост и наружность её — царственные, все манеры прирождённой повелительницы. А хмурый сбор её бровей выражал все её неизбежные 46 лет. Но одна способность отказала ей: угадывать и произносить правильные решения.

Доложили: прямая проводная связь дворца со Ставкой — прервана распоряжением Государственной Думы. Отныне такая связь может идти только через Таврический дворец.

То есть, через думское подслушивание, каково! Да будьте вы прокляты, чтоб ещё унижаться до вашего подслушивания!

И — зачем теперь ей Ставка, если Государь неизвестно где?..

243

В штаб Балтийского флота сведения из Петрограда приходили и ночью и утром самые наилучшие: Революция — в полном разгаре. Всем распоряжается президиум Думы во главе с Родзянкой и больше никто, нечто вроде Комитета Общественного Спасения. Разгромлены все полицейские участки! Выпущены все политические арестованные! Порядок постепенно восстанавливается. Только промелькнул очень печальный эпизод на „Авроре": убили трёх офицеров. Но морской министр вошёл в соглашение с Думой об охране Адмиралтейства, а Родзянко приказывает также и Главному морскому штабу.

Только из Кронштадта ночью же поступили тревожные сведения о беспорядках там, правда — в сухопутной части гарнизона.

Вице-адмирал Непенин не спал. Верный взятому теперь правилу — обо всём объявлять открыто командам, он решил, что и о кронштадтских беспорядках здесь, в Гельсингфорсе, команды должны узнать от самого адмирала.

В 4 часа ночи он велел разбудить и позвать к себе Черкасского и Ренгартена. Составляли текст бодрого приказа по флоту — укреплять боевую готовность, вместе с тем сообщали и о петроградских новостях и кронштадтских беспорядках. В девятом часу утра приказ уже и разослали.

Непенин был очень твёрд. Вчерашние вечерние три визита декабристов к командующему флотом имели наилучший результат. Старшему из них, князю Черкасскому, Непенин сказал, что на взятой позиции он будет неуклонен. И если, например, Государь пойдёт на такое безумие, как приказ о смещении Непенина,— то адмирал этому приказу просто не подчинится!

Да в нынешней изумительной обстановке и странно было бы действовать иначе!

Ещё и оттого Непенин был так смел и дерзок — в 45 лет он испытывал вторую молодость: всего лишь в этом январе, вот только что, он женился на молодой вдове своего адъютанта, погибшего при взрыве крейсера.

Утром же с опозданием пришли две вчерашних телеграммы Родзянки, где он призывал войска и флот к спокойствию, а Комитет Государственной Думы наладит порядок в тылу.

Непенин вновь вызвал Черкасского и Ренгартена прочесть им свой ответ: что он считает намерения Комитета достойными и правильными.

Но это получалось уже не просто вежливое подтверждение, но открытое заявление, что Балтийский флот фактически присоединяется к новой власти?

Тем лучше!

Тут же, в девять утра, командующий собрал у себя в салоне „Кречета" всех флагманов и капитанов. Прочёл им сведения из Петрограда, прочёл телеграммы Родзянки. И свой ответ.

Затем — и свою телеграмму Государю, что все сведения он объявляет командам и только таким прямым правдивым путём надеется сохранить флот в повиновении и боевой готовности. Более того — передаёт Его Величеству своё убеждение, что необходимо идти навстречу Государственной Думе.

И чем же, правда, не благоразумный совет? И какой же, правда, иной выход?

Черкасский и Ренгартен, стоя у стены, зорко поглядывали на выражения лиц флагманов и капитанов. Разные были выражения, но больше — непроницаемые. Нельзя было ясно определить, кто и насколько действительно принимает, а не просто вынужден подчиниться.

Но коренастый, сбитый Непенин и не спрашивал их согласия. Он обвёл всех тяжёлым взглядом (угадывая это сопротивление), протолкнул твёрдо, негромко, очень внушительно:

— Требую от вас полного повиновения! Всё, господа офицеры.

И ни слова больше. Он и не предлагал им решения. Он всё решение самолично взял и произвёл!

А декабристы чувствовали себя так, что каждый их нерв живёт обострённой отдельной жизнью.

Ренгартен открыл их план каперангу Щастному — и встретил его сочувствие.

И лишь несколькими часами позже этого совещания дошли подробности из Кронштадта — ужасные: там разыгралась полная анархия, адмирал Вирен убит и сброшен в овраг у Морского собора. Убит и адмирал Бутаков. И арестованы многие офицеры!

Какой кошмар! Какое ложное направление невразумлённого народного гнева! При чём адмиралы? при чём офицеры?

Ах, будьте вы прокляты, все Протопоповы и гессенские немки! Это всё — из-за вас! Это вы довели! Столетиями.

Непенин обратился по телеграфу к Родзянке с просьбой восстановить порядок в Кронштадте: тому было близко, отсюда через ледовые пространства — недостижимо.

ДОКУМЕНТЫ — 8

ИЗ БУМАГ ВОЕННОЙ КОМИССИИ

(1 марта)

— Громят погреб Рауля на Исаакиевской площади.

— Сыскная полиция ответила, что ее больше не существует и надо обращаться в Государственную Думу.

— Фонарный — погром. 8 часов утра.

— Стреляют из пулемстов в Зимнем дворце по набережной и по площади. Наших совсем нету...

— Из достоверного источника мы узнали, что к Зимн. дв. подано несколько автомобилей с целью удрать из последнего. Просим принять надлежащие меры для задержания последних.

Подпор. Пашкевич

— Угол Жуковской и Лиговской — разгром подвалов Соловьева. Отстояли один погреб, а один разгромлен. Пьяные солдаты по трое ходят, один караулит — все пьют. Квартиры не трогают, спрашивают — где хозяин.

— В Спасо-Преображенском лазарете есть „больные" офицеры, не примкнувшие к движению, и укрывшийся генерал Акимов — яркий сторонник царя. Оружие их хранится в лазарете... Необходимо подчинить их новому правительству.

— На углу Кирочной и Воскресенского патрули просили прислать поддержку, т. к. солдаты грабят магазины.

Отряд Красного креста лейб-егерей.

— По приказу временного правительства Николай Степанов, Лазарь Израилёвич и Александр Ротерштейн уполномочены офицерскими правами для защиты населения от насилий и грабежей. Солдаты обязаны во имя общего успеха дела помогать предъявителям сего.

— Заведующему гаражом и складами Гвардейского Экономического общества. Имеющееся в погребах вино выпустить из бочек.

Председатель Военной Комиссии

— Предписывается прапорщику Пикоку отправиться в Красное Село и передать

нижним чинам своего полка, еще оставшимся в Красном, чтоб они до распоряжения полка не двигались и с особым усердием немедленно приступили к занятиям.
Председатель Военной Комиссии Энгельгардт.

— Нужна военная охрана Зимнего дворца и Эрмитажа. Там правительственных войск нет, я сам обошел один в сопровождении коменданта весь дворец. Сам комендант просит охраны.

244

Крепко и долго поспал Гиммер на частной квартире, позавтракал на целый день вперёд, и с отличной головой шёл к Таврическому, щурясь на разнообразные, красные и розовые, кто какие достал, банты, повязки и знаки на людях, идущих порознь или уже построясь в манифестацию, и все куда же? — к тому же Таврическому.

Всё казалось прекрасно, только — где генерал Иванов? Он всё может накрыть и уничтожить.

Итак, прошло уже два полных дня революции, начинается третий, а никто не беспокоится о формировании власти,— каково! Во всяком случае, в кругах Совета заняты суетным верчением вокруг текущих разрывающих вопросов. Но Гиммеру — не пристало упустить вопрос о власти или недостаточно осветить для товарищей. Вопрос о власти был один из коньков его, изучен заранее, и сейчас он великолепно охватывал его головой, лучше, чем глазами — утренние революционные улицы ещё и в десять утра мглистого города.

Итак, снова и снова: абсолютно ясно, что демократия, даже оказавшаяся хозяином положения в столице, даже и возглавленная авангардом циммервальдски-мыслящего пролетариата (как концентрат этого пролетариата Гиммер ощущал себя),— не должна брать власть в данной обстановке, но для успешного разгрома царизма, но для установления широкой политической свободы — передать власть в руки цензовой буржуазии. Однако это значит передать её в руки классовых врагов? Так надо передать на определённых условиях, чтобы врагов обезвредить. Надо поставить буржуазию в такие условия, чтоб она стала ручной, чтоб она не могла своею властью помешать дальнейшему развёртыванию и продвижению революции. То есть, короче, надо и с п о л ь з о в а т ь врагов для своих целей.

И этот солдатский гнев, который сегодня с утра вероятно ещё больше разыграется, нежелание возвращать оружие,— эта стихия придётся очень на руку. Она верней всего и обессилит буржуазию.

Тем временем пробравшись через толчею Таврического в советское крыло, Гиммер увидел Капелинского. Со своим быстро-хитреньким и отзывчивым видом тот ему сообщил:

— Ты слышал? Царский поезд задержан железнодорожниками в Бологом.

— Ах, вот как? Попался царишка?

Новость была превосходная, но Гиммер не придал ей слишком большого значения. Вопрос об отмирающей династии не должен заслонять вопроса о живой власти. Надо думать — кто и на каких условиях сформирует правительство.

Тут, рядом с Советом, собирались теперь домочадцы членов ИК, помогали создавать делопроизводство, из других комнат Думы тащили и пишущие машинки. Отвлекая Гиммера от важных мыслей, ему хотели подсунуть какие-то бумаги разбирать, но тут же, ещё раз отвлекая, передали ему, что его искал и очень хочет видеть Керенский.

Керенский стал за два дня уже такой важной фигурой, что не заставить его ждать, надо сходить. Гиммер снова нырнул в толпу, пробиваясь к Керенскому на думскую половину.

Там было всё же попросторнее и потише. У некоторых комнатных дверей стояли юнкера и преграждали доступ. В одной из таких защищённых комнат оказался и Керенский, хотя всё равно и в ней народу порядочно.

Керенский сидел — нет, был погружён, нет, упал — в мягкое кресло с толстым подлокотником,— упал, так что не поджаты были его ноги, а весь он составлял прямую от лакированных, но отоптанных ботинок, до короткого

бобрика на голове, откинутой на спинку. Одна рука неизвестно где была, а другая через подлокотник свисала плетью, показывая всю изнеможённость хозяина, впрочем выраженную и лицом.

Керенский и не пытался менять эту позу ни для Соколова, подсунувшегося к нему на стуле, чтоб легче говорить, ни теперь для подошедшего Гиммера. Он ощущал, что ему простят теперь и всякую позу, и дослышат негромко высказанные слова, и наклонятся к нему, сколько это потребуется. Вот, объявил он Гиммеру, как уже прежде Соколову: предлагают вступить в образуемый цензовый кабинет. Парадокс! Что делать? Хотелось бы знать ваше мнение, вообще ядра Совета.

Очень важно! Очень серьёзно! Это, действительно, был не пустой вопрос, он касался самого главного! Гиммер пошёл поискал стул, из-под кого-то высвободил, принёс и подсел, как и Соколов, к Керенскому тесней, как к больному. Тот всё так же был вытянут павшей палкой, и так же плетью свисала неподвижная рука.

Вот ведь! Всего три-четыре дня назад на квартире у Соколова Керенский не удосужился выслушать лучшие теоретические прозрения Гиммера — а никуда не ускакал, всё равно сам же теперь и спрашивает. А Гиммер очень любил, когда его спрашивают о каком-нибудь принципиальном вопросе.

Так вот: сам Гиммер — решительный противник и того, чтобы власть приняла советская демократия, и того, чтобы она вошла в коалицию с буржуазными кругами. Кем стал бы официальный представитель советской демократии в буржуазно-империалистическом кабинете? Он стал бы *заложником*, и только связал бы руки революционной демократии в проведении её поистине грандиозных и по сути международных задач.

Лоб Керенского ещё более омрачился, взгляд его потускнел, потерял интерес. Не шевелились ни губы, ни пальцы. Новознакомому было бы не понять — слышит ли он ещё. Но Гиммер хорошо его знал и знал, что — слышит.

Однако, изящно повернул он теперь. Считая невозможным вступление Керенского в кабинет Милюкова в качестве представителя революционной демократии, он находит объективно небесполезным индивидуальное вступление Керенского как такового. Как свободной личности. Как человека, формально не связанного ни с одной социалистической фракцией. (Собственно, и Гиммер с таким же успехом мог бы войти в кабинет, но ему не предлагали.) А советские круги таким образом имели бы в правительстве заведомо левого человека. Керенский не давал бы правительству зарваться в реакционно-империалистической политике...

Если и оживился утомлённо-созерцательный взгляд Керенского, то лишь очень немного, только малый свет от потухлости, чтобы теперь иметь силы поискать, кликнуть ещё какого-нибудь советчика, и не обязательно из ядра Совета, да и кто проведёт это разделение, где ядро, где не ядро?

Гиммер горько усмехнулся (больше — внутренне, сам себе): конечно, Керенскому хотелось не такого ответа. Конечно, Керенский хотел быть м и н и с т р о м. Но при этом честолюбиво (да и осмотрительно) хотел он сохранить роль посланника демократии в первом правительстве революции.

Но по всем теоретическим основаниям это было полностью невозможно!

Гиммер с Соколовым пошли на заседание Исполнительного Комитета. Пригласили с собой Керенского — он и не тронулся, он уже считал такую роль для себя недостойной.

Он остался всё в том же утомлённо-изящно-тусклом погружении. Размышлении. Предположении.

245''

(из бюллетеня петроградских журналистов)

ПАДЕНИЕ АДМИРАЛТЕЙСТВА

В С Е политические заключённые, томившиеся в казематах **Петропавловской крепости, в том числе и 19 солдат, выпущены на свободу.**

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК перешёл в революционный лагерь со всем офицерским составом во главе.

...Мало было вчера офицеров в революционной армии. Сегодня их уже много. Здесь и прапорщики, и поручики, есть капитаны, полковники и даже генералы... Чувствуется настоятельная потребность в организации воинских масс, исполненных лучших стремлений. Офицеры приглашаются оказать всемерное содействие в этом тяжёлом труде...

Несмотря на глубокое различие политических и социальных идеалов членов Государственной Думы, вошедших в состав Временного Комитета, в настоящую трудную минуту между ними достигнуто полное единение.

Граждане, организуйтесь! — вот основной лозунг момента.

В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ЗАЛЕ воинские чины отдельных частей формируются в батальоны, получают вооружение и занимают свои места в частях города согласно установленной диспозиции.

АРЕСТ А. Д. ПРОТОПОПОВА ...В отдельной комнате между ним и Керенским произошла беседа. О содержании её мы сообщим завтра.

СИБИРСКИЕ ПОЛКИ. Депутаты от двух сибирских полков, прибывших на Николаевский вокзал по пути на фронт, явились в Таврический дворец с предложением своих услуг Временному Комитету. Предложение было принято с восторгом.

Комиссары Комитета Государственной Думы вместе с представителями Исполнительного Комитета петроградских журналистов отправились 1 марта в Петроградское телеграфное агентство с целью взять в руки осведомление провинции. Директору агентства Гельферу предъявили приказ. Немедленно же во все провинциальные газеты переданы циркулярные телеграммы с изложением событий за последние три дня. Редакторы агентства и весь состав машинисток оставлены на местах. Перемена принята в агентстве весьма радостно.

...Список арестованных прислужников старой власти растёт с каждым часом... Полагают, что среди арестованных за последние дни могли оказаться лица, в аресте которых Временный Комитет Государственной Думы не видел надобности.

ОТКРЫТИЕ БАНКОВ — Совещание руководителей банков и частных кредитных учреждений постановило: ввиду спокойствия населения открыть все банки.

ВОЗЗВАНИЕ группы СОЗНАТЕЛЬНЫХ СОЛДАТ ...констатирует, что к прискорбию некоторыми лицами разгромлены лавки и разрушены помещения. Группа сознательных солдат считает, что эти эксцессы дискредитируют великое движение к освобождению народа. Воззвание обращается к солдатам с просьбой не принимать участия в разгроме магазинов и винных складов, наоборот содействовать убеждению громящих...

СОБСТВЕННЫЙ КОНВОЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПЕРЕШЕЛ НА СТОРОНУ РЕВОЛЮЦИИ! — Сегодня в здание Таврического дворца явилась команда Собственного Его Величества Конвоя. Конвойцев встретил М. А. Караулов, обратившийся к ним с приветственной речью. Он призвал их примкнуть к восставшему народу для защиты своих интересов. Конвойцы встретили речь Караулова громовым „ура". По предложению депутата Караулова команда немедленно отправилась в казармы для ареста офицеров, оставшихся верными кровавому режиму.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. Запасы муки в Петрограде увеличиваются благодаря прибывающим вагонам.

АРХИВ ДУБРОВИНА. В квартире небезызвестного председателя Союза русского народа доктора Дубровина произведен обыск. Все архивы и дела в огромном количестве доставлены в помещение Таврического дворца.

КУДА ДОСТАВЛЯТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ

...Распространяемые с провокационной целью слухи, будто обыскиваются квартиры частных лиц, из домов которых не стреляли, лишены всякого основания...

В ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ ВОШЛИ СОЛДАТЫ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОСКВЫ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ ...готовы в любой момент стать на сторону Временного Комитета...

ПОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ заготовляет то, без чего дороги

существовать не могут. А потому призываю вас к спокойствию и усиленной работе. Да поможет Бог Временному Комитету Государственной Думы вывести Россию на путь славы и победы...

Инженер Чаев

В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ — ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА АНГЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ ...Французский и английский послы вступают в деловые отношения с Временным Комитетом Государственной Думы, выразителем истинной воли народа и единственным законным временным правительством России.

246

Ставка не прервала связи бунтарского Петрограда с Действующей армией — и всю ночь и утро сотни телеграфистов, железнодорожных и военных, ловили и ловили поток бунтарских посланий и воззваний, передавали их по службе и не по службе,— и мятежный поджог разливался и растекался.

Но среди неведомых выскочек и поручиков также и всеизвестный Родзянко, на всю Русь распоясавшись, слал и слал свои телеграммы — то вообще в воздух, никому или к жителям, а то опять прямо Главнокомандующим фронтами, как будто стоящая над ними инстанция,— и сообщал о взятии власти своим комитетом, и уже указывал, что делать армии.

Как это всё может быть? Как он это смеет без воли Государя? И почему не одёрнет Родзянку Ставка? Хорошо, на Бубликова не обращать внимания, на Грекова не обращать внимания,— но Родзянко? Ведь он же занимает государственный пост?!

Но Ставка — всё утро продолжала молчать, как будто ничего не знала о самозваной власти в столице.

И в одиннадцатом часу утра генерал Эверт сам сел к аппарату, назвал себя и вызвал Лукомского. По должности, по равным правам и потому что ровесники, тоже шестьдесят,— он мог бы вызвать и Алексеева, но не позвал, поскольку тот сейчас замещал и Верховного. Эверт думал — может быть Алексеев всё-таки подойдёт сам.

Однако не только не подошёл Алексеев, а и Лукомский заставил себя изрядно подождать. У Эверта терпение лопнуло, он подставил вместо себя Квецинского. Потом уже объявился сам. Назвал номера двух родзянковских телеграмм, вероятно и Ставка получила их?

— Сначала я предполагал ничего не отвечать. Но это может иметь вид, как будто я принял их к сведению, или, ещё хуже, к исполнению. Поэтому, думаю, лучше ответить. Вот так: армия присягала своему Государю и родине. И её обязанность исполнять повеления своего Верховного вождя и защищать родину. Хотел бы знать мнение Михаила Васильевича. В трудные минуты нужна наша полная общая солидарность.

Своим тяжёлым крупным корпусом, и решимостью, и тяжёлыми словами он как бы, со своей стороны провода, перевешивал всю Ставку вместе с маленьким Алексеевым и Лукомским. Ясней, прямей, даже грубей не мог он спросить: начальник штаба Верховного признаёт ли необходимым выполнять п р и с я г у, данную Государю?

Но Лукомский не пошёл спрашивать Алексеева, а взялся пространно отвечать сам:

— Да, генерал-адъютант Алексеев — (не Михаил Васильевич!) — получил сегодня одну телеграмму от Родзянки, и смысл её тот, чтоб армия не впутывалась пока в дело. Генерал Алексеев хотел ответить, что подобными телеграммами вносится совершенно недопустимое отношение к армии и что необходимо посылку таких телеграмм прекратить.

Ну всё-таки, молодец Алексеев, не потерял разум. Темноватый, сощуренный мужичок, а не сдаётся.

— Однако,— продолжал Лукомский,— эту телеграмму генерал Алексеев пока не послал.

Да почему ж?

— ...Он хотел прежде выяснить, прибыли ли в Царское Село Государь и генерал Иванов.

При чём тут одно с другим? В огороде бузина, а в Киеве дядька.

— А получить этих сведений до настоящего времени мы не можем потому, что по распоряжению Думы нам не дают прямого провода с Царским Селом.

Что-о? Да это просто мятеж! От штафирок?? У Эверта сжимались огромные кулаки. Как же Алексеев это может терпеть??

Видимо, ещё что-то есть. Ещё что-то, они не объясняют. Или — уязвимость Государя под самым Петроградом? Вот разве.

— ...Генерал Алексеев вчера послал телеграмму генерал-адъютанту Иванову об успокоении, наступившем в данный момент в Петрограде, и просит доложить Государю, что было бы желательно избежать применения открытой силы.

Успокоение?.. А как же Бубликов, Греков? Им уже снесли головы? А задержка военных эшелонов? А самочинная власть Родзянки вместо законного правительства? Чего-то здесь Эверт не знал или не понимал.

Между тем добавлял Лукомский, что начинаются беспорядки в Москве и в Кронштадте.

Так тем нужнее действовать! Какое тут рассуждение? — присяга!!

А Лукомский добавлял дальше, что генерал Алексеев подписал телеграмму Его Величеству с просьбой издать акт об успокоении населения. Но пока за отсутствием связи...

Ну, может быть... Чего-то Эверт не ухватывал.

— ...Ваше предположение об ответе Родзянке я сейчас доложу генералу Алексееву, который к несчастью чувствует себя плохо.

Ну вот, остался в Ставке один — и раскис.

Успокоение?.. Наверно, правильно.

Эверт объяснил, что и его предлагаемый ответ Родзянке тоже имеет в виду необходимость скорейшего успокоения.

Желательно вот эту телеграмму об успокоении, произошедшем в Петрограде, тоже получить.

Пожелал Алексееву выздоровления. И отошёл от аппарата тёмный, в растерянности, меньше понимая, чем знал до разговора.

Конечно, главное — сохранить порядок.

Но как же быть с этим потоком петроградских телеграмм? Скрывать их от населения Минска? Или, опять же для успокоения, публиковать?

Не догадался спросить.

Только часа через два передали Эверту телеграмму Алексеева Иванову № 1833, отправленную сегодня в час ночи.

Эверт стал читать — и ещё более изумлялся. Тут говорилось о *полном спокойствии*, наступившем в Петрограде, где только что был анархический ад (за эти часы подтверждённый и офицерами, вернувшимися в Минск из отпуска). И упоминалось ещё какое-то иное воззвание родзянковского комитета о незыблемости монархического начала в России. Но сколько ни пересматривал Эверт полученные депеши и поручил Квецинскому искать — никакой даже тени такого воззвания они нигде не нашли. Могло ли оно проминуть Минск?

Был ли Алексеев введен в заблуждение?

Или: с Государственной Думой тоже не надо ссориться?

Нет, чего-то тут решительно не понимал обескураженный Эверт. И не было сверху ясных приказаний.

Правильно всегда говорилось: политика — не дело армии.

Не может генерал-солдат вести свою политику.

247

Дворцовый комендант Воейков был очень самополный человек, сам для себя достаточный: наполненный своими личными успехами, устройством,

постройками, миллионами (недавно продал выгодно минеральный источник „Кувака" в Пензенской губернии) и всегда исключительно уверенный в собственном мнении. По старческой слабости своего тестя графа Фредерикса Воейков стал главным лицом в свите, и поминутно давал чувствовать это всем остальным. Теперь и ближайшие свитские, едущие в поезде А, проснясь и видя по просвечивающему солнцу странное направление поезда, спрашивали у Воейкова, проходившего коридором, и получали загадочно-раздражённый ответ: „Не задавайте вопросов".

Местность за окном проходила совсем неизвестная, не видели такой ни в одной из регулярных поездок. От этой новизны свита тревожилась теперь ещё больше. Тут от Граббе узнали, что идут кружным путём на Дно, чтоб оттуда в Царское по прямой могилёвской линии. И ещё от своих сопровождающих железнодорожников узнали, что паровозная бригада отказалась меняться в Бологом, чтоб не задерживать императора, но взялась везти его до Дна. Теперь ехали по линии, не готовой к пропуску императорских поездов, ещё медленнее обычного, и сами станции узнавали о них едва ли не на последнем перегоне. Такое несогласованное движение тем более грозило задержками. Свита шепталась о неизбежности уступок, неужели Государь не согласится на ответственное министерство, ну что ему стоит? А иначе,— сказал адмирал Нилов,— все будем висеть на фонарях.

Воейков, в шинели, крупной решительной фигурой соскакивал на каждой станции. В Валдае ему поднесли телеграмму от Родзянки и потребовали расписки для телеграфного ответа.

Прочтя телеграмму, вскочивши в поезд и снова никому из свиты — Воейков пошёл будить Государя.

А Государь, долго не спав после Малой Вишеры, тяжело забылся следующие часы, проспал разворот в Бологом.

Сейчас не в миг и вспомнил всё.

К Воейкову вышел в халате.

И так же не сразу мог себе уяснить смысл подаваемой телеграммы: от Родзянки?.. с просьбой аудиенции?

Как-то — мысли у него не было о возможности прямого и скорого разговора с Родзянкой. После последней враждебной февральской аудиенции, когда толстяк надменно пытался поучать своего Государя,— и вот снова с ним встретиться?

Да ведь и Дума распущена позавчера, Думы — нет.

Думы — нет, но Родзянко — есть. Из Петрограда, закруженного в бунтах, он естественно возвышается самой солидной крупной фигурой. И даже больше того: он там самозваный комитет создал, чуть ли не правительство? Он чуть ли не перенял правительственную власть? Но обстановка так переменилась, что — отчего же? Пожалуй да, можно будет его принять.

Это даже хорошо, что он обращается. Это даже выход.

Да как-то надо уладить. Министерства кроме главных — военного, внутренних дел и иностранных — можно, пожалуй, им и уступить. Отчего уж, правда, быть таким неуступчивым? Когда со всех сторон решительно все хотят одного и того же — это начинает угнетать.

Реально императорское правительство сейчас не существует — так естественный момент и заменить.

— Хорошо, вызывайте Родзянку — куда же? На Дно. Я согласен его там принять.

И Воейков отправил согласие.

Ехали дальше, к Старой Руссе.

И тут Государя стало разбирать, разбирать сомнение: не слишком ли он быстро согласился — с распаху, со сна? Он так легко согласился,— и вот через несколько часов встретится с Родзянкой — прежде чем встретится с Аликс? А — что скажет она? А — как она отнесётся, что он такую уступку сделает без её совета?

Ну, выход есть: разговаривать с ним твёрдо.

Ах, Господи, в такие дни — и он оказался оторванным от Аликс!

Как — не ошибиться сейчас?

Тревожно перебирал Николай цепочку у шеи своей,— цепочку образка, повешенного женой.

Это — он так страдал, а как же — она страдает? А каково же ей там сейчас, рядом с бушующей столицей?

И на запутанном его маршруте Аликс не могла найти его никакой телеграммой.

О Боже, как разбаливалось, как разрывалось сердце после этого несчастного вишерского поворота, удлинившего путь!

Хотя нет, не попустит Господь: Иванов — уже там, и она под его защитой.

А поезд — небыстро постукивал по боковой тихой, малоезженной линии. Все должностные лица — жандармы, охрана, были на местах, и опять начинало не вериться в опасность. Углублялись надежды, что всё обойдётся,— и сегодня к ночи он достигнет мирного круга своей любимой семьи.

Оттого что сбился маршрут, Государь не получал сегодня никаких телеграмм из Ставки. Да и вчера их было не густо. Он понимал, что в Петрограде — мятеж, но — ничего по сути, подробно.

Что казалось Николаю благодеянием в начале их поездки — отсутствие штабной связи, приносящей грозные депеши,— уже щемило и недостатком: семья была в острой опасности, и он не имел права так поздно и бесполезно всё узнавать.

На остановках он не выходил прогуливаться. Смотрел из вагонного окна. На ходу пытался читать, но не укладывалось в душу.

Подошло время общего завтрака. Перекидывались самыми ничтожными замечаниями, пытались шутить над Мордвиновым. Но и самые выдержанные лица не могли скрыть тревоги, и немо воспарялась ото всех к Государю мольба: уступить. Он чувствовал эту мольбу.

Вскоре после завтрака пришли в Старую Руссу. На платформе — толпа и много монахинь. Народ снимал на морозе шапки и кланялся синим вагонам с орлами.

Тут Воейков получил и принёс сразу три телеграммы — все через Ставку транзитом, но ни одна прямо от Алексеева, почему-то начальник штаба ничего не докладывал своему Верховному сам. И все три телеграммы были не о главном — не прямо о Петрограде, как будто расстроилось зрение, и главное пятно расплылось.

Рузский доносил в Ставку о перерыве всякого сообщения между Петроградом и Финляндией, отчего он уполномочил командующего тамошним корпусом располагать всеми сухопутными войсками от финского перешейка.

Морской министр Григорович, не имея прямой связи с Его Величеством, доносил в Ставку, что им получена телеграмма от коменданта Кронштадта о начале волнений вчера вечером.

И наконец наморштаверх (начальник морского штаба Верховного Главнокомандующего) передавал телеграмму от командующего Балтийским флотом, что с 4-х часов утра сегодня прервано всякое сообщение с Кронштадтом, где убит командир порта и арестуются офицеры.

Главное пятно не давалось глазу, но и от того, что по краям его,— холодило сердце.

Таким кружным путём — Государь получал столь сбивчивые сведения! Чем больше он их получал, тем меньше понимал, что творится.

А Алексеев почему-то не давал ясной сводки.

248

Чувствовал себя генерал Алексеев совсем неважно, хуже вчерашнего. Но не было покоя и ночью. Да от этих забот он и разбаливался.

В ночном бессонном ворочаньи ещё ясней ему увиделось, как это было бы благотворно: если б Государь признал родзянковский комитет общественным министерством, и всё бы сразу успокоилось, никакого конфликта, и армия терпеливо и без помех готовилась бы к наступлению. И оставалось только — убедить Государя.

А утренние телеграммы ещё добавили. Пришли из Москвы от Мрозовского: что со вчерашнего дня бастуют заводы, рабочие манифестируют, разоружают городовых, собираются толпы — и нельзя дальше умалчивать о петроградских событиях.

И тем более спешить о них разъяснить, раз в Петрограде успокаивается! Ночные сведения из главного морского штаба подтверждали, что в Петрограде порядок понемногу восстанавливается, и войска всё более подчиняются Думе, однако необходимы решительные акты власти, чтоб удовлетворить общественное мнение и так противопоставить пропаганде революционеров.

Адмирал же Григорович, такой же сейчас больной, как и Алексеев, не имея сообщения с Царским Селом, чтобы прямо доложить приехавшему Государю, пересылал через Алексеева телеграмму кронштадтского коменданта, что со вчерашнего вечера гарнизон Кронштадта волнуется, и некем его усмирить, нет ни одной надёжной части.

Так всё сходилось! И потому, что в Петрограде наметилось успокоение, и потому, что в Москве и Кронштадте подымались волнения,— нужна, нужна была уступка Государя обществу! И Алексеев всё более чувствовал бремя убеждения на себе: тем более он должен был убеждать Государя, что тот в пути многих сведений не имел.

И даже чая не попив, начал раннее утро Алексеев с составления уговорительной телеграммы Государю, чтоб успела она вскоре после его прибытия в Царское и сразу двла бы ему правильную ориентировку. Он привёл полностью тревожную телеграмму Мрозовского. Предупредил, что беспорядки из Москвы несомненно перекинутся в другие центры России. И тогда окончательно будет расстроено функционирование железных дорог, армия же губительно останется без подвоза, тогда возможны беспорядки и в ней.

Так звено за звеном неумолимо цеплялись, и Алексеев уже ясно видел — и писал: революция в России станет неминуема, и это будет знаменовать позорное окончание войны со всеми тяжёлыми последствиями. И нельзя требовать от армии, чтоб она спокойно сражалась, когда в тылу идёт революция,— особенно при молодом офицерском составе с громадным процентом студентов. Поведут ли они свои части в таком столкновении? Прежде того — не отзовётся ли на волнения сама армия?

Так и писал Алексеев в разраставшейся телеграмме: „Мой верноподданнический долг и долг присяги обязывают меня доложить всё это Вашему Императорскому Величеству". Пока не поздно — принять меры к успокоению населения. Подавлять беспорядки силою — привело бы и Россию и армию к гибели. Надо спешить поддержать Думу против крайних элементов. Для спасения России, для спасения династии — поставить во главе правительства лицо, которому бы верила Россия. И в этом — единственное спасение. Другие подаваемые вам советы — ведут Россию к гибели и позору и создают опасность для династии.

Давно уже так убедительно не составлял Алексеев ни одного письма. Испытал большое душевное облегчение, когда написал.

И — скорей отправлять. Прямой связи с Царским Селом нет, но передать через Главный Штаб, *такую* телеграмму в Петрограде никто не задержит.

Передали. И попил генерал Алексеев чайку, подкрепился. И тут же пришла какая-то случайная дикая телеграмма, почему-то из Новосокольников: что литерные императорские поезда повернули из Бологого на Дно и в данное время прошли Валдай.

Что такое?? Это почему??

Ничего нельзя было понять. И никаких сведений Государь не послал ни из Бологого, ни из Валдая,— куда же он ехал? Зачем?..

Но и часу не прошло, как донесли в Ставку перехваченную телеграмму всё того же знаменитого Бубликова, разосланную по станциям Виндавской дороги: двумя товарными поездами закупорить разъезд восточнее станции Дно и сделать невозможным движение каких бы то ни было поездов,— то есть несомненно императорских.

И подписано: комиссар Комитета Государственной Думы, член Государственной Думы...

Государственная Дума — мятежно останавливала императорские поезда?..

Родзянко?..

Зря послушался Кислякова вчера??

И как раз к этому, на горячее сомнение,— Эверт вызвал Ставку к прямому проводу. Алексеев по болезни вообще не становился к аппарату, не пошёл, и ничего важного он от Эверта не ждал,— а вышло важно. Принёс Лукомский неприятную ленту. В пределах допустимого генеральского этикета тот — что же? подвергал сомнению верность Алексеева присяге??

Чудовищно! Именно движимый долгом присяги и давал Алексеев свои лучшие советы Государю.

Да что на Эверта обращать внимание — он бы лучше не струсил вести наступление в 1916 году. Недостаточно коснувшийся общего образования и в грубой прямолинейности военной среды, Эверт полагает, что проще всего — подавлять беспорядки военной силой. И вот — рвался оскорбить Родзянку.

Всего часом раньше — не обратил бы Алексеев внимания на Эверта. Но сейчас так пришлось, после этой жгуче-дерзкой попытки Бубликова остановить императора,— и всё именем Государственной Думы?

И то, что, оказывается, неясно зрело в Алексееве ночью и мешало ему спать: не слишком ли он вчера поддался Родзянке? не уступил ли ему много? — и те наброски телеграммы к нему, которые Алексеев с утра уже намечал неуверенным карандашом,— теперь подтолкнулись укором Эверта.

Хотя в остальных четырёх главнокомандующих Алексеев не предполагал такой крайности настроения, однако и выступка Эверта обнажала спину Ставки, лишала её опоры говорить ото всей армии.

Да, да! — яснело: необходимо несколько осадить Родзянку. Не повреждая открыто ещё хрупкому думскому комитету. Но — лично Родзянку, чересчур уже занесшегося.

И Алексеев стал доправлять набросок в телеграмму, погнал своим энергичным бисером.

Высшие военные чины и вся армия свято исполняют долг перед царём и родиной согласно *присяге*,— напоминал он Самовару. И надо оградить армию от влияния, чуждого присяге,— так и повторялось больное слово. Между тем ваши телеграммы ко мне и к главнокомандующим и распоряжения, отдаваемые по железным дорогам театра военных действий... Думский комитет не считается с азбукой управления военными силами — и может повести к непоправимым последствиям... Перерыв связи между Ставкой и Царским Селом... И центральными органами военного управления... Литерные поезда не пропускаются на Дно... Прошу срочного распоряжения о пропуске литерных поездов... И чтобы никто не делал помимо Ставки никаких сношений с чинами Действующей армии... И чтобы сношения Ставки не контролировались вашими агентами из младших чинов... Иначе я вынужден буду...

Поток упрёков легко строился, он был верен. Но где был довод военно-убеждающий, тот, который окончательно уставляет весы в достойное положение? Только что рождавшейся народной свободе и начавшемуся успокоению — не мог же Алексеев угрожать применением грубой военной силы. Он мог сердиться лично на Родзянку, но не так, чтобы подорвать его власть, единственно спасающую сейчас столицу.

И оставалось закончить слабою ноткой, что это поведёт к нарушению продовольствования армии и даже голоданию её. И пусть Родзянко сам судит о последствиях голодания армии.

Угрозить, оказывается, было нечем. Голодом армии.

Не аптекарские были весы, но с теми чугунными платформами, на которых взвешивают возы с рожью,— у них была невозвратимая утягивающая сила.

Телеграмму эту — послал. Больше для очистки души и для осадки родзянковской гордыни. Но не могло измениться решение — искать всеобщего примирения, единственный разумный выход.

А вопрос о посланных войсках всё неумолимее нависал: что же с ними делать? Остановить их, как разумно видел Алексеев,— он не смел своим решением. Но и откладывать решения было нельзя, потому что войска стягивались, продвигались, и вот-вот могло произойти непоправимое столкновение. Но

никакое внешнее событие не приходило на помощь. А Государь — всё далее путешествовал, всё более неуловимый для совета, в том числе и для посланной такой убедительной утренней телеграммы.

Распорядился — звонить во Псков и узнавать об императорских поездах, они там ближе. А Псков сообщал, что в Петрограде — порядок не восстанавливается, ещё добавились к мятежникам гарнизоны Ораниенбаума, Стрельны, Петергофа. Аресты продолжаются. По Петрограду шляется масса бродячих нижних чинов, много офицеров убито на улицах, срывают погоны. Много разбитых магазинов.

Ещё поворачивалось по-новому... Какое противоречие Родзянке! Кому же верить? *Полное спокойствие* начинало выглядеть призрачно. Уже голову больную ломило, не рад был Алексеев, что и узнавал.

А между тем — уже обещана была Эверту вчерашняя успокоительная № 1833 Иванову, нельзя было теперь не послать, хотя теперь как-то и неловко она выглядит. (А сам Иванов до сих пор до этой телеграммы не доехал!)

Но как это всё согласуется?

Но раз выбрал действие — надо его продолжать. 1833 разослать и на все фронты.

С Кавказа докладывали, что всё у них спокойно.

От Эверта — что продолжают отправлять войска.

А что же с Юго-Западным?.. Да может быть проще всего: поскольку войска ещё не начали отправляться — так пока и не двигать?

И это — не будет остановкой войск.

Распорядился так Брусилову.

249

* * *

С утра — петербургская мгла. Туманно, сыро. И — холодно, 13 градусов мороза.

Расклеены по городу объявления к гражданам: сдавать оружие! Но кары за несдачу нет.

* * *

Стоит сожжённый Окружной суд — на высоком цоколе два высоких этажа, длинных и по Шпалерной и по Литейному. Все окна пустые, и подпалины, где вырывался огонь. И внутри на белых стенах полосы дымной копоти. Только на закруглении окно не вывалилось — оно ложное. Во многих местах сохранилась благородная баженовская полулепка.

* * *

И рано опять началась по городу беспорядочная стрельба. Бьют больше по крышам. „Фараономания", все смотрят на крыши и показывают пальцами. Там от пуль пылит штукатурка, а возвратно падающие пули кажутся огнём с чердаков.

— Ищите оконце! С какого стреляли.

Столпились, головы задрали.

— Как же ты вгадаешь, коли окна на семо́м етаже?

— Я-то угадал, угадай ты.

— А как?

— А вишь: во всех оконах стёклышка целы, а в энтом блеску нет, знать стекольце вынуто.

Слух, что городовые стреляют с Исаакиевского собора.

* * *

Толпа подростков, а с ними двое-трое взрослых ведут по улице арестованного городового в форме, саженного роста, вместо лица кровавая маска. Мальчишки на ходу дёргают его, толкают, щиплют, плюют на него. Он, не пошатываясь, идёт.

Завели в какой-то двор и донеслось несколько выстрелов.

* * *

В доме жил и вчера арестован помощник пристава. Но и сегодня время от времени подходят и стрелнют по его окнам. А в доме — и другие квартиры.

— На то и слобода: куды хочу, туды стреляю.

* * *

Плотными жадными группами сбивается толпа — и простонародье, девочки в платках и картузы, и котелки, и дама в кораблевидной шляпе. Что-то прочесть из наклеенного на стене,— нет, послушать переднего громкого чтеца.

— Ага-а-а! — чрезвычайно рада публика аресту Протопопова.

Когда прочтено, что министр юстиции сперва скрывался в итальянском посольстве:

— А-а-а! Макаронов захотел!

Про явку конвоя Его Величества:

— За царский счёт жареными гусями да поросятами обжирались, а вот...

* * *

День светлеет, становится белым, и белое небо. И теплеет.

На Аничковом мосту столпилась публика у перил с одной стороны. Упала винтовка на лёд, а достать её нельзя: пошёл солдат, а лёд у берега подламывается.

Над винтовкой кружатся голуби, садятся около. „Долой войну!" ...

* * *

Везут по Фонтанке и так: грузовик-платформа, на ней сидят и стоят избитые чины полиции, окружённые штатскими с красными повязками на рукавах. Из толпы кричат со злостью:

— Куда их везёте? Давите гадов на месте! Поставить в ряд, да из поганого ружья одной пулей!

* * *

Прислуга: „Ой, что это всё кричат — долой монахиню? Знать, всех монахов хотят повыгонять?"

* * *

На Невском — меньше автомобилей, чем вчера, но ещё больше пешей публики и развязных солдат, валят прямо серединой проспекта, празднично. На всех опять красное — банты, ленты, в обтяжку кокард, на погонах, вокруг пуговицы шинели, на георгиевских крестах, на медалях, на концах штыков, у барышень — на муфтах или на груди, кокетливо сшитые. Не всё из кумача, бывают — и из шёлка.

А на перекрестках появились студенты-милиционеры, опоясанные отобранными офицерскими шашками, с белыми повязками на рукаве и буквами ГМ („городская милиция").

Возмущённые голоса:

— Это что ж, мы и полиции опять дождёмся? Вот так свобода!

Но — красные повязки на рукаве сильнее действуют, чем белые. Красных — слушаются.

* * *

У Таврического — опять толкотища. На Шпалерной много любопытствующих интеллигентов. И опять одни войска идут к Думе, другие из Думы, всё перемешивается, столпотворение. Говорят: вот приходил под марсельезу и петроградский жандармский дивизион. Автомобили гудят, шипят, проезда им нет. Один грузовик заехал на тротуар и пробирается. Молоденький шофёр бросил руль, растопырил руки, показывая, что не управляет. Публика шарахается.

У главного подъезда двое конных пытаются сдержать напор толпы. Лошадиными копытами топчут выделанную кожу, кем-то сложенную к крыльцу.

* * *

С Владимирского проспекта пересекает Невский Измайловский батальон. К старому боевому знамени с регалиями прошлого века привязаны красные ленты. Оркестр. Толпа приливает, вне себя от восторга:

— Спасибо, измайловцы! Да здравствует свобода!

А офицеры, с навязанными красными бантами, идут сосредоточенные, задумчивые. В ответ толпе прикладывают руку к козырьку.

* * *

В исподних полушубках, без погонов, не узнаешь части,—побрели по городу гулять и нестроевые конвойцы Его Величества из своей казармы на Шпалерной. Одного конвойца подхватили, долго возили на автомобиле в первом ряду, везде приветствовали как казака. На углу Невского и Владимирского заставили говорить речь. Сказать он нашёлся только: „Да здравствует Терское и Кубанское войско, ура!" И все закричали „ура" и замахали шапками. Повезли дальше, кормили в питательном пункте.

* * *

Командующий отдельным корпусом жандармов генерал-майор граф Татищев в ожидании царского приезда метался между Тосно и императорским павильоном Царского Села. Искал поддержки Государю у стоявших там эшелонов Кирасирского и Кавалергардского полков. Но они — „примкнули к народу".

Тогда просил подцепить его салон-вагон к проходящему от Петрограда поезду. Отказали ему.

Пошёл пешком по путям — и был арестован.

* * *

Шли матросы колонной и с музыкой. Вдруг — стрельба сбоку, неизвестно откуда. Сразу стали падать, бежать за угол, перемахивать через заборы. Только винтовки да матросские бескозырки остались на снегу.

* * *

На Спасо-Преображенской площади перед семёновцами держал речь с овсяного ларя депутат Государственной Думы Родичев. Вдруг — пулемётный обстрел, неизвестно откуда! Все повалились. Никого не задело.

Но возникло среди солдат, что их нарочно подвели под этот обстрел.

* * *

В толпе, по тротуарам — глядящих на войска много радостных верящих лиц. Богатый господин на краю панели то и дело срывает с головы шапку, седого камчатского бобра, и кружит ею в воздухе, выкрикивая приветствия проходящим манифестациям.

* * *

Из сумасшедшего дома тоже разбежались.

* * *

По всему Петрограду разгорается день повальных обысков. Вломятся в дом — и идут по всем квартирам подряд.

Начался грабёж и на императорском фарфоровом заводе.

* * *

К памятнику Александру III пристроили красный флаг. Держится.

На Николаевском вокзале от имени коменданта расклеено объявление: „Солдатам запрещается отбирать у офицеров оружие. Вооружённым офицерам, приезжающим в Петроград, предписывается являться для получения инструкций и документов в зал Армии и Флота. От Государственной Думы не исходило распоряжение отбирать у офицеров оружие".

Вокзал полон солдат разных частей. Квартира начальника Николаевской дороги Невежина разгромлена служащими и солдатами. Везде следы пуль, разбиты зеркала, поломана мебель, не вся. И покрадено.

* * *

Евгений Цезаревич Кавос, подъезжая к Петрограду московским поездом, очень смеялся рассказу спутника, представляя себе сцены ареста министров. Но поезд остановился, сильно не доезжая вокзала. И Кавос застрадал, как же он потащит несколько своих чемоданов, да непривычными руками. Ведь не поднимешь. — „Нет, это мне не нравится. Я скоро начну кричать — да здравствует Николай II!". И верно, до дому по городу он добирался, пока все вещи, двое суток.

* * *

На петроградских улицах уже много испорченных и даже опрокинутых автомобилей. Но и ездят немало, на грузовых платформах — свесив ноги как с телеги. Ездят и в богатых легковых: за бахромой роскошных занавесок — винтовки и папахи.

* * *

На углу Литейного и Невского остановился грузовик с вооружёнными солдатами, а студент без фуражки оттуда держал речь к публике о войне до победы. Толпа рукоплескала, кричала „ура". Грузовик ушёл по Невскому, а из публики любопытствующий адвокат Каменский пошёл по Литейному. Но его нагнал человек в военной шинели и стал звать людей: „Вот этот — кричал долой войну! Надо его арестовать, он шпион!" И уже схватили. Каменский сильно перепугался: „Я не говорил! это ложь!" И смелей: „Я петербургский старожил, присяжный поверенный и живу там-то. Если угодно — пожалуйте со мной на квартиру. А кто этот такой? Пусть назовёт!" Тот стал ретироваться. „Ага! Так он и есть немецкий шпион!" Стали хватать того.

* * *

По улицам гарцуют всадники, да на лошадях дрессированных: из цирка Чинизелли, разграбили цирковую конюшню.

* * *

Над Зимним дворцом вместо императорского штандарта — красное знамя.

На Дворцовый мост взъезжает с Дворцового проезда грузовик, полный солдат. Стоящий сзади молоденький солдат, глядя назад на ходу, поднимает ружьё и бухает в воздух.

Грузовик останавливается, среди солдат смятение: „Кто стрелял? Откуда?" Хватаются за ружья. Тот самый солдатик показывает им на ближайший дом по Адмиралтейской набережной:

— Вона, оттуда! С чердака.

Солдаты матюгаются, грузовик даёт задний ход, на расправу.

Из проходящих двое объясняют им, кто выстрелил на самом деле.

Но грузовик всё равно свернул, поехал в сторону Исаакия. И оттуда слышна сильная стрельба.

* * *

Шальною пулей с Марсова поля убило в своей квартире художника Ивана Долматова, 9 лет назад получившего звание за картину „Торжество разрушения".

250

Не только листовками по всей Петербургской стороне, но и объявлением в „Известиях Совета рабочих депутатов" оповещал комиссар Петербургской стороны Пешехонов о создании своего комиссариата в кинотеатре „Элит" и обращался к населению с просьбой (чтоб не добавить „покорнейшей"): во имя великого дела соблюдать спокойствие при развивающихся событиях. Доверять комиссарам, назначенным новою властью. Исполнять их распоряжения, равно как и обязанности, необходимые для населения. И присылать представителей от заводов и фабрик по одному человеку от пятисот.

Империя Романовых стояла 300 лет, и у чиновничества её были готовые выработанные организационные формы и приёмы. И вот надо было в один день начать на неочищенном месте, в ещё не известных формах, с ещё не найденными приёмами и с ещё не осмысленными целями: ни сам Пешехонов, ни его сотрудники по комиссариату — то есть бывшей полицейской части — не могли представить и предположить, в чём же именно будет заключаться их деятельность. А переехав через Неву, он от Таврического дворца уехал как будто в другую страну: там оставил он решаться государственные вопросы — и сам для Таврического провалился как в тёмную пропасть: назначили его и больше не вспоминали.

Мечта всей жизни Пешехонова была н а р о д н а я в о л я, в обоих значениях этого великого слова: и в смысле народной свободы и в смысле народной власти. И он был переполнннюще счастлив, что не только дожил до воплощения их в России, но вот теперь будет и лично участвовать в водворении свободы, хотя бы в небольшом уголке.

На призыв его откликнулись стократно с тем, что комиссариат мог перенести. Довольно было только пискнуть этой первой твёрдой точке — и уже через четверть часа к ней потянулись люди, а сегодня с утра обступали уже целые толпы.

Одни являлись — чтобы поддерживать и помогать. Наугад назначенные отделы комиссариата сразу переполнились добровольными сотрудниками, и на первый взгляд — вполне бескорыстными. Преобладали интеллигенты, но были и всех званий, был грузин в форме классного фельдшера, а например обязанности кучеров вызвался выполнять отряд бойскаутов.

Ещё больше было помощников другого толка: они не записывались в сотрудники, но не предупреждая и по собственному почину совершали повсюду обыски, реквизиции, аресты — и потом с торжеством несли и катили захваченные трофеи в комиссариат и вели арестованных.

К счастью, Пешехонов, ещё в Таврическом заметив, как много ведут арестованных, предвидел такое явление, и сразу же назначил в составе комиссариата „судебную комиссию". Арестованных приводила иногда целая толпа — но часто тут же и расходилась, и через пять минут не у кого бывало узнать и спросить: на основании чего задержано это лицо. Среди них могли быть самые опасные преступники, но и самые невинные люди,— и что же делать с ними дальше? Судебная комиссия и должна была кого освобождать, а о ком составлять протоколы, указывать свидетелей.

Но никакая комиссия не успела сформироваться, ещё первое объявление о комиссариате не было прикреплено к стене, как уже привели трёх арестованных, и сам же Пешехонов должен был их разбирать. Двое оказались городовыми, уже снявшими форму, но опознанными. Арестовывать бывших городовых Пешехонов считал совершенно бесцельным — и решил освободить их, отобрав подписки, что они ни в коем случае не будут исполнять приказаний своего прежнего начальства и немедленно сдадут оружие, если такое у них ещё есть. Третий же арестованный обвинялся толпой, что он высказал осуждение революции. Ему приписывали какую-то фразу, сам он, бледный, отрицал, что говорил её. Пешехонов внутренне затрепетал и вознегодовал: отрицать революцию — право каждого, иначе какая ж это будет свобода? *Этого*-то — надо было немедленно освободить!

Но не так это было просто! Тут толпа сгрудилась и ждала от комиссара строгого приговора. Оправдательные решения произведут на неё самое неблагоприятное впечатление. Итак, чтоб освободить, да всех трёх подряд, должен был Пешехонов взять с обвиняемыми преднамеренно-резкий тон, и самыми резкими квалификациями ругать старые власти, и высказать самые жестокие угрозы тем, кто ещё осмелится противиться революции! — и только так поддержать перед толпой свой авторитет как революционного деятеля, иначе и самого б его заподозрили в контрреволюции.

Комиссар Пешехонов объявил власть — и никто как будто её не оспаривал. Но быстро, в час и в два, понял он, ещё отчётливей, чем в Таврическом: никто не был власть в Петрограде сейчас — ни комиссар, ни Совет депутатов, ни тем более думский Комитет,— а вся полнота власти была у толпы. Власть её была — самоуправство, и сама толпа и все понимали так, что это и есть настоящая народная власть.

Однако Пешехонов принять этого не мог! Как раз наоборот, с первого часа и с первого дня ему пришлось напрячься, как смягчить это самоуправство и как защищать единицы населения от проявлений народной власти!

Но арестованных всё вели, вели — и чтоб как-нибудь разгрузить комиссариат, пришлось всю судебную комиссию перевести в другое помещение, рядом по Архиерейской, где в одной большой комнате устроили и собственную каталажку. Набралось туда работать пятеро юристов, потом десять, потом в две смены двадцать,— и всё равно едва справлялись.

Грянула — именно сегодня — эпидемия или вакханалия арестов! Показалось, что революция катится к гибели: она кончится тем, что все граждане переарестуют друг друга! И всё закружилось — вокруг Родзянки: всюду звучало его имя, он подписывал указы, он назначал комиссаров в министерства, он велел войскам возвращаться в казармы и подчиняться офицерам,— и вокруг имени Родзянки замятелила смута в умах и зажглись на улицах споры — до драки и до арестов, и какая где сторона оказывалась сильней — та тянула слабую на арест. И в судебную комиссию тащили, тащили арестованных, а там на вопрос „за что?" отвечали:

— Он — против Родзянки!

а следующие:

— Он — за Родзянку!

Тут прибегали сообщить: на Песочной улице — квартира известной черносотенки Полубояриновой, и туда стекаются черносотенцы!

Собрали наряд, послали арестовать — но супруги скрылись и квартира пустая.

А сам комиссариат хотя и разгрузился от привода арестованных, но в помещениях его никак не стало просторно. На Петербургской стороне с островами жило 300 тысяч жителей, и кажется третья часть их добивалась войти в комиссариат.

Распорядительностью прапорщика поставили стражу у дверей комиссариата, а вход в него установили только по пропускам. Выдавали пропуск всякому, кто заявлял о надобности ему войти, но лишь бы предупредить вторжение целых толп и вовсе уже праздношатающихся. Запутались, сами не заметили: столик с выдачей пропусков вдруг оказался так, что к нему нельзя было пройти, не имея пропуска. И не сразу заметили, потому что каким-то образом ухитрялись получать, и все шли с пропусками. Тогда поставили две вооружённых заставы: одну перед столиками, где выдавали пропуски, чтоб только толпа не опрокинула, а вторую заставу уже при самом входе. (И перила бы поставить — да ещё надо всё найти, да их сломают.)

Товарищи хотели устроить Пешехонову уголок в самой дальней верхней части кинематографа, за рядом барьеров,— но всё равно толпа теснилась и туда, да Пешехонов и по характеру своему не мог так усидеть, он рвался в толпу, в тиски. Где уж там руководить деятельностью отделов, и что они делали? и были ли они вообще? — Пешехонов был теперь на целый день до вечера окружён и стиснут требовательной толпой. У него и вид был не революционно-грозный, и не барский, и не образованный, росту он был самого среднего и наружности самой средней, так, из мещан или худой купчишка, голова стрижена под машинку, усы свисли и спутались с бородой, и приём ко всем услужливый. Так весь день и слушал он, во все стороны поворачиваясь, говорили с ним сразу несколько, а другие тянули за пиджак, чтобы вниманье обратить, а третьи тянули, куда надо пойти и распорядиться. За целый день он не присел и стакана чаю не выпил.

Может быть, можно было всё это лучше устроить, но никогда Пешехонов ни организатором, ни администратором себя стать не готовил, да и знал за собой недостаток находчивости, особенно чувствительной вот в такой обстановке. Дали б ему подумать, сообразить — он бы уладил всё лучше. Но слишком сразу всё нахлынуло — и действовать надо было немедленно. И он ли сам всё решал и распоряжался, или оно само решалось и распоряжалось,— этого нельзя было уследить. Но, кажется, так решалось, как именно и он был согласен, вместе с народом.

Со всех сторон донимали добровольные горячие доносчики, кто по мнительности, а кто и по злобе, счёты сводя. Один тащил в сторону и шептал, что такой-то поп сказал контрреволюционную проповедь. Другой совал донос, что в таком-то учреждении такой-то собрал некоторых служащих в комнату, закрыл дверь и имел с ними несомненно контрреволюционное совещание. Всем, кто не успел поучаствовать в революции в начале, хотелось вложиться хоть теперь и захватить в плен ещё хоть одного противника. Так и звучало:

— То была *их* воля, они нас сажали в кутузки, а теперь наша воля, мы — их...

Чуть не на каждого человека готовы были наброситься как на шпиона. Чуть не в каждом доме чудился спрятанный пулемёт.

Пешехонов совал доносы в карман. (Вечером опорожнял, набиралась их пачка.)

Но больше всего сообщали о запасах продуктов в домах и квартирах (все запасы назывались спекулянтскими по самым фантастическим признакам), совали списки квартир и лиц, у которых есть запасы, или предлагали спросить прислугу, та знает и покажет. Вокруг продовольствия было особенно растравлено и теперь исправляли, кто как понимал, а многие очевидно рассчитывали, и это удавалось, при реквизиции поживиться самим. А оставшуюся часть несли или везли в комиссариат — и надо было озаботиться местом для склада, охраной его и каким-то же распределением. Сваливать начали в самом комиссариате, а тут ещё и спиртные напитки (толпа особенно охотно отыскивала и реквизировала именно винные запасы) — и в таком доступном месте! Нельзя было положиться ни на публику, ни на самих солдат, поставленных стражей. Несколько подвод с винами Пешехонов сразу направил в соседнюю Петропавловскую больницу, рассчитывая, что её-то громить не станут. Создавать надо было продовольственный отдел, и какого-то случайного активиста туда назначили (потом оказалось — жулика).

А по улицам — пёрли и пёрли вооружённые, неизвестно откуда набравши винтовок.

В комиссариат прибегали и жаловаться на самочинные обыски, начавшиеся погромы квартир: пришлите же защиту! обороните!

И кого-то посылали.

То — просили прислать караул, что-то важное охранять, какой-то покинутый склад.

Свои солдаты таяли, надо было где-то искать подмогу. И помощники Пешехонова отправлялись в питательные пункты: среди уже наевшихся солдат искать себе помощь.

То — напирал безоружный бродячий солдат — просил винтовку или револьвер.

Вид его был подозрительный, и ему отвечали: нету.

— А может, всё-таки? — мирно клянчил тот.— Солдату без ружья как быть?

— И ружей нет.

— А пойдёшь с пустыми руками — фараон с крыши застрелит. Хучь бы тогда револьвер.

— И револьвера нет.

— Так нас здесь — трое,— мялся, плутовал солдат.— Хучь бы на троих один. На каждом углу убить могут. Или,— мялся,— с обыском идти придётся, как же без оружия?

— Товарищ, не задерживайте, нету.

Да! А что же с охранкой? Вчера говорили Пешехонову, что она сожжена, и он успокоился. Но она находилась в его районе, и надо бы проверить. Явился какой-то прапорщик и доложил, что в помещении охранки остались бумаги, и публика их понемногу растаскивает. Пешехонов тут же назначил этого

прапорщика комендантом охранки, поставить там стражу, если бумаги уцелели. Прапорщик съездил, поставил и привёз образчики бумаг со списками секретных сотрудников. Это поразительно! — и такое сокровище пропадало! (Догадался прапорщик вступить в сношение с Горьким — и тот взялся разбирать архив.)

Тут — новая атака на комиссариат: гимназист лет шестнадцати, рыжий как огонь, глаза выпученные, лицо безумное, и с ним несколько штатских, не все старше его, и такой напор, что сразу прорвали первых часовых и уже прорывали вторых. Пешехонов выставился им навстречу: что такое?

Такой-то негодяй, назвал фамилию, живёт на одной лестнице с этим гимназистом, известный черносотенец — выписывает „Новое время"! Как бы не открыл из окон стрельбу! Надо против него вооружиться.

— Нет, нет, оружия лишнего у нас нет! — двумя руками им перегораживал, останавливал Пешехонов.

За его спиной, по лестнице вверх, лежало на втором этаже больше сотни исправных винтовок, старинные кремнёвые ружья, два ятагана, несколько кинжалов, медвежья рогатина и австрийский дротик. Но — беда, если попадёт в руки вот таким. (А слух — очевидно их достиг.)

Перегораживал руками Пешехонов, не слишком надеясь на своих часовых, совсем случайных солдат, приведенных с улицы за рукав. Они в любой момент и уйти так же могли.

Рыжий гимназист выразил демоническое изумление и презрение:

— Как? Как? — не хотел он верить, спазма сжимала горло.— Ну, знаете, товарищи... Ну, знаете, товарищи... По-моему, вы все здесь — провокаторы!

ПОШЛА БРАГА ЧЕРЕЗ КРАЙ — ТАК НЕ СГОВОРИШЬ

ДОКУМЕНТЫ — 9

Сего 1 марта среди солдат петроградского гарнизона распространился слух, будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат... Как председатель Военной Комиссии Временного Комитета Государственной Думы я заявляю, что будут приняты самые решительные меры к недопущению подобных действий со стороны офицеров, вплоть до расстрела виновных.

Член Государственной Думы *Б. Энгельгардт*

251

Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Такое qui pro quo получилось и с полковником Половцовым. 20 февраля он был в Гатчине на приёме у великого князя Михаила Александровича, ещё ничего в Петрограде не было, 25 февраля — в Ставке на приёме у Государя, 27-го вернулся в Петроград в самую кашу, 28-го вечером присоединился к революции.

Это вот как всё произошло. Начальник штаба Кавказской Туземной дивизии и вообще большой энтузиаст кавалерии, Половцов... Кстати, был такой случай. О нём никто не знает, сверхсекретно, но если бы узнали — было бы изумление и хохот. В прошлом году стало известно намерение Ставки резко сократить кавалерийские части: мало используются в боях, несут большие потери, съедают много фуража. И вот Половцов гениально сочинил по-немецки и ночью на Румынском фронте безымянно пустил по радио телеграмму якобы фон-Шметова, поздравляющего своих коллег немецких генералов по поводу сокращения русской кавалерии, что означает отказ русских от наступательных операций. Потом ему удалось узнать, что телеграмма эта, перехваченная, была доложена Государю — и так было отменено уже начинавшееся сокращение казачьих полков.

Петр Половцов вообще считался патентованный гений, Академию генштаба в своём выпуске он кончил первым.

Но несмотря на это и на видное положение своего покойного папаши, служебное продвижение его было ниже ожидаемого, ниже заслуженного. Да вот на этих днях, когда он ожидал производства в генерал-майоры, он получил всего лишь „высочайшее благоволение", облизнись.

Так вот, как энтузиаст кавалерии он и поехал в феврале проталкивать через верхи преобразование этой дивизии в Туземный корпус. По письмам с Кавказа была уверенность, что горских добровольцев наберётся на корпус, только кликнуть набор, они рвались (а мобилизации у них не полагалось). Великий князь Михаил, конечно, поддержал, но в Ставке было противоречие, ничего определённого пока не удалось,— и надо было Половцову возвращаться в свою дивизию, он решил — через Петроград, ещё раз проветься.

В Могилёве он останавливался у флигель-адъютанта Адама Замойского, с ним вместе и приехали в Петроград, а тут... Замойский вскинул гордую шляхетскую голову и заявил, что в такую минуту он как флигель-адъютант обязан предложить свои услуги и шпагу покинутой угрожаемой императрице. Половцов сдержал улыбку и остался в столице оглядеться, на квартире у знакомого. Его авантюрное сердце забилось в представлении, что такие события и минуты происходят не в каждое столетие раз. Он сутки проследил за происходящим по телефону, попутно телеграфировал в свою дивизию, что вот, застрял в Петрограде,— и вчера вечером получил от Энгельгардта приглашение в Военную комиссию. И тотчас помчался туда.

А так как шашку свою он ещё прежде оставил на хранение в Генеральном штабе, то теперь явился в Таврический с кинжалом и револьвером, в лохматой папахе, изумительной черкеске с серебряными газырями, высокий, стройный, как всегда поражающий выправкой, той степенью выправки и даже той английской отделанностью манер, когда можно дозволить себе и свободные жесты,— чересчур даже сильное, страшноватое явление для такой комичной организации, какою была эта Военная комиссия.

Как раз — офицеры генштаба собрались сюда, и всё знакомые, всё *младотурки*, собранные всё тем же Гучковым и многозначительно-шутливо поигрывающие своею прежнею кличкой: от них-то и ждали когда-то государственного переворота, и он вот совершился, да сам.

Но не смотри на кличку, а смотри на птичку. Офицерики-то были так себе, все эти Туманов да Туган-Барановский. (Впрочем, и внимательно пошарив по Академии и по Главному штабу — не так много людского материала найдёшь.) А приведенный им генерал Потапов был просто сумасшедший (перед войной — гулял в отставке из-за умственного помешательства). Энгельгардт — пустое место. Все они здесь просто болтались, а кто был создан для штабного руководства — так только Половцов да, смешно, инженер Ободовский.

А ещё и сами от себя целый день валили неизвестные офицеры, предлагая себя для службы народу. И много их...

Но при такой неопределённости состава, обязанностей, и, главное, общего военного положения Половцову тоже было рано разворачивать все свои способности, он пока полуиграл, отпускал шуточки, болтал на подоконниках с одним, другим и третьим — и ко всему присматривался.

Обсуждали пикантную историю с явкой в Думу конвоя Его Величества. Вспоминали, как верна оставалась Людовику XVI швейцарская гвардия: все были перебиты на ступенях Тюильрийского дворца, а не сдались.

Военная комиссия перешла на 2-й этаж в более спокойные отдалённые комнаты, в бывшую квартиру коменданта Государственной Думы, и его же печать присвоив себе за неимением лучшей. Провели какую-то всё же штабную организацию, учредили отделы — автомобильный, радиотелеграфный, технической помощи, санитарный, расставили несколько столов, пишущих машинок, расселись преображенские писаря, нашлись и две девицы с лихими причёсками, печатались удостоверения, заносились исходящие, в тетрадь записывались показания всех желающих что-то сообщить, раскладывались свеженькие обёртки дел, и адъютанты расхаживали с ними от стола к столу.

В течении дня посылали караулы в ещё не охранённые министерства и департаменты.

Презабавная была эта Военная комиссия, довольно раскоряченная в своём положении. Связь между царём и Царским Селом переключили на Таврический, в Военную комиссию приносили копии всех телеграмм между царём и царицей, о здоровьи детей, о передвижениях царя,— можно было за ними следить как за увлекательной игрой, но не приказывали стеснить, если он едет в Царское,— а от Вишеры, жаль, собственной волей повернул, ушёл. Военная комиссия считалась подчинённой временному думскому Комитету, а этот ни на что не решался, всё гнулся перед Советом рабочих депутатов — и в угоду ему особым постановлением зачислил в Военную комиссию также и полный состав Исполнительного комитета Совета, чушь какая-то,— хорошо, что у тех хватило ума или чувства юмора сюда не являться, только болтался от них кислый библиотекарь Академии Масловский. Но если кто оттуда являлся, или слишком революционные солдаты в этих непрестанных депутациях, выражающих революции верноподданничество,— то приходилось полковникам рассыпаться перед ними в иронической любезности. С депутациями этими вообще было много возни и с сигналами тревоги тоже. Явился молоденький военный врач и заявил, что в Сенате и в Синоде установлены пулемёты и работает контрреволюционная типография. И хотя сразу было понятно, что это — чепуха собачья, но такова была обстановка революционной настойчивости и недоверчивости, что нельзя было посмеяться и нельзя было отказать, а пришлось Половцову с самым серьёзным видом взять этого врача, нескольких кексгольмцев и поехать на долгий обыск и по Сенату и по Синоду, ничего не найти и составить о том протокол.

Тут ещё много смешил и путал безудержно-инициативный думский казак Караулов. Сам ли себя или кто-то надумал его назначить с вечера 28-го на быстросменный пост коменданта Петрограда. И с утра 1 марта уже был распубликован и кое-где развешан „приказ № 1 по городу Петрограду", счёт начинался с особы Караулова. А приказ был: беспощадно арестовывать пьяных, грабителей, поджигателей — и всех чинов корпуса жандармов, то есть последних ещё охранителей порядка. Разыскали чубатого казака, трясли его — что ж он делает? Нисколько не сумняшесь, он тут же размахнулся, написал, да успел же где-то напечатать и расклеивали — дополнение к „приказу № 1": что чины корпуса жандармов аресту не подлежат, и сразу же „приказ № 2": что чердаки и крыши заняты сторонниками старого порядка, и дворникам предписывается обыскивать и проверять.

Караулов не знал себе никаких границ, и составленный в Военной комиссии приказ военным училищам возвратиться к военным занятиям был на ходу как-то перехвачен и появился за подписью почему-то опять Караулова и Керенского. Творилось полное безначалие в самом Таврическом дворце.

Да если бы только во дворце! С минувшей ночи по-новому бушевали казармы там и сям от слуха, что „офицеры отбирают оружие", захваченное в революционной суматохе. Прорывались и сюда: „Что? На расправу нас затягивают? А дать окорот и тому же Родзянке! Хоть и самого арестовать!" Смертельно перепуганный Энгельгардт, не посоветовавшись с офицерами в комиссии, ни даже с Гучковым, которому был теперь подчинён, но тот всё в разгоне,— с панической быстротой написал и тут же отдал в распечатание ужасающий приказ, что он примет самые решительные меры к недопущению разоружения солдат, в п л о т ь д о р а с с т р е л а о ф и ц е р о в. И когда члены Военной комиссии об этом узнали — остановить приказ уже не было возможности, он раздавался ликующим солдатам! Так сама же Военная комиссия и вызывала у солдат панику.

Расстреливать офицеров за то, что они владеют оружием своей части!

Так что: и заманчивы были возможности революции для взлёта, но и тут же грохнуться наземь также вполне возможно. Половцов усмехался, похаживал, сдерживался проявлять себя. Судьба играет человеком, а человек играет на трубе...

Думский Комитет с каждым часом показывал свою абсолютную беспомощность. В запасных батальонах творилось полное безвластье, особенно в Московском, где хозяйничали рабочие и убивали офицеров, полковые казармы были блокированы, и доступа туда представителям власти не было. Из других батальонов офицеры передавали в ужасе, что сохранение порядка невозможно. „Известия" Совета и прямо высказывались против восстановления порядка. Для защиты Петрограда не было ни одной боеспособной части. Между тем отличный боевой Тарутинский полк высадился на станции Александровской, рядом с Царским Селом для действий против Петрограда. Но надеялись облапошить Иванова, принять его глупую генеральскую голову в объятье Военной комиссии, послали к нему офицеров.

А ещё — разбурavливался Кронштадт и отнюдь не в подмогу революции, как казалось прошлой ночью и радовались. С утра убили адмиралов Вирена и Бутакова, убивали ещё офицеров. Что там творилось — чёрная буря, не дознаться, разверзалась пугачёвская бездна, это уже не игра. С полковничьими погонами на плечах воспринимались эти вести зябко, даже под защитной крышей Таврического.

По едкой иронии именно в этот момент прибрёл в Военную комиссию растерянный старичок генерал Адлерберг, усмирявший Кронштадт в 1906, и просил удостоверения на право жительства в Петрограде и носить шашку...

Всё зависело теперь — что предпримет адмирал Непенин. Сегодня из Гельсингфорса он приказал читать командам обращения думского Комитета. Значит, Непенин присоединялся к революции. Так.

Да, большие возможности обещает революция, но лучше бы их обуздать. Но — кому?

Руки Гучкова, понимал Половцов, были для этого отнюдь не достаточны, слабы.

Может быть — и зря кинулся он в эту Военную комиссию? Может быть — и зря заезжал в Петроград? Сидел бы у себя в дивизии спокойно?

252″

(по „Известиям Совета Рабочих Депутатов")

...Высказываются суждения, что вся задача только в том, чтобы „восстановить порядок". Такие суждения способны внести смуту в умы, они свидетельствуют о глубоком непонимании смысла происшедшего. ...Мы намеренно пока не ставим все точки над „i". Но сделаем это в следующий раз. С т а р о й в л а с т и в о з в р а т а н е т — и совершают преступление перед народом те, кто пытаются заключить с ней компромисс. Им придётся расплачиваться...

ПРИЗЫВ К ПОЖЕРТВОВАНИЯМ — Драгоценная кровь народная льётся за дело свободы. Никакие следовательно жертвы материальные не должны вас останавливать. ...Собирая деньги, учреждайте сразу строгий контроль из надёжных лиц, чтобы не было упрёков в корысти.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Товарищи! Петроград — в руках свободного народа. Ещё несколько ударов — и старый строй отойдёт безвозвратно в вечность. Враг, окружённый ненавистью и презрением, трусливо прячется в своих подземельях, чтобы собрать свои чёрные рати. Уже полнеба охвачено красным заревом свободы, но солнце ещё не взошло, и предстоят ещё жестокие схватки между народом и старой властью. Пролетариат опрокинул все тонкие дипломатические расчёты либеральных политиков... Нужно, чтобы пролетариат, вставший в авангарде революции, был окружён стеной всенародного сочувствия. Нужно с лихорадочной поспешностью приступить к созданию рабочих организаций. Оплетите неорганизованные массы густой сетью организационных ячеек!..

ОК РСДРП (меньшевики)

АРЕСТОВАННЫЕ ВРАГИ НАРОДА...

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ СВЕДЕНИЯ О ВОССТАНИИ ПЕТРОГРАДА

Граждане! Чтобы нам не быть одинокими... Наша борьба будет выиграна только в том случае, если с нами будет вся страна. Старая власть употребит все усилия, чтоб отгородить Петроград от страны. Граждане, распространяйте наши издания, рассылайте их с почтой и нарочными по городам...

Следующее заседание Совета Рабочих Депутатов назначено на 29 февраля.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПЬЯНСТВА! — Опасный враг достоинства революции — **пьянство**. В погребах большие запасы вина и водки, революционный народ находит их. Революционному народу они все не нужны. В историческую минуту революции надо быть трезвыми и чистыми. Поклянитесь в этом, товарищи, друг другу! — **УНИЧТОЖАЙТЕ ВОДКУ!**

...Вооружённые жильцы каждого дома должны заняться очисткой своих домов от уцелевших убийц...

БЕСЦЕЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА И КАТАНИЕ НА АВТОМОБИЛЯХ.

Товарищи! Не будем тратить бесцельно ни одной лишней пули. Все они нужны для будущей борьбы с контрреволюцией и кровожадным преступным праительством. Не забывайте, что под покровом ночи правительство готовит удары реаолюции, что оно собирает опричников, чтобы потопить дело революции в крови народа. Для них — и нужны пули. Избегайте ненужных выстрелов. Они лишь пугают мирное население и могут даже убить наших товарищей-революционеров. Избегайте, товарищи, бесцельных поездок по городу на аатомобилях. К тому ж иногда бесцельно расходуется драгоценный для нас бензин. Товарищи, не превращайте выступления дружин в увеселительные прогулки с ненужной пальбой.

Следующее заседание Комитета Государственной Думы назначено на 12 часов ночи.

НЕ НАДО ЖЕСТОКОСТИ. Народ разделывается в настоящее время с наиболее ненавистными представителями старого строя. Они гибнут на улицах и площадях, платясь за свою былую жестокость... Непосредственных преступников, кто расстреливал наших братьев, если они сопротивляются, надо уничтожать... Нельзя однако быть жестокими с теми, кто сдаётся на милость революционного народа. Не надо надругаться и издеваться над ними. Они в большинстве безвредные подлые людишки, в крови которых не стоит пачкаться.

В распоряжение Совета Рабочих Депутатов поступили от неизвестного солдата золотые часы.

...Трусливые приспешники старого режима попрятались в разных дворах, подвалах, выгребных ямах. Революционному народу они все не страшны. Они тонут в народном презрении в тот светлый праздник свободы, который мы переживаем. Нужно принять меры к задерживанию лишь тех, кто куёт новые удары против революции.

...На Финляндском вокзале никаких данных о возможности прибытия войск.

К РАБОЧИМ. Совет Рабочих Депутатов просит всех товарищей рабочих, у которых имеется оружие, сдавать его Совету. Плохо делает тот, кто стреляет без толку в воздух... ТОВАРИЩИ, ВООРУЖАЙТЕСЬ!

ТОВАРИЩИ ПЕЧАТНИКИ! Помогите свободному печатному слову! К верстакам, наборным и печатным машинам!

Студенческие группы с-д, с-р и Бунда призывают товарищей студентов энергично записываться в городскую милицию. Помните, товарищи, что Совет Рабочих Депутатов — ваше Верховное начальство.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ? — В городе появились слухи, что рабочие металлисты должны уже приступить к работам. Нет, забастовка может быть прекращена лишь полновластным постановлением Совета Рабочих Депутатов. Все обособленные шаги могут внести лишь деморализацию в великое дело революционного народа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! — Необходимо занять Государственный Банк, но помнить, что **там, кажется, есть пулеметы.** — Необходимо охранить Гостиный Двор и Апраксин рынок от хулиганов.

253

Ещё на прямой парадной мраморной лестнице под стеклянным колпаком Дома Армии и Флота, главного столичного офицерского собрания, и потом на окружных перильчатых галереях второго и третьего этажа со множеством пилястров, зеркал, дверей, голубого, золотого и дубового, и в кольце гостиных — тёмно-розовой „дамской", кофейной, зеленоватой „мужской", буфетной, строгой мрачной столовой с витражами (ничем сегодня не кормили), и в самом концертном зале у крайних кресел — стягивались знакомые и незнакомые группками по трое, по пять, по десять,— и друг от друга надеялись получить объяснение? поддержку?

Всех званий и всех полков были офицеры — все без оружия, но и без дам, но и среди буднего дня,— сколько служили они, кто год, кто четверть века, никогда бы не могли представить, что такое наступит в их жизни или вообще с какими-нибудь офицерами какой-нибудь армии. В один день все они были обезоружены, как бы разжалованы с чинов, уволены с должностей, а кто-то ещё и приговорён к смертной казни.

И со всем тем они должны были продолжать жить, ходить с офицерской выправкой, изображать офицерский вид.

Все обречённые, вот они согнались теперь вместе, в одно здание на углу Литейного и Кирочной, здание, знававшее их блеск, успех и досуг,— в прежней полированности, при прежних бронзовых группах и бра, кажется, последнее здание в Петрограде, куда ещё почему-то не врывались всевластные обнаглевшие солдаты. Согнались в ожидании начала,— неизвестно чего начала и в какой час. В обрушенном мире было тоскливо, страшно — но и не может же офицер это выказать.

И в одной группе в розовой гостиной, где подвески двух роскошных люстр мелодично позванивали от ходьбы по паркету, подполковник с ярким золотым передним зубом находил способность шутить:

— Теперь, господа, устанавливается черта оседлости, только вот какая: жить в столицах запрещается — офицерам, и на право проживания в виде исключения будут выписываться кратковременные свидетельства, как вот у этого штабс-капитана. Спешите в Государственную Думу, пока хоть выписывают.

Выразительная дерзкая губа его с жёлто-белым усом изгибалась.

У Райцева-Ярцева это была не роль и не бравада, а способ жить. Как в окопах шутят над Вильгельмом, над лётчиками, над толкущими вокруг снарядами врага — так отчего ж было изменить стиль и не пошутить теперь? Ведь всякий жизненный случай всегда кому-нибудь смешон, это правда,— и когда офицеры бежали из петроградских казарм, то сами не замечали смешных подробностей, а многим солдатам это даже весело представляется.

Когда вчера на улице Гоголя кучка солдат вдруг резко повернула к нему, и один грубый с тяжёлой челюстью закричал ему сдать оружие — в какую-то секунду всё взвилось, провертелось как будто даже не в голове Райцева-Ярцева, а где-то выше, выше, откуда видно всё хорошо, и откуда к нему уже спустилось. Что вот — и его не минуло, а надеялся — не тронут. Что выход только: обнажить саблю и убить одного мастерским кавалерийским изворотом, вот эту огрузлую челюсть. Но тут же и — быть растерзану самому. И вся нелепость: погибнуть на петербургской улице, убивая русского солдата. Вся нелепость — погибнуть, не дожив до сорока лет, со всем цветным, что теснилось в груди.

А значит — не убивать.

А тогда — и не убиваться. Тогда — отдать с лёгкой косой усмешкой, видя, как это несомненно смешно. Подполковник Райцев-Ярцев, потомственный дворянин и кавалерист, всю силу мужества своего вытягивавший в продолговатое тело сабли на её взлёте,— теперь отдавал эту душу-саблю как ненужный привесок.

Отдать с косой усмешкой — и потом шагать дальше по улице — и видя навстречу другого такого же опорожненного, правой рукой приветствовать его к козырьку, а левой шутливо прихлопывать по пустым ножнам на бедре.

Прежде сам бы не поверил, что так усмешливо перенесёт, когда его обесчестят.

Не так всё в тонкости, но с той же усмешкой он рассказывал теперь это всё своим собеседникам тут.

Тут-то, в Доме Армии и Флота, они все на короткие часы каким-то недоразумением были вполне безопасны. Может быть — можно было дойти до квартиры и оставаться там. Но — день, другой, а дальше? Ведь надо возвращаться в казарму?

Но это теперь — это теперь невозможно!!

А чем позже вернуться — тем хуже, укреплять солдатские подозрения.

И как же вернуться, если оружие части держат солдаты, а офицерам оно недоступно?

Перевернулся мир.

Новый опыт настолько неизвестен, посоветоваться настолько не с кем — непростительно давали украсить грудь красным бантом, даже второй на папаху, и так шли с солдатским строем в Думу (а кстати: здесь, сейчас, почти ни у кого красных наколок нет — в гардеробной сняли? спрятали в карман?),— да ведь в Государственную же Думу! — таков был призыв Родзянки, это законный человек.

Но не становилось с солдатами доверительней. Всё равно смотрели волками.

Да ведь кто ж и остался в Петрограде, кроме Думы? И она зовёт восстановить в частях порядок.

Но как восстановить, если вышибло из рук? И если нельзя забыть? Тех минут страха. Тех минут оскорбления.

Конечно, возврат в казармы неизбежен. Но и непонятен. Вернуться — значит потребовать, чтобы солдаты не шли разбойничать по городу, когда хотят, а спрашивали разрешения на каждую отлучку,— разве это ещё возможно? чтоб они сдали оружие и патроны из разгромленных цейхаузов? И это возможно?

Нет, восстановить прежнего уже нель-зя.

Или прилаживаться к тому тону, который за эти дни взят там без нас? Даже брать ноты ещё резче, чтобы никто не усумнился в их революционности?

Охватывает апатия. Последняя усталость — до неспособности сопротивляться, до тупого безразличия ко всему.

Рослый мрачный полковник, лицо из одних простых крупных черт, как будто вдесятеро меньше черт, чем бывает вообще у людей, такие лица хорошо смотрятся перед полковым строем,— говорил вопреки очевидности:

— Нет, господа, это всё зависело от нас. Это — мы сами упустили.

Впрочем, он не гвардеец был и, видимо, даже не петроградского гарнизона.

Да и Райцеву-Ярцеву не надо было возвращаться в казармы: он в Петрограде в отпуску, его-то полк на фронте. Ему только предстоял позорный возврат без сабли, до первого полкового склада. А пришёл он сюда за охранным документом, чтоб не подвергаться новым оскорблениям.

А между тем громко звенел по зданию электрический звонок: звали в большой зал. И тут в их группе к измайловцу подошёл взбудораженный другой и уверял, что час назад от думской Военной комиссии полковник Энгельгардт издал публичный приказ: офицеров, которые будут заставлять солдат возвращать оружие,— р а с с т р е л и в а т ь!

Что? Что-о?? Не может быть!

Чушь какая: Государственная Дума именно и звала ведь...

Шли в зал рассаживаться.

Непривычное для офицеров: публичное заседание. Но там уже сидели на сцене за столом — и все с красным на груди, правда не вызывающие банты, но скромные бутоньерки. Самочинно занявшие места. Называли председателя, секретаря, полковник Перетц, полковник Защук, полковник Друцкой-Соколинский. Испарения революции взнесли их туда.

Они и начали говорить один за другим. И что несли! —

— ...Лучшие из вас шли во главе солдат на штурм режима...

Кто это шёл?

— ...Рухнули барьеры и создаётся внутренняя связь между офицером и солдатом. Дух крепостничества навсегда исчезнет из военной среды!

По залу шёл гул от разговоров, плохо слушали.

— ...Граждане офицеры!..

Вот ещё как, по-новому.

— ...скорей вернуться на свои места в строй, просветлёнными, возрождёнными,— и восстановить духовную связь с солдатом на началах равенства и братства. И при поддержке того коллективного прапорщика, который вышел из рядов народа...

Рядом с Райцевым сидел молодой, с умным лицом моряк:

— Собрание самоубийц. Разве *тех* умилостивишь? Никогда. Знаю я их.

— Откуда?

— Студентом тёрся с ними.

А со сцены излагали замысел такой: либо всем сейчас идти отсюда шествием к Думе, и даже демонстративно через Невский („Господа! Зачем же всем? разве нельзя обойтись делегацией?"),— либо делегацией, но она должна понести резолюцию всего собрания. Это должно быть приветствие Государственной Думе в её благородном деле возглавления народного движения к свободе. И — присоединение: что офицеры, находящиеся сейчас в Петрограде, все тоже идут рука об руку с народом. (Эта подручка сейчас тяжелей всего представлялась.) Что вот они, собравшись тут, единогласно (почему-то настаивали, чтобы только единогласно, как будто отщепление одного голоса могло всё испортить) постановляют: признать власть Временного Комитета Государственной Думы! — впредь до созыва Учредительного Собрания.

Загудели возмущённые голоса: что-то слишком уж чудовищное! Не слишком ли большую цену спрашивают с них за возврат в казармы и за право свободно ходить по петроградским улицам? В России царствует Государь император, которому они все присягали,— и как же они могут теперь *признать власть* какого-то временного комитета из общественных деятелей? А Его Императорское Величество?

Но ещё можно бы этих признать до прибытия Государя в столичный град (скорей бы они шли, эти эшелоны, где они там застряли?), ну до образования постоянного правительства,— но почему нужно признать до созыва Учредительного Собрания? Разве Россия — не существует, чтоб её заново учреждать?

Да немногие и понимали, что это за выражение: „Учредительное Собрание".

А виделись и молодые сияющие лица — и среди ораторов, и в зале.

И сосед, корабельный инженер:

— Разве наши офицеры подготовлены противостоять им? Чтоб их знать — надо в их драконовой крови искупаться прежде. Вот эти взрывы во флоте — „Мария", да несколько под Архангельском, да пожары на складах, и вот в январе взорвался ледорез „Челюскин",— это кто работает, вы думаете?

Он сам был сейчас — флагманский инженер в Беломорском флоте.

Ничтожная кучка говорила со сцены, вот ещё какой-то полковник Хоменко,— а ужасный поворотный ход событий придавал силу их словам. Вот уже взывали откровенно — не к сердцу, а к самосохранению: какие угодно имейте убеждения, но чтобы выйти из этого здания, но чтобы шаг ступить по улице, но чтобы сутки следующие проносить свои погоны,— присоединяйтесь, и *единогласно*! И тогда получите регистрацию и удостоверение на повсеместный пропуск.

Тот рослый полковник, с простыми чертами отважного лица, сидел от Райцева наискось вперёд, у прохода. И басил для соседей:

— Какая низость! Какое раболепство перед новыми правителями! И что же случилось с нами, господа офицеры? Неужели это не мы водили полки всю войну? Как быстро нас растрясли! Да сколько нас тут? — оглядываясь по залу.— Да тысячи полторы. Если на каждого считать хоть по 40 солдат — мы представляем 60 тысяч войска.

— Солдат — отвыкайте считать,— отозвались ему из ряда впереди.

— Хорошо, нас полторы тысячи.

— Теперь безоружных.

— Хорошо, почти безоружных. Но зато каких опытных. Да вот сейчас принять это идиотское предложение — и идти безоружным шествием якобы приветствовать Думу. А как дойдём до самой или даже внутрь — хватать там солдат за винтовки, отнимать, из рук выворачивать — и стрелять. И разогнать к чертям их пьяное сборище, а второго у них нет. И вообще ничего больше нет. Да это верный успех! Если б вот сейчас встать, объявить своё, сговориться — и пойти! Но ведь мы уже разложены, ведь тотчас побегут докладывать. Мы уже — как не одной армии офицеры, что с нами сделали, а?

Крупно решительный, он встал, за ним те два измайловца, и пошли по проходу вон.

И Гарденин посмотрел на Райцева:

— Пошли? Не идёте?

Резко встал — и тоже прочь, за теми.

Нет, Райцев-Ярцев остался. Хотя бы — оценить это всё с точки зрения юмора.

А на сцене появился сам Энгельгардт, очень благоприличный. Читал с приготовленной бумажки проект воззвания:

— ...„К величайшему нашему прискорбию как среди солдат, так и среди офицеров были предатели народного дела, и от их предательской руки пало много жертв среди честных борцов за свободу..."

Э-э-э. Это уже было недалеко и до *расстреливать*?..

254

В городе Луге, в 120 верстах от Петрограда по железной дороге на Псков, гарнизон стоял такой. Только что сюда прибывшая и предназначенная к отправке во Францию артиллерийская бригада — ещё без единой пушки, без единой винтовки, с неподготовленным составом и слабым командиром, генералом Беляевым, братом военного министра. Запасной артиллерийский дивизион — из новобранцев, неопытный, беспокойный, и тоже невооружённый. Автомобильная рота, как всякая автомобильная набранная во многом из рабочих и неблагонадёжная. И сборный пункт гвардейских кавалерийских частей из нескольких команд. Во главе пунктов стоял генерал граф Менгден, он же старший офицер гарнизона, весьма благодушный, хотя вспыльчивый, его солдаты любили и называли „наш старик".

Старшим же адъютантом этого пункта и начальником одной из команд Конногренадерского полка был ротмистр Воронович, после лечения от раны поступивший сюда несколько месяцев назад. Ротмистр этот был из молодых да ранних: из Пажеского корпуса, не окончив его, он успел удрать на японскую войну вольноопределяющимся и там получить георгиевский крест, правда в лёгком деле. Пажеский корпус не хотел принимать его вновь для окончания курса — и так Воронович застрял бы надолго армейским прапорщиком, но Государь распорядился принять его. Беглец отсидел месяц в карцере, а потом, вместе с пажом Макшеевым, успел кончить корпус из лучших, так что на последнем году они оба были произведены в камер-пажи императрицы и не раз дежурили в её покоях. Далее с георгиевским крестом Воронович оказался единственным таким среди юнкеров, так что все они обязаны были отдавать ему честь,— а затем и в гвардии, в Конногренадерском полку, его Георгий выглядел редкостью, ибо гвардия не была на японской войне. А ещё, по быстроте, он успел приобрести и передовые взгляды. А ещё он вынес тяжёлое впечатление от 1905 года, когда, на возврате с Дальнего Востока, тонул в стихийном море солдатских толп и вывел для себя, что нельзя оставлять солдат самим себе без правильного руководства. Оттого усвоил он самый доверительный стиль в отношениях с солдатами, а особо с теми, которые имеют революционные связи. Так и здесь в Луге, на пункте, у него был такой доверенный, рядовой Всяких, недавний студент-электротехник, связанный с эсерами.

С 27-го февраля, при смутных известиях о петроградских событиях, проникших слухами и в солдатскую массу, решено было воспретить отпуска и командировки нижних чинов в Петроград и усилить наблюдение за неблагонадёжными. Многие офицеры поняли это так, что надо подтягивать дисциплину и придираться к солдатам. Ротмистр Клейнмихель распорядился всыпать розог одному из гусар за неотдание чести. (Генерал порицал его за то.)

Напротив, ротмистр Воронович вызвал Всяких и тайно поручил ему ехать в Петроград и узнать как следует, что там творится. Затем велел вахмистру созвать свою команду, триста старослужащих, и обратился так:

— Ребята! В Петрограде происходят беспорядки. Чем они кончатся — неизвестно, но нужно быть готовыми *ко всему*. Я прошу вас не волноваться зря, не верить никаким слухам, продолжать занятия. Я обещаю, что буду сообщать вам всю правду, что произойдёт в Питере. А вы обещайте мне вести себя благопристойно, как и до сих пор.

Кавалеристы обещали.

А граф Менгден поверх всех один оставался совершенно спокоен: и что в Петрограде всё кончится благополучно и что вверенные ему кавалерийские команды останутся преданы Государю императору при всех обстоятельствах. А с их помощью он в любой момент подавит в Луге любые беспорядки. Начальники команд предлагали ему меры, как отъединить кавалеристов от ненадёжных частей: окружить расположение пункта заставами, запретить нижним чинам отлучку и не допускать посторонних. Но генерал Менгден отменил всякие заставы:

— Я уверен, господа, что у нас, в Луге, опасаться нечего. Запасный дивизион и автомобилисты не посмеют выступить, если будут знать, что кавалеристы остались верны своему долгу и присяге.

И 28-го, вполне спокойный в Луге день, но когда пришёл слух о движении генерала Иванова, граф Менгден оставался тем более спокоен: вот Иванов и обнаружит тех мерзавцев, которые довели Петроград до восстания. Вот и будут приняты реформы, которые давно необходимо произвести. (Он возмущался некоторыми безобразиями на верхах.)

А Воронович так и не узнал ничего достоверно: весь день он прождал Всяких, а тот не вернулся.

Только утром 1-го Всяких уже сидел ждал в канцелярии с выразительным лицом. Ротмистр выпроводил вахмистра и писарей и остался с ним вдвоём. Всяких вытащил из-за обшлага шинели обтрёпанную газетку Совета рабочих депутатов и бюллетень петроградских журналистов с воззванием Родзянки о принятии власти думским Комитетом.

И понял Воронович, что революция — уже совершившийся факт. И почти не дослушивая рассказов Всяких — поспешил в управление пункта к Менгдену. По обязанности старшего адъютанта, он каждое утро подавал ему папку бумаг на подпись. Теперь поверх этих бумаг он вложил петроградские листки, внёс генералу — а сам ждал в адъютантской.

Через несколько минут распахнулась дверь генеральского кабинета, и старый Менгден, бледный от негодования, протянул измятые листки:

— Возьмите от меня эту гадость. И потрудитесь просить начальника гарнизона немедленно собрать у себя всех командиров отдельных частей.

Через полчаса в управлении все собрались, встревоженные. Командир автомобильной роты доложил, что у него и весь вчерашний день волнения. На вечерней перекличке солдаты отказались петь гимн, а сегодня в полдень намерены устроить митинг.

Исправник принёс целую пачку тех самых листков, за которыми так тайно посылался Всяких,— они уже сами притекли в Лугу.

На этот раз генерал вынужден был их прочитать. И все читали, молча шелестя. Воронович следил за графом. На его открытом породистом благородном лице видна была вся борьба сомнений.

— Господа... Я вижу, события в Петрограде приняли такой характер, что прибывающим с фронта войскам придётся выдержать с изменниками настоящий бой. Я не сомневаюсь, что фронт останется верным Его Величеству. И это всё решит. А наша задача здесь — только чтобы лужский гарнизон не оказался на стороне мятежного Петрограда. А главное ядро гарнизона — вверенные мне кавалерийские части, конечно присоединятся к верному фронту.— Он решил подавлять? Нет, свойственное ему миролюбие и великодушие, да долгая традиция брали верх: — А если какая-нибудь автомобильная рота желает присоединиться к мятежникам — мы ей мешать не будем! Если запасный артиллерийский дивизион захочет последовать её примеру — скатертью дорога! Они — не подкрепленье для бунтовщиков, потому что у них нет оружия. И ещё, я не сомневаюсь, к нам подойдут казаки с фронта. Итак, я принимаю решение: всячески воспрепятствовать кровопролитию между частями гарнизона. Но, разумеется, приму меры оградить вверенные мне части от касания с бунтовщиками.

Исправник пришёл в ужас: значит, город оставался в добычу мятежным

частям? Да ведь в Луге ни фабрик, ни заводов, за спокойствие населения он ручается, но надо же обуздать мятежные части!

— Так что ж, ваше превосходительство, вот митинг автомобилистов — не мешать?

— Не мешать! — величественно держал голову старый граф.

И взяв Вороновича, поехал делать смотр отправляемой на фронт команде. С обычным спокойствием он ласково здоровался с ней, та дружно отвечала на приветствия. Смотр прошёл великолепно, генерал остался очень доволен выправкой людей, состоянием лошадей, несколько раз благодарил ротмистра, вахмистра и солдат.

Кончился смотр — в управление кавалерийского пункта позвонили из полиции, что автомобилисты ранее своего назначенного митинга соединились с запасным дивизионом, выкинули красный флаг и идут в город „подымать кавалерию".

Генерал Менгден первый раз за все эти дни растерялся.

— Так что же нам делать? — спросил он у Вороновича, вскидываясь старыми глазами с краснотою.— Неужели стрелять по этим мерзавцам? Как не хочется проливать кровь.

Воронович был рад оказаться на месте у совета и спешил высказать его, чтоб доклонить генерала, куда он уже клонился:

— Ваше сиятельство! Что революция в Петрограде произошла — это уже несомненный факт. Во что она выльется на фронте — это пока неясно. Зачем вам спешить занимать резкую позицию? Ваше миролюбие вас не обманывает. Что могут сделать наши команды? Ещё неизвестно, согласятся ли все солдаты выступить против остального гарнизона. Но если и да — это будет бесцельное кровопролитие, за которое потом жестоко поплатятся наши же офицеры. Нет, вы правы: надо во что бы то ни стало избежать крови! Ну, пусть эти автомобилисты и артиллеристы придут к нам. Что они могут сделать? У них кроме шашек никакого оружия нет, придут, поговорят и уйдут к себе. Важно, чтоб наши солдаты знали, что их офицеры будут вместе с ними,— и тогда у нас внутри всё обойдется благополучно. Не выступайте! — пожалейте собственных офицеров! Я свою команду — берусь удержать от всякого выступления. Прикажите начальникам других команд...

Генерал сидел в изумлении и потерянности. Он дряхлел на глазах, на год в минуту:

— Но не могу же я, верой и правдой прослужив трём Государям, теперь изменить своему долгу и присяге?! Конечно, я против кровопролития. Но... Что же вы посоветуете мне делать? Я готов принести в жертву самого себя, пусть убьют меня, если только это поможет с честью выйти...

Воронович умолял его только не выступать перед возбуждённой толпой. Уговорил отправиться на квартиру и спокойно ждать.

А сам поспешил в свою команду.

Тем временем снаружи уже слышался глухой шум приближения толпы. Из окна Воронович увидел, как к крыльцу команды подскакал верховой артиллерист с красной повязкой на рукаве. Прокричал:

— Выходи все из казармы!

И поскакал к следующей команде.

Воронович прошёл в команду и нашёл солдат в полном смущении. Они не знали, что делать. Некоторые уже шли к выходным дверям, но заметили ротмистра, остановились.

Теперь-то он и должен был оказать своё водительство. Вот пришёл момент управлять массой! Он вышел на середину казармы и громко крикнул:

— Кто хочет — иди на улицу, остальные — собирайся ко мне!

Казарма загудела — и все окружили ротмистра.

Тогда он громко сообщил им, что в Петрограде произошла революция, и почитал из воззвания и листков.

Кричали нестройно „ура", спрашивали, что им делать.

Воронович предложил отправить по человеку от взвода, узнать, чего артиллеристы хотят.

А сам срочно вызвал к себе в канцелярию Всяких и совещался с ним. Тот

сообщил, что в автомобильной роте выбран „военный комитет", чтоб руководить восстанием гарнизона. Воронович немедленно послал Всяких установить с комитетом связь и начать переговоры.

Между тем артиллеристы с красным флагом дошли до управления кавалерийского пункта и звали кавалеристов „присоединиться к народу" и идти на манифестацию. Но кавалеристы мялись, а посланные от взводов вернулись недовольные:

— Болтают, а чего — не поймёшь.

Это даже превзошло ожидания Вороновича: кавалеристы не поддались! (Так они бы и бились?)

Но прошёл час (Всяких не возвращался, только за смертью посылать), и узнали, что артиллеристы обезоруживают соседнюю конную команду, вошли в их казарму.

Это уже через меру. Это не годилось. Надо было держаться. Воронович построил своих и выразил, что старым солдатам стыдно дать себя разоружить новобранцам.

Ответили, что сраму такого не допустят.

Усилили караул к оружейному складу, дежурный взвод построили в казарме у выхода, а строгий стройный высокий Воронович с дежурным унтером вышел на крыльцо.

Вот подходили и артиллеристы, человек сто и всё новобранцы, лет по 18-19, а ещё несколько местных гимназистов и двое-трое подозрительных штатских. В руках толпы виделось штук 40 винтовок, которые они без труда взяли в соседней команде.

Из толпы выступил вольноопределяющийся, взял под козырёк и предложил ротмистру немедленно сдать всё оружие, которое имеется в команде.

Ротмистр спросил, по чьему распоряжению? Вольноопределяющийся ответил, что у них есть сведения о неподчинении кавалеристов Государственной Думе, и поэтому решено их обезоружить.

Это и было решено в том „военном комитете", от которого ждал сведений и прояснений ротмистр, да Всяких всё не возвращался. Сложное положение, как ноги разъезжаются.

Между тем из толпы, опьянённой успехом в соседней команде, раздались крики:

— Да что с ним, золотопогонником, разговаривать! Дай ему в ухо и вали в казарму!

Тут на крыльцо высыпал дежурный взвод с винтовками.

Толпа поостыла.

Сверхсрочный унтер спросил вольноопределяющегося, зачем пожаловали. Тот повторил.

— Ах ты, щенок лопоухий! — закричал на него унтер.— Да ты с кем разговариваешь? Да ты ещё с голой задницей бегал, когда меня дяденькой величали! — и ты от меня винтовку требуешь? Да я тебе такую винтовку пропишу, ты до самого полигона катиться будешь! Ребята,— оборотился он к своим на крыльце,— а ну, покажите соплякам дорогу на полигон.

И человек двадцать кавалеристов, оставив винтовки у своих, со смехом и шутками врезались в толпу и быстро отобрали у сопляков всё оружие соседней команды.

Штатские убежали, а новобранцы и гимназисты растерянно смотрели на своего предводителя.

Но, конечно, это было не решение вопроса. Ротмистр подошёл к вольноопределяющемуся и стал его уговаривать.

— Поймите. Если бы мы захотели действовать против вас, то несколько сот хорошо вооружённых старослужащих легко справились бы со всем вашим беспушечным дивизионом.— Что была совершенная правда.— Но мы не хотим ненужного и бессмысленного кровопролития. Вот хорошо, что кончилось мирно. Отправляйтесь к себе в дивизион и объясните там это...

То есть „военному комитету". Хотел бы Воронович понять их замысел и цели. Петроградская революция всё равно уже победила, бессмысленно и не надо с ней спорить, а повторить её в Луге наиболее безболезненно.

А солдаты смаковали, как они сейчас будут срамить соседнюю команду, отдавшую оружие.

255

Хотя в соседней комнате уже собиралось топтание Совета рабочих депутатов — Исполнительный Комитет не намеревался к ним туда выходить, занятый настоящей работой. Неизбежно только было послать одного на председательствование. Самый подвижный и неуёмный Соколов рвался туда, сидеть здесь за столом ему казалось скучно. (И Гиммер тоже подбивал его уйти: он выведал утром, что тот неверный союзник, и в вопросе о власти — допускает участие в коалиционном правительстве, и в вопросе о войне — имеет такое уродливое представление, что Германия может насадить у нас опять царский строй, а поэтому именно теперь надо против неё воевать.) Итак, Соколов ушёл руководить толпой, а остальные рассаживались вкруг своего стола за занавеской, установив сколько можно прочный заслон на дверях, чтоб хоть сегодня-то не мешали. (Но и тех, кто задерживает, уже набралось тут полкомнаты.)

Не сразу, но спохватились: не нужно ли протокол писать? Большинство кричало — не нужно, опасаясь попасть в секретари. Но Капелинский склонялся, и его упросили.

А Чхеидзе начал председательствовать тут. Но все видели, что уже и на это он не годится, состарелся рано. Ему было только за пятьдесят, в Думе он держался на крайнем левом фланге молодцом, петушком, а в эти дни охрип и иссилился, выступая перед солдатами, валящими в Думу. Но больше всего он изнемог от наплыва счастья: вся Дума оказалась неправа, а одна кучка социал-демократической фракции права! — вот совершилась предсказанная им народная революция, и больше ничего он не хотел, не мечтал и не мог направить. От этого исполнения желаний, от этого полного прохвата счастьем он вконец обмяк. Не успевал замечать, кому дать слово, и не имел расположения да и могущества отнять у кого-нибудь, то блаженно кивал противоположным мнениям, то как будто засыпал. (А ещё ему подносили подписывать то пропуска, то какие-то другие клочки.)

Соседи его пытались руководить собранием за него, потом всё смешалось, не слушали и заику Скобелева, а Керенский конечно не присутствовал, он даже и для вида не вбегал, уже открыто презирая этот ИК,— и заседание пошло просто на перекриках и спорах, кто слово захватит.

Вообще неотложных вопросов и сегодня было на целый день заседаний, но наконец не избежать было вопроса о власти: кто же и как устроит революционную власть? И большевики своей дружной группой настаивали именно об этом говорить и даже именно: Исполнительному Комитету немедленно брать всероссийскую власть. А неугомонный Гиммер своим пронзительным голосом ещё прежде объявил, что, как ему стало известно, цензовые круги на полных парах подготовляют создание правительства,— он и не скрывал своего одобрения,— а Исполнительный Комитет, значит, вынужден разработать свою позицию и занять её.

Вынужден так вынужден. Стали занимать и высказываться.

Гиммер же поспешил и захватить общее внимание. Он так и открыл, что только этим вопросом постоянно и был занят и вот к каким выводам пришёл. Конечно, цель империалистической буржуазии, этих Гучковых и Милюковых, понятна: ликвидировать произвол только над самими собой и закрепить диктатуру капитала и ренты. Правда, для этого им придётся создать полусвободный, так называемый либеральный, политический режим и полновластный парламент. Но на этом подражании „великим демократиям Запада", а на самом деле диктатуре капитала, они хотели бы революцию остановить, кроме того ещё обуздав её для целей национального империализма и „верности доблестным союзникам".

Всякому мыслящему марксисту эта тактика насквозь и с железной необходимостью понятна.

Выступление Гиммера затягивалось вроде лекции, но так назойливо

режуще он говорил, и такая несомненно марксистская тут сквозила теория, что его слушали.

Однако есть другие мыслящие марксисты, скажем группы Потресова, не говоря уже о народниках-обывателях, которые отсюда утверждаются в мысли, что наша революция и обречена быть буржуазной. Так вот: это — логически необязательно и фактически неправильно! В условиях идущей войны и в страхе перед мнимой „национальной катастрофой" это означает не что иное, как планомерную и сознательную капитуляцию перед плутократией, означает политический, социалистический и социальный минимализм — тогда как эпоху империалистической войны должна увенчать непременно мировая социалистическая революция!

Правые тут меньшевики, окисты,— поняли ли, куда ведёт Гиммер? Вряд ли. Уж только не Гвоздев, сидел с потерянным выражением, как будто и не слышал. Но обманулись и левые. Единственный тут, но пламенный эсер Александрович, единственный, но неуклонный межрайонец Кротовский и Шляпников с верными большевиками всё больше сияли, что представитель *болота* Гиммер говорит им на руку, прекрасное выступление! Если их левое крыло объединится с болотом, то вот сейчас можно будет и провести постановление о взятии Советом депутатов всей революционной власти!

Однако болото вязко поворачивало дальше так, что демократические массы в настоящее время не имеют реальных сил для немедленного социалистического преобразования страны.

У Кротовского лицо было жирноухое, жирнощёкое, жирногубое, и он выражал им хохот: а кто же распоряжается всюду — на улицах? на вокзалах? в казармах? — разве думский комитет? Всюду командуют уполномоченные Совета или его добровольные сотрудники. Кто же ещё другой имеет сегодня авторитет в массах? К воззваниям Совета прислушиваются как к приказам.

(Так-то, может быть, и так — а вместе с тем и страшен же этот шаг: взять власть самим, никогда не подготовленным,— как? что? И в какой момент? Когда старая власть вовсе не уничтожена и может опять нагрянуть сюда. Конечно спокойней, если возьмёт Милюков, пусть они и голову ломают.)

Нет и нет! — настаивал Гиммер: в данный момент демократия не в состоянии достичь своих целей одними своими силами. Без цензовых элементов мы не справимся с техникой управления. А значит — надо использовать империалистическую буржуазию фактором в наших руках! Надо, по сути: при буржуазном правлении установить диктатуру демократических классов!

Это была захватывающая идея, которою Гиммер гордился, не все вожди мирового пролетариата могли такое придумать. И свои сверлящие пальцы он устанавливал попеременно в сторону собеседников. Вот в чём особенность обстановки и вот в чём должен быть ядовитый дар данайцев: предложить буржуазии власть в таких условиях, которые бы *обеспечили нам полную свободу борьбы против неё самой!!!* Ещё очень может быть, что они раскусят и не захотят взять власть в таких условиях. А пролетариат должен заставить их взять власть!

Ну что-то слишком мудро, просто смех! Кричал буйный Александрович, и подавал басок Шляпников: нам просто смешны ваши опасения, что буржуазия откажется от власти! да никакой класс ещё никогда добровольно от власти не отказывался! А что ж все эти годы толкало нашу буржуазию в оппозицию к царю, если не жажда власти?

Но хоть они так и наскакивали резво, но не было в них настоящей настойчивости. Какая-то неуверенность в них была. Шляпников, видно, очень непристроенно себя здесь чувствовал: выступал не бойко, часто отвлекался к своим приходящим, а то исчезал с заседания. Большевики, они ведь главное видели не в Совете, а что захватывали тем временем Выборгскую сторону, и кажется Нарвскую. А тут, на заседании, они только и знали голосовать дружно как один, типичное поведение для недостаточно мыслящих. По их примитивному представлению, восстание в Петрограде уже и было начало мировой социалистической революции, поэтому и речи не может быть ни о каком цензовом правительстве — но брать самим полноту власти и реализовать программу-максимум! (Да они и вели так, без всяких заседаний. Вон, уже

успели напечатать в „Известиях" свой манифест, опередили всех: отдельное социалистическое правительство! Напечатали свой манифест как выражение общесоветской программы, что за нахальство!)

Но тонко и сложно вёл Гиммер: суметь сохранить свои руки свободными, а власть направлять из-за её спины.

Капелинский зачарованно заслушивался говорящих, то и дело забывал писать протокол — да и кому зачем он нужен, что он такое против живого дела?

Шехтеру тоже была не по уму вся гиммеровская теоретическая высота и тактическая изощрённость, но главное он ухватывал и поддержал: вообще допустимо или недопустимо социалистам участвовать в буржуазном правительстве? — как следствие допустимо ли сейчас войти в коалицию с цензовыми кругами? Шехтер считал, что ни в коем случае не допустимо. Это было бы изменой революционной социал-демократии. Если социалисты войдут в коалицию, то у рабочих создадутся иллюзии, что грядёт социализм,— а потом наступит убийственное разочарование.

Так всё больше сходилось против оборонцев. Голоса тех звучали совсем робко: что война всенародная и нельзя уклоняться от ответственности за неё.

Так тем более они сплачивали против себя всех циммервальдистов здесь, а их было большинство: участие в коалиции есть измена Циммервальду!

Гиммер проницательно предвидел парадокс, что большевикам, межрайонцам, эсерам придётся голосовать за его программу, никуда не денутся. Даже не оценив её красот и глубин, а всё равно проголосуют.

Правда, тонко и умно один за другим защищали коалицию бундовцы Эрлих и Рафес. Они исходили из осторожности. Они и подводили известную теорию, что революция у нас — буржуазная и должно пройти свободное буржуазное развитие, это целая эпоха.

А других сильных защитников коалиции — Пешехонова и меньшевика Богданова, на заседании не было.

Тут неожиданно для всех раскричался до сих пор всем довольный и счастливый Чхеидзе. Потому ли, что дольше всех ему уже досталось заседать с этой цензовой буржуазией в Думе — но он стал сердито и даже неразборчиво кричать, что он решительно не допустит никакой коалиции! поломает её, а не только, что будет голосовать против!

Столько прожив на краю парламентской оппозиции, он привык бояться малейшей причастности к власти — и для себя, и для друзей. Он считал: лучше будем снаружи подталкивать цензовую власть.

И опустил утомлённую голову на грудь.

И Скобелев, конечно, с ним заодно.

Некоторые колебались, меняли мнения.

Сообщник Гиммера Базаров, никого не слушая, сидел тут же за столом и писал. (Не знал Гиммер измены: статью в завтрашние „Известия" в пользу коалиции!)

Интересно, что никто из двадцати присутствующих не потребовал помешать созданию буржуазного правительства, хотя знали, что каждый час оно движется к формированию. В этом-то и была неуклонность хода событий, предвиденная Гиммером.

Тут выступил Нахамкис. Он по-разному умел выступать, он умел и громить, он и очень, он очень умел быть осторожным. (Дошёл же и до него слух, что генерал Иванов ведёт на Петроград 26 эшелонов войск подавления, что с Карельского перешейка идёт 5 полков. А какие силы защищали Таврический — все видели: никакие. В таком положении брать власть — значило просто совать голову в петлю.) Нахамкис теперь аргументировал, что революционная демократия в настоящее время никак не сможет нести обузы власти. Да и нет сейчас в её среде крупных имён, которые могли бы создать авторитетное правительство. Да и совершенно они незнакомы с техникой государственного управления. Пусть цензовые думцы возьмут власть и довершат крушение царизма. Надо быть вполне довольным, если революция восторжествует пока в форме умеренно-буржуазной,— а затем мы будем её подталкивать и раскачивать. Так что пока надо приветствовать решение думского

комитета взять на себя ответственную роль. Он лучше всего и справится с царистской контрреволюцией.

Итак, проступало три возможных решения. Крайних левых — цельно-социалистическое правительство. Оборонцев и бундовцев — разделить с буржуазией власть, войти в коалицию. И центра, называйте его болотом, но тут вся гениальность: не брать власти себе, но и не делить её с буржуазией, а остаться со свободными руками — и толкать!

И уж кажется шло к голосованию — но не добрались. Да мудрено было бы добраться, удивительно ещё, что столько времени могли поговорить на одну тему. В комнату № 13 то и дело рвались, совали бумаги добровольным секретарям, часовые и секретари еле сдерживали напор ломящихся по „чрезвычайным и неотложным делам". Сообщали об эксцессах, о стрельбе, о погромах, те жаловались на атакующих, те на обороняющихся. Из Кронштадта принесли слух, что убили двух адмиралов, избивают каких-то офицеров, как будто тоже надо кого-то послать. Одни члены ИК выскакивали к вызывающим, другие возвращались, третьи ходили поднаправить пленум Совета в соседней комнате. И бумаги приходили довольно важные, например от профессора Юревича, назначенного новым общественным градоначальником, вместо Балка: он просил себе помощников от Совета. Какой нонсенс — никаких *назначенных* градоначальников уже никогда не будет впредь! Но сейчас, временно, что ж, он совершит полезную работу по разрушению старого полицейского гнезда. (И Гиммер отправил туда двух своих друзей.)

А тут за занавеской раздался значительный шум, даже больше самого заседания,— и решительно отклоняя занавеску, перед заседанием И-Ка выставился какой-то полковник в сопровождении юного гардемарина с боевым видом.

Ещё недавно многие тут, нелегальные и полулегальные, шарахнулись бы в испуге от такого полковничьего у них появления. Ещё недавно и полковник мог только крикнуть им разойтись или напустить на них кавалерию. Но сейчас он вытянулся, как перед заседанием генералов, и отрапортовал.

Что Исполнительный Комитет Совета рабочих депутатов обладает полнотою власти, только ему все повинуются, и он, полковник, прислан обратиться за содействием.

— Что случилось? Почему вы врываетесь?

Многие стояли, заседание было нарушено, и вместо всемогущества члены ИК ощутили скорей беспомощность.

256

Но позвольте, что за военная наглость! Чего хочет этот полковник от Исполнительного Комитета и как смеет он нарушать заседание?!

Всё смешалось, говорили многие и не могли сразу понять.

Полковник тоже объяснялся не по-военному, путанно, с длинными добавочными фразами — или дипломатничал? Из его вежливых выражений не сразу поняли суть: председатель Государственной Думы Родзянко намерен выехать на свидание с царём, и заказывал себе для этого экстренный поезд на Виндавском вокзале, поезд уже был готов, но сейчас поступили сведения, что железнодорожники отказываются его отправить. Они говорят, что послушаются только Совета депутатов. Так вот, покорнейшая просьба от думского Комитета к Совету: разрешить отправку поезда.

Да что такое, почему ИК должен... (Ага, значит — наша власть!) Да почему прерывают без спроса? Да какие такие железнодорожники, мы ничего об этом не слышали!

Но как уже всё покатилось кубарем, так теперь и этот подчинённый гардемарин, вместо того чтобы держаться немым адъютантом,— выступил с заявлением, голосом гневно-дрожащим, с глазами гневными ко всему Исполнительному Комитету:

— Позволю себе спросить от имени моряков и офицеров: какое ваше отношение к войне и к защите родины? Чтобы признать ваш авторитет, мы должны знать... Если в такую минуту Председателя Государственной...

Маль-чишка! Ещё и этот! Он хочет знать! Тот самый вопрос, который нарочно все обходят третий день!

— Нет, это слишком! Извольте удалиться, господа, мы о судим без вас!

— А какие железнодорожники?..

Скобелев выразил, что — знает, но когда эти уйдут.

Выпроводили: ответ будет.

Объяснил Скобелев: есть один надёжный человек, счетовод службы сборов Северо-Западных железных дорог Рулевский. В движении революции он бросил своё счетоводство, а присоединился к штабу Бубликова в министерстве путей. И оттуда время от времени сообщает, что там делается, проверяет их. Он и позвонил, что готовится поездка Родзянки для сговора с царём, уже не с первого вокзала. Скобелев дал знать на Виндавский — остановить уже готовый поезд, но не успел объявить И-Ка.

Да что тут успеешь?.. (С бумагами и делами тем временем продолжали добиваться — разрешения, удостоверения, направления...)

Теперь все стояли на ногах, как будто надо было бежать на пожар, так их перебудоражило.

А в самом деле, зачем Родзянко едет? Скажите, Государственная Дума! Столыпинская! Хочет зацепиться за революцию! Какая у него может быть цель? Да разве мы можем доверять ему? Да и всему думскому Комитету? Ведь они ещё никак с революцией не связаны, возьмут да и столкуются с царём. За наш счёт! А тогда они и всю армию повернут против революции? Да это губительно! Тут не может быть сомнений! Никакого не давать разрешения! Прав Скобелев, что задержал! Сам царь не может справиться с Петроградом, так Дума ему поможет! (А вот так доверять им власть? Значит — нельзя давать им власть?) От этой поездки может зависеть вся судьба революции! Ни в коем случае не разрешать! Благодарить железнодорожников за правильное понимание долга перед революцией!

Кажется, других мнений и не прозвучало. Нет, было такое: пусть Чхеидзе сопровождает Родзянку для контроля? Большинством решили: всё равно о т к а з а т ь!

Садились. Сели.

Но этот эпизод всколыхнул, что напрасно они все пренебрегали вопросом о судьбе династии,— им казалось, это отдалённо и почти уже сметено. А — нет! Очевидно, Совет должен выразить ясным актом, что династия Романовых не может оставаться!

Но тут и ещё вопрос: а — Керенский? Ведь он — там, в думском Комитете, ведь вот он сюда и не является. Так он — знает о подготовке этой предательской поездки? Почему не помешал? Почему — нам не сообщил? Вызвать сюда Керенского!

Пригласить.

Да надо же возвращаться к вопросу о власти!

А тем временем накопилась вермишель мелких дел — одно, другое, третье...

Даже заседание рассыпается на единицы: каждый куда-то идёт, снуёт. (Да надо же когда-то поесть и попить. Товарищи! Мы сейчас организуем что-нибудь здесь!)

Товарищи! Мы же должны переходить к голосованию по вопросу власти. Товарищи! — (это Гиммер) — голосование тоже ещё не всё. Ещё мы должны обсудить и выработать у с л о в и я, на которых мы согласны допустить буржуазию ко временной власти, в коалиции или без коалиции! Ведь мы же у с л о в н о её допускаем!..

А тут опять бегут сообщают: где-то офицеров бьют, терзают. И в Кронштадте... (Хотя это — историческая неизбежность.) Надо что-то такое опубликовать, чтобы решительно и бесповоротно заставить офицерскую массу примкнуть к революции! (Нахамкис стал писать.)

А тут — вошёл Керенский.

Не вошёл — ворвался, бледный, полубезумный, истрёпанный, галстук набок, а короткий ёжик просто не сбивается, иначе бы... На лице его было отчаяние, он знал что-то ужасное?..

(Подходили войска Иванова? Мы погибли все?..)

— Что вы делаете! Как вы можете! — восклицал Керенский, не добираясь до более внятных фраз. Но и был же измучен как! — Вы отсюда, ничего не зная, мешаете Родзянке ехать. Да неужели вы не понимаете, что я — там, и если было бы нужно, я остановил бы сам? — Он шатался, ему пододвинули стул. Он рухнул, привалился грудью косо к столу и голова опустилась.

Бросились ему помочь. Кто-то придерживал голову, кто-то рассвободил галстук и расстегнул воротник. Принесли воду и опрыскивали его.

Придя в себя — он нашёл силы говорить. Трагическим шёпотом, но всем однако слышно:

— Да неужели я нахожусь в том крыле, во враждебном окружении, для чего-нибудь другого, а не для защиты интересов демократии? Если появится опасность для нас — я первый её увижу! Я — первый её обезврежу! Вы — можете на меня положиться! Я — пронзительно помню свой долг перед революцией, как должен помнить каждый из нас!.. Но при таких условиях недоверие, которое вы выражаете к думскому Комитету, есть недоверие лично ко мне! Это недоверие неуместно! Оно — опасно! Оно — преступно!.. Очень может быть, что поедет совсем и не Родзянко. Дело не в Родзянке, а дело в поездке. Да он, может быть, получит отречение! Вы ничего не понимаете, а — мешаете!

Его слушали так, как не слушали друг друга целый день.

От-ре-чение?!.. Ну, так если... Ну, другое дело...

Керенский, уже голосом отвердевшим, потребовал: разрешить поездку Родзянки, для окончательного утверждения новой власти!

И появились голоса в его поддержку — сперва сторонников коалиции, потом и других.

И потекли новые прения, совсем не короткие, и дело шло уже как будто не о поезде, а о взаимоотношении двух крыльев дворца? Да, так оно становилось! А это же — и был вопрос о власти, который они покинули, никак не могли кончить.

И произошло нелепое голосование, в котором Гиммер с двумя наличными большевиками (остальные разбежались) только и был против поездки к царю, остальной ИК — за. Правда, с поправкой, что Чхеидзе или кто другой должен Родзянку сопровождать.

257

В тоске проснулся Кутепов, в тоске провёл утро у сестёр. Никакого отпуска у него быть не могло, никакой частной жизни, если творилось такое.

Но, полный сил и военных соображений, он и вмешаться в события не мог без подчинённой ему части, без своего несравненного Преображенского полка, сидящего по окопам далеко в Галиции.

Сделать ничего не мог — но и в одиночестве не в силах был томиться. И хотя сёстры ещё в обмороке были от опасности, пережитой им на Литейном, и хотя рассказывали наперебой, как расправляются с офицерами на улицах,— почувствовал Кутепов унижение прятаться дома, невозможность так сидеть. Тогда надо бросать отпуск и на фронт уезжать.

Да уже не мог он так покинуть и этот неудалый запасный батальон.

Телефон снова действовал. Позвонил в офицерское собрание — Макшеев обрадовался и очень звал, но автомобиля прислать не может, их почти не осталось в батальоне, и офицеры ими не распоряжаются, такое странное положение.

Кутепов сказал:

— Хорошо, я приду пешком.

— Но как же вы придёте?

Да вряд ли это было так опасно, как рисуется напуганным людям. Вряд ли опаснее, чем идти в атаку под градом пуль или пешему встречать атаку кавалериста: здесь пули летают почти случайно, всё в воздух, а встречные пеши, и шашкой владеют наверняка хуже тебя.

Ему предстояло пересечь Большой проспект, пройти по Кадетской линии,

потом по Университетской набережной, по Дворцовому мосту, мимо Зимнего — и всё. Держа пистолет без кобуры, с доведенным патроном в кармане шинели, а шашку — отчётливо наверху, на левом боку, Кутепов шёл в большом напряжении, готовый к бою каждую секунду и с каждым встречным. Не смотрел особо вызывающе каждому в лицо, но и не уводил глаз в землю, а как бы прослеживал на уровне глаз вперёд от себя прямолинейную узкую себе трассу, видя дальше вперёд, чем лицо встречного.

Но при этом не мог он не замечать омерзительных красных лоскутов на всех, какое-то необычное балаганное гуляние, овладевшее всеми, как безумие. И на большинстве лиц клеились или плавали глупые улыбки. Радовалась толпа, сама не зная чему — крушению порядка, началу анархии, где не сдобровать никому.

Какие-то ещё прокламации были расклеены по стенам, но Кутепов боковым зрением не охватывал даже их заголовка крупного, а уж тем более не подходил почитать.

Много было отдельных бродячих солдат, вне каких-нибудь команд,— и некоторые, проникнувшись грозно-утомлённым видом полковника, уверенностью его хода, отдавали ему честь, довольно чётко. Тогда и тотчас полковник им отвечал. А много было совсем распущенных, кучками с оружием, и никаких приветствий не отдававших,— таких Кутепов миновал как бы не замечая, а на самом деле сильно напрягшись. В любой такой кучке могли быть его знакомцы по Литейному, сторожившие дом, искавшие его крови. Шансов подвергнуться нападению у него было больше, чем у всякого другого офицера, проходящего по улице,— очень немного их было, почти не было, всё больше вертлявые прапорщики, уже примкнувшие к революции, с теми же красными бантиками и столпленные со студентами.

Особенно густо и студентов и солдат стянулось как раз перед Университетом, толпа занимала половину набережной, в каких-то кучках произносились какие-то речи, а ещё из обрывков долетающего понял Кутепов, что здесь их кормят всех, потому и стянулись.

Но как будто лучами посланного вперёд напряжения, беззвучным волевым приказом „расступись!", полковник открывал себе дорогу. Он проходил как снаряд через облако дыма — и ни одна близкая рука даже сзади в спину не посягнула на него. Смотрели на высокого короткобородого железного полковника — и отодвигались, пропускали, не крикнули оскорбления, не придрались, что он без красного.

Конечно, это зависело от случайностей встреч, можно было попасть на столкновение и просто на смерть. Но вот — он прошёл.

Прежде него по Дворцовому мосту и мимо Биржи прогрохотала пара броневиков. И успел подумать: броневики, уже два года позиционной войны как снятые с дела, негодные без дорог и по изрытой местности,— вот где теперь пригодились, по городским улицам, возить солдат революции и насмерть пугать безоружных жителей.

На Дворцовом мосту движение было людное и свободное, никто не преграждал. Тут впервые заметил, какая сегодня погода. Никакая, утренний туманец рассеялся, но в просторе над снежной Невою, уже за Троицким, ощущалась пелена. Солнце проглядывало, а не выступало полностью.

Был бы мороз градусов 20 — никаких бы этих толп не было.

Может, и революции бы не было.

Ото всей и всеобщей распущенности как будто чем-то грязным вымазали душу.

На виду у строгого молчаливого полукруглого Главного Штаба было особенно отвратительно ощущать, во что превратилась столица.

В Преображенское собрание Кутепов пришёл как раз к завтраку. Все офицеры обрадовались ему. Новости их были такие. Сегодня утром на трёх грузовых автомобилях приехала без офицеров, с унтером большая команда 3-й роты преображенцев, с Кирочной, бунтарей,— и дежурному по 1-й роте предъявили распоряжение Военной комиссии Государственной Думы на осмотр помещений и отобрание пулемётов. Таких пулемётов в наличии было всего два учебных, их и забрали. Но кроме ротных помещений вооружённые

бунтари оскорбительно прошли также по офицерскому собранию, делая вид или на самом деле ища пулемёты, или что другое, или только для угрозы.

— И вы их не выгнали?!

Не посмели. Можно допустить неосторожный шаг и всё погубить.

А ведь были тут настоящие боевые офицеры, вот и Борис Скрипицын с георгиевским оружием, которого хорошо помнил Кутепов по сентябрьскому бою у Бубнова.

И они уверены были, что поступали правильно! Это вот чем подтверждалось: бунтари уехали без конфликта, а вослед привезли доверительное распоряжение Военной комиссии — выслать им в Таврический батальонную канцелярию на помощь. И выслать караулы на охрану близлежащих дворцов. Макшеев оформил приказ по батальону — и уже выступили: капитан Кульнев с полуротой — на охрану Зимнего, барон Розен с четвертью роты — во дворец великой княгини Марии Павловны, Гольтгоер с четвертью — во дворец Михаила Николаевича, Рауш-фон-Траубенберг с четвертью — во дворец принца Ольденбургского. В таком направлении караулов преображенцы видели благоразумие новых властей и, скрытое пока, начало успокоения. Да и солдат занять. Ещё послали наряды на телефонную станцию, в министерство иностранных дел, выслали дозоры по Миллионной, по Мойке, по набережным в одну сторону до Летнего сада, в другую до Мариинского дворца и Сенатской площади.

— И что эти дозоры должны делать?

— Военная комиссия вменила в обязанность разгонять сборища.

— Это хорошо бы. Но никого они не разгонят. Не такие силы нужны и не такая решимость. Да этими сборищами весь Петроград кипит. И первое такое сборище — Таврический дворец, с него начинать.

Офицеры смотрели на полковника почтительно — и с недоверием.

Они для себя вот что усматривали хорошее: что вчерашнею поездкой офицеров в Таврический и этим распоряжением Военной комиссии преображенские офицеры становились как бы на законную службу — и были освобождены от горькой необходимости тащиться в Дом Армии и Флота на офицерский митинг и там добывать себе охранительное разрешение.

А что в Доме Армии-Флота? — Кутепов ничего не знал.

Показали ему обращение.

— Боже! Боже! — только мог произнести Кутепов. Он представил себе это массовое офицерское унижение.

Кстати, наискосок от дома Мусина-Пушкина. В самом том месте Литейного, где позавчера он вёл безуспешное сдерживание,— и тогда никто из этих сотен офицеров не пришёл к нему на помощь, а то бы всё и кончилось иначе.

Как же быстро и без боя сломили всё столичное офицерство!

И что же было делать?

А вот что. Капитаны Скрипицын и Холодовский имели идею и приступили к полковнику. В Военную комиссию теперь назначены офицеры генерального штаба — и среди них полковник князь Туманов, который когда-то командовал для ценза 16-й ротой Преображенского полка,— и, кажется, с Александром Павловичем у него сохранялись хорошие отношения?

— Ну, как будто.

Так вот и идея: полковнику поехать сейчас прямо к нему и объясниться, что дальше так идти не может. Что надо немедленно и энергично спасать положение.

— Вздор,— сказал Кутепов.— Во-первых, мы не в таких исключительных отношениях, чтоб он меня особенно слушал. Во-вторых, он и сам, они сами там отлично всё видят. В-третьих, каждый офицер императорской армии должен иметь ответственность сообразить это всё самостоятельно. Но походил, походил — опять получалось унизительное самозаключение, самоустранение, даже и тут, в собрании. А тем временем всё вокруг только гибнет.

— А что, в самом деле? — сказал Кутепов Холодовскому.

— Давайте попытаем счастья. Чем чёрт не шутит.

Автомобиль для их поездки был. С маленьким красным флажком. А иначе к дворцу не подъедешь.

258

Что значит — не сделать дела сразу. Не поехал решительно ещё до рассвета нагонять в Бологое — а потом уже поездка никак не налаживалась.

Милюков — сразу насторожился и сказал, что надо хорошо подумать. И помешал собрать Комитет для решения: подумать, дескать, надо каждому и ещё поконсультироваться. Есть и плюсы, есть и минусы, очень демонстративный шаг.

Да, конечно, шаг был исключительно важный. Но и — по характеру Председателя. И в такой момент только таким шагом и можно что-то спасти.

Но и ответа от Государя надо было дождаться. Всё же прилично было получить согласие, а не рваться самому.

Шли телефонные переговоры с Бубликовым в министерстве путей. Не сразу добились от них, что они, оказывается, совершили дерзкий мятежный шаг: приказали задержать поезда Государя, не доезжая Старой Руссы! Да сам Председатель никогда б не решился на такое.

Не надо! Неблагородно. Встретимся и так. Родзянко велел отменить всякую задержку царского поезда. Но ещё и не был уверен, что эти плуты выполнят.

А экстренный поезд Председателя на Николаевском вокзале давно уже был готов. Потом — задержан чуть ли не комендантом вокзала! Потом на вокзал поехали от Бубликова, и поезд опять стал готов. И даже открыта была ему дорога, задержаны пассажирские поезда, и Михаил Владимирович уже ехал домой переодеваться да на вокзал, когда задумался: что ж теперь гнать через Бологое вослед ушедшему царскому поезду? — короче встретить его по Виндавской линии на Дне. И велел отменить себе поезд на Николаевском вокзале, готовить на Виндавском.

А между тем он сам жил и двигался под смертельной угрозой: ведь его самого солдаты угрожали убить! И тут, во дворце, в толчее или прямо касаясь, и все с винтовками,— ничего и не стоило убить! Но презирал бы себя старый кавалергард, если бы испугался этих подлых угроз.

Впрочем, спешно издал Энгельгардт успокоительный приказ о неразоружении солдат. Хотя к какому бардаку это могло повести — даже и не представить.

А тем временем солдаты — не угрожающие, но приветствующие,— всё текли и текли в Таврический — строями, частями, потоками, кто только до крыльца, а кто и впираясь в Екатерининский. А придя — все непременно хотели слышать к себе приветственную речь.

Однако желающих идти к толпе и кричать до хрипа — среди думцев и Временного Комитета становилось всё меньше, да многие думцы вообще скрывались по квартирам, не появлялись в Таврическом. От этого же тёмного разбойничьего Совета депутатов желающие выступать перед делегациями всё время были — и Чхеидзе со Скобелевым, и какие-то с ними неизвестные подвижные евреи,— и чего они могли нанести, наговорить? Чтоб не допустить окончательного разложения гарнизона — ничего не оставалось Председателю, как влечь и влечь себя на эти выступления, чуть не один за всех, пока ещё не уезжал.

Опять один за всех! — как и много раз в своей жизни. Как представлял Думу перед Государем в месяцы грозного их противостояния и непонимания. Как сегодня ночью остановил движенье войск на Петроград. Как держал на себе весь Временный Комитет. И в этих встречных речах — опять! Удел богатырски наделённых натур, Родзянко и не жаловался. Кому много дано, с того много и спросится.

И посылал Бог голоса! А вид был величественный, грозно-достойный,— и если были в толпе эти распущенные убийцы, то ни одна угроза не раздалась вслух. Целые тысячи солдат выволакивал Родзянко своим трубным голосом — к сознанию долга, к сознанию опасности, в которой состоит отечество, и что надо победить лютого врага Германию. И хотя уже десять и двадцать раз он говорил за эти дни одно и то же, вряд ли меняя даже и слова,— такая пламенела в нём любовь к России, что хватит горячности и на восьмидесятый раз.

Даже понял он теперь, что зал думских заседаний бывал для него мал и тесен — а вот такая нужна была аудитория его запорожскому басу, его необъятной груди!

Конечно, хотелось бы высказаться похлеще, высечь этих подстрекателей, мерзавцев из Совета депутатов, свивших в Думе своё хищное гнездо, никаких не патриотов, а прощалыг, если не разбойников,— вот уже захватывали они и Таврический, и весь Петроград. Да, весь Петроград! Хотел Михаил Владимирович ехать домой переодеваться в дорогу — доложили ему что-то невероятное: что на Виндавском вокзале какие-то железнодорожники отказываются готовить ему поезд! — а требуют на то приказа от Совета депутатов! — вот как!

Значит, Председатель, взявший власть во всей стране, не был хозяином единственного паровоза и вагона? Чудовищно! Председатель обладал всей полнотой власти! — а не мог распорядиться таким пустяком? Поездку, от которой зависела судьба России, решали какие-то беглые *депутаты!* И к этим самозваным наглецам приходилось кого-то посылать, унижаться до переговоров! Унижение было оскорбительней всего гордой душе Родзянко.

Но — хватало ему одумки не произнести роковых слов. Везде звучало „свобода" в смысле „никому не подчиняйся" — и Родзянко молча обходил эту их свободу, но призывал подчиниться защите родины. Кричал, что не дадим Матушку-Русь на растерзание проклятому немцу,— и кричали ему громовое „ура".

А столица как охмелела: шли во дворец уже не только военные делегации, но и какие-то гимназисты, и какие-то служащие,— и перед ними тоже должен был кто-то выступать? Но уже Председателю было обидно. Надо было ему и за своим столом посидеть, разобраться, подумать, что важное не терпит ни часа, ни минуты. (Однако и в кабинете уже такое набилось постороннее, что куда бы и в малую комнату уйти?)

А тут ещё новинка: не только весь Петроград знал и превозносил Родзянку — но вся страна, из провинциальных городов, из разных дальних мест железнодорожные служащие и чиновники, городские думы, земские собрания, общественные организации слали на имя Председателя поздравления и заверения о поддержке Думского Комитета и лично его самого, что он стал во главе народного движения.

Читать эти телеграммы — была музыка. И до слёз.

Однако кроме приятных несли и срочные, мало приятные. От адмирала Непенина — две. Сперва: что он считает намерения Комитета достойными и правильными. Это отлично. Но вскоре вослед: что он просит помочь установить порядок в Кронштадте, где убиты адмиралы Вирен, Бутаков и офицеры. Эти кронштадтские убийства пришлись прямо ножом по нервам: они кровавыми пятнами омрачили светлые дни, и что-то надо было делать — а что? а кого туда пошлёшь?.. Ведь некого...

Затем — от генерала Рузского. С явной претензией. По привычному праву наблюдать от Северного фронта за Петроградом, высочайше отобранному у него только этой зимой, или по праву помощника-сообщника в недавней телеграмме, Рузский теперь спрашивал, каков порядок в столице. И может ли Председатель Думского Комитета обуздать стрельбу, солдатский бродяжий элемент, и дать гарантии, что не будет перерыва в железнодорожных сообщениях и подвозе припасов Северному фронту.

Сам задаваемый вопрос уже предполагал сомнение.

А что мог отвечать Родзянко о порядке в столице? Сказать, что нет его — было бы унизительным признанием в собственном бессилии. Сказать, что он есть — было бы ложью.

Родзянко телеграфировал Рузскому, что все меры по охранению порядка в столице приняты и спокойствие, хотя с большим трудом, но восстанавливается. А о железнодорожном сообщении что он мог сказать, вот сам лишённый вагона? Как Бог даст...

Всё же в этом обмене телеграммами было то положительное, что укреплялся прямой контакт с ближайшим Главнокомандующим (часть войск которого ещё шла на Петроград?). Это могло очень пригодиться в ближайшие часы.

И — очень неприятная телеграмма от Алексеева, неожиданная после хорошего ночного разговора, просто телеграмма-выговор, не скрывающая выговорный тон, как бы старшего к младшему. Алексеев упрекал Родзянко за телеграммы к нему и к Главнокомандующим: что они нарушают азбучные условия военного управления.

Да пожалуй что и так, Родзянко согласен. Но — исключительные же обстоятельства! Но: что изменилось от ночи? Почему он не упрекал ночью? Вдруг как будто утратилось всё взаимопонимание, достигнутое в ночном разговоре. Какие-то там затемнения, изменения происходили в Ставке вдали — отсюда невозможно было их понять и трудно поправить.

А ещё упрекал Алексеев за распоряжения по телеграфным линиям и железным дорогам, перерыв связи Ставки с Царским Селом, попытку не пропустить литерные поезда на станцию Дно,— всё то, что набезобразил Бубликов сам, не спросясь, а вот дошло до Ставки. Это, конечно, было безобразие, но неполезно было бы объяснять Алексееву, подрывая самого себя, что Родзянко и не успевал, и власти не имел всем управить.

А чего совсем не было в телеграмме — это о войсках, посланных на Петроград: так идут они? не идут? задержаны?

Хотя: если Алексеев об этом молчал — то это и неплохо. Во всяком случае — не угрожал.

Расстроился Михаил Владимирович от этой телеграммы.

Но тут пришли и с хорошим сообщением: что Совет рабочих депутатов снял свои возражения против поездки. Только с условием, чтобы ехал Чхеидзе.

Э-э-это всё портило: ну куда годится Чхеидзе? ну зачем Чхеидзе?

Однако: можно ехать! Так для равновесия взять с собой ещё Шидловского.

От Государя с пути тоже пришло согласие на встречу.

Прекрасно! Можно ехать!

Теперь — ещё одну телеграмму, пусть пошлют по Виндавской линии:

Его Императорскому Величеству. Сейчас экстренным поездом выезжаю на станцию Дно для доклада вам, Государь, о положении дел и необходимых мерах для спасения России. Убедительно прошу дождаться моего приезда, ибо дорога каждая минута. Родзянко.

Дорога каждая минута, и больше никаких выступлений перед делегациями. Никаких больше телеграмм, бумаг, вопросов — Михаил Владимирович уезжает! Ото всей России, ото всего народа он должен привезти заметавшемуся императору простое ясное решение: ответственное министерство. И во главе его — Родзянко. Ну, и какие-то поправки к конституции.

Хотя... Хотя размах событий таков, что стали тут тихо поговаривать уже и о передаче престола Алексею.

А что ж? Может быть, может быть уже и неизбежно.

Хотя пришёл Чхеидзе, и сказал, что не допустит никакой передачи Алексею — только отречение.

Ну вот, связались. То есть покинуть престол на произвол судьбы? Такого я не допущу!

Здесь, в немногих оставшихся комнатах думского крыла свои же члены Комитета явно избегали глаз Председателя и шушукались. Шушукаться они могли только против него — чтобы сделать премьером Георгия Львова. Ну так и Председатель не будет возиться с этими интриганами, и даже совещаться с ними. А, в своём духе, сделает широкий шаг: вот, съездит на свидание с Государем и получит бесповоротное утверждение премьер-министром.

Отданы последние распоряжения, ключ от стола секретарю,— но тут-то и набрались: Милюков, Некрасов, Коновалов, Владимир Львов,— как будто Председатель созвал их на совещание.

— Позвольте, Михаил Владимирович! — говорит Милюков, натопорщив усы и напрягши безжалостные глаза.— Мы вот, члены Комитета, посоветовавшись, находим, что ваша поездка сейчас несвоевременна и двусмысленна.

И упёрся загораживающим, замораживающим взглядом.

И Некрасов выставился в свою алчную волковатость, не притворяясь, как всегда, добродушным.

Львов сморщился у переносицы, как изрытый. Грозные чёрные брови и усы такие же.

Пухлоносый толстогубый Коновалов в золотом пенсне как всегда мало что выражал, но место занимал по обхвату.

Как будто ты разбежался — и кинули тебе палку в ноги.

— Как? Почему? Кто находите? — несвязно спрашивал Родзянко.

— Вот мы,— отпечатал Некрасов.

(Мальчишка! Допустили его в 35 лет товарищем Председателя Думы!)

— А... что — находите?

— Мы находим, Михаил Владимирыч,— продиктовал Милюков,— что ваша поездка идейно не подготовлена. Не только не обсуждена цель, задача и пределы ваших полномочий, но сомнительна сама необходимость такой поездки.

Свои-и?? Не пускают??

Продолжение следует

Олег
ШЕСТИНСКИЙ

На руинах церквей

Я задумываюсь: зачем их разбили?
Ведь, наверное, не кровожадными были
активисты «Союза безбожников»:
два буфетчика, физрук местной школы,
парикмахер, комсорг, белозубо-веселый,
лоботряс из артели сапожников.

Нет, конечно! Но красота досаждала,
ибо молча и выстраданно осуждала
их напряг на пожар мировой.
Повыкалывали глаза Иисусу,
и играл гармонист лишь по ихнему вкусу,—
жахнул в церкви мотив боевой.

Тех безбожников ныне почти уже нету:
кто-то сгинул, попав в лагеря по навету,
кто-то пал на войне под огнем.
И сегодня филиппикой я не прицелюсь
в старика, что снимает железную челюсть
и считает гроши перед сном.

Но какая тоска у разбитого храма!
Но какая непостижимая драма
ослепленных и жалких людей!
Хуже казни,— когда наступает прозренье
и к себе самому перед смертью презренье,
а ни Бога в душе, ни идей.

✦ ✦ ✦

Когда в селеньях восстановят храмы,
полы настелют, вставят в окна рамы,
покрасят синей краской купола,—
кто в них войдет?
Печальные старушки,
две-три донельзя горьких побирушки
и любопытствующая толпа.

Толпа раскупит крестики и свечи,
прервет мирские, мелочные речи
и пересуды ближних, но она
все ж будет далека от литургии,
как далека была от нужд России
интернациональная страна.

Не так ли в князь-Владимира княженье
язычник посещал богослуженье,
душою помня капище свое,
где идолы из киевского бука
сулили исцеленье от недуга,
победы в битвах, сладкое житье?

Тогда лишь сможет церковь обновиться,
когда в ней отрок и отроковица
с добром в душе и верою святой
замрут, вдыхая ароматный ладан
и каждого сочтут во храме братом,
и каждую сочтут своей сестрой.



Ни крещений, ни свадеб церковных.
В загсах штамп получай за трояк.
Превратились мы в граждан условных
без духовных напутствий и благ.

Вот и нам-то с тобою обоим
верно, вспомнить придется с трудом
не священника пред аналоем,—
мужика за казенным столом.

И среди сумасшедших развалин,
где кресты ни за что сожжены,
оттого я душою печален,
что мы дети ущербной страны.

Все изъяли — и думы, и книги,
даже опыт истории той,
где Столыпин, ломая интриги,
Русь мечтал развести с нищетой.

Если ж людям, судьбою забитым,
от озлобленности отстранясь,
выйти к предначертаньям забытым,
к милосердию выйти на связь,—

облегчения вздох над скорбящей,
православной землей прорастет
от монарха, зарытого в чаще,
до мальчонки из чоновских рот.



Господи! Ну, вразуми Софию!
Наяву глумленье,— не во сне,
Принялись оплевывать Россию
в самой близкой для нее стране.

Господи! Опять нас горбит ноша!
Вон — русоголовый, молодой
покидает пловдивский Алеша
древний холм, чтобы уйти домой.

А за ним лейб-гвардии солдаты,
павшие под Горным Дубняком,
поднялись, задумчивы и святы,
из-под плит и движутся полком.

И не от османского обвала
егеря порубанных частей
тянутся сурово и устало
на кладбища Родины своей.

И встает из гроба император,
на поминовенье свечи жжет,
ждет гусар, скончавшихся от ядер,
и кавалергардов мертвых ждет.

Горек вздох оболганной России,
но забывчивым и дела нет,
что амбары у нее пустые,
а на лбу — и кровь, и крест, и свет...

Анна
КАЛАБИНА



О как мы зависимы, милый, с тобой
От сущей безделицы — времени года!..
Казалось бы глупость! — Какая природа?!
Какая тут мудрость и, к черту, покой?!

Какая весна? — только снег побурел
На улицах грязных. Ведь мы — горожане,
Наш беден до трогательности удел:
Всего лишь мимоза в граненом стакане.

И нам остается на веру принять
Знакомую только по книгам природу
И благословенному времени года
По лирике Фета учиться опять...



Если б знать, что за этой чертой
Вдруг начнется с удвоенной силой
Звон листвы в остывающей сини,
Бестолковых пичуг разнобой,
И рассеянный свет сентября,
Ненавязчивый, ясный, бездонный...
И губами прижаться к ладоням...
И брусничники тихо горят...

А что-то было в нем — игрушечном покое:
Уменье, может быть, за счастье принимать
Клубники липкой горсть, безделье отпускное,
Смолистую кору и к слову «благодать»
Набор избитых рифм...
А что-то в этом было —
Не жизни горькой вкус,— а привкус бытия
С горчинкой вечности. И солнце в небе стыло
Почти библейское,— предчувствия тая.

✦ ✦ ✦

Почти на крик: «Я счастлива!..» Почти
До сумасшествия: «О как прекрасна осень!..»
Почти до боли: перспективу Росси
Вычерчивают желтые лучи...

И нужно ли на плоскости, а не
На острие, на лезвие, на грани?..
И солнце душу тем сильнее ранит,
Что вот сейчас растает в глубине.

Пер
ЛАГЕРКВИСТ

ПИЛИГРИМ В МОРЕ

Повесть

Когда пилигрим оказался на борту бандитского судна, которое должно было перевезти его в Святую землю, он успокоился и больше уже ничего не боялся. Он лежал на нарах в кубрике, скрестив руки на своей мятежной груди, а в душе его воцарилось неведомое ему прежде чувство мира и покоя. Хотя во мраке за бортом неистовствовали волны и буря, и он понимал, что этот корабль всего лишь старая жалкая посудина, что экипаж его — ненадежный сброд, он все равно чувствовал себя на удивление уверенно и всецело предался во власть им и разбушевавшимся стихиям. Он заплатил хорошую цену за перевоз, отдал им все, что имел, все свои неправедно нажитые деньги; и они жадно пересчитывали их, ничуть не заботясь о том, что на деньгах этих кровь.

А теперь они плыли по морю, катившему свои волны к стране, куда его обещали перевезти. И он верил в это, был преисполнен доверием, как никогда прежде в жизни. Будь, что будет!

Конечно, он помнил, как грубо они хохотали, когда судно отчаливало от набережной. Но даже это его не обеспокоило, и он не сомневался в том, что они сквозь бури и опасности перевезут его в ту дальнюю страну, по которой он так безумно тосковал.

Вскоре он задремал, словно убаюканный волнами моря, которое, охватив его своим волнением и ненадежностью, все же подарило мир его душе.

Когда он проснулся, на судне было уже не так темно и какой-то человек сидел и смотрел на него. Казалось, он занимается этим уже давно, казалось, он сидит и ждет, когда он проснется, и наблюдает за ним, пока он спит. Вид у этого человека был свирепый — лицо крупное, безбородое, рот — широкий, волосы густые, правда, уже чуть поседевшие, и густые же темные брови, придававшие его взгляду еще большую суровость и острую проницательность.

— А, проснулся, наконец,— сказал он голосом, от которого, казалось, следовало бы ожидать еще большей грубости и недружелюбия.— Может, хоть теперь ты скажешь, кто ты такой и что все это значит. Что тебе надо здесь на борту?

— Тебе это прекрасно известно. Ты ведь, должно быть, знаешь, куда направляется это судно.

Человек пробормотал что-то неразборчивое.

А немного погодя сухо добавил:

— Да. Конечно.

Он сидел и изучал некоторое время его худое, с твердыми чертами лицо, его длинные, скрещенные на груди волосатые руки.

— Не похож ты на паломника,— сказал он.

Тот, другой, бросил на него быстрый взгляд, взгляд почти боязливый и осторожно, словно думая, что это не будет заметно, разнял руки.

— Ты похож на всех остальных на борту, и это — хорошо. Думаю, это хорошо для тебя. Хотя у тебя ведь светлая кожа, да и волосы, ясное дело, тоже... Откуда ты родом?

Тот, кого спросили, не ответил ни слова.

— И одет ты вовсе не так, как они. Ну, эти паломники. Почему ты одет иначе? И как тебя зовут?

Но и тут он не получил ответа.

— Ты, верно, думаешь, что меня это не касается,— слегка усмехнувшись, сказал человек.— Ты прав. Но все-таки, можешь ты сказать, как тебя зовут?

— Товий.

— Вот как! Здесь на борту, пожалуй, не имеет ни малейшего значения, как тебя зовут и откуда ты родом. Здесь вообще ровно ничего не имеет значения.

Пер Фабиан ЛАГЕРКВИСТ (1891—1974) — шведский писатель, романист и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1951 г. Наибольшую известность снискал его автобиографический роман «В жизни гость» (1925) и антифашистские повести «Палач» (1933) и «Карлик» (1944). «Пилигрим в море» (1962) — своеобразное продолжение повести «Смерть Агасфера» (1960), опубликованной в № 2 «Невы»; заключительная часть трилогии — повесть «Святая земля» (1965).

Он продолжал смотреть на него своим пронизывающим, испытующим взглядом. И Товию это было неприятно.

— Вообще-то ты, верно, мог бы сесть на корабль, на котором плавают настоящие паломники? Ты что, этого не хотел?

— Это ж ясно.

— Но ты, конечно, опоздал на него. Правда?

— Да.

— Кажется, я слышал об этом. И тогда ты сел на этот. И тут все, верно, будет хорошо. Хотя обычно на нашем судне в Святую землю не плывут,— засмеялся он.— Но раз шкипер посулил доставить тебя туда, он, ясное дело, сдержит свое обещание. Да, конечно, сдержит. Он малый честный, никто ничего другого про него не скажет. И ты ведь заплатил, так что дело — верное. Ты отдал ему все, что имел!

— Да.

Человек провел рукой по губам, словно желая скрыть улыбку.

— Да, шкипер, верно, решил, что теперь тебе деньги больше не нужны. Верно, так он и думал. Лучше, что они у него. Надежней. Он правильно решил. Но если у тебя что осталось,— продолжал он,— будь осторожен. Спрячь их... Они тебе могут понадобиться, когда ты доберешься в эту самую Святую землю — а я думаю, ты туда все же доберешься. Наверняка. Но все же скажи, зачем все-таки тебе туда надо?

— Зачем?

— Да. Очень хотелось бы об этом узнать; рассказал бы хоть немножко, а я бы послушал.

— Уж это мое дело.

— Конечно. По правде сказать, поэтому и хотелось бы послушать твой рассказ. Что заставляет тебя быть таким расточительным — а надо сказать, ты и есть такой. Такой расточительный, что платишь сколько угодно, отдаешь все, что у тебя есть. Разве это ни странно, а?

Товий не ответил.

— Когда корабль отчалил,— я имею в виду корабль с настоящими паломниками,— ты бросаешься в гавань и нанимаешь первое попавшееся судно, да еще в любую погоду. Разве это неудивительно?

Товий опять не ответил.

— Да, это судно хорошее, очень хорошее, но я не это имею в виду. Я плавал на нем чертовски много лет, и я знаю, что говорю. И люди здесь хорошие, ну просто отличные, это я могу подтвердить. С ними ты можешь чувствовать себя уверенно, они справятся с морем в любую погоду, они не робкого десятка. Ничего на свете не боятся. Они не страшатся никого, ни Бога, ни дьявола. Так что если кто и сможет перевезти тебя в Святую землю, то это, верно, мы. Но скажи, почему ты, собственно говоря, так рвешься туда?

Товий по-прежнему молчал; молча сидел и другой, изучая это упрямое, суровое лицо, сверх всякой меры настороженное и словно бы замкнутое для всех.

— Я видел столько настоящих паломников,— снова начал он немного погодя.— Их в гавани полным-полно, они бродят там в ожидании, когда их корабль выйдет в море. Я нередко разговариваю с ними, спрашиваю их о том, о сем, хотя и сам не знаю, зачем я это делаю, мне они не по душе. Нет, не по душе. Должен сказать, они мне просто отвратительны. Когда долго смотришь на их лица, так и тянет снова уйти в море! В особенности, если ветер такой же, как вчера вечером. Хорошо бы узнать, как они справились с этим ветром.

Нет, они мне не по душе. И ты тоже. Но ты не похож на них. Ты не похож на настоящего паломника.

Товий бросил на него обеспокоенный взгляд, на который тот, другой, не обратил внимания.

— Какие у тебя волосатые руки. У Ферранте такие же, хотя и поросшие черными волосами. Вот. Его ты остерегайся. Он единственный, кого тебе надо остерегаться, другие все парни, что надо, как я уже говорил — люди хорошие. Единственный, кого тебе надо избегать — тот, у кого волосатые руки, как у тебя. Запомнить это — легко.

Он чуть приостановился, продолжая столь же настойчиво, как и прежде, изучать Товия.

— Стало быть, это — твое личное дело. Так ты думаешь. И потому не плывешь, как обычно бывает, вместе с другими паломниками в обычном длинном стаде баранов, с теми, кто шествует с крестом впереди, с теми, кто, так сказать, замкнул свою душу на замок. Ты же идешь один в полном одиночестве. Ты идешь на богомолье в полном одиночестве и на свой собственный лад. А, может, у тебя и креста-то никакого нет — или есть? Даже четок с маленьким крестиком и тех нет, а?.. Да нет, я сразу увидел, что у тебя их нет, что и в руках у тебя ничего нет, что они — пустые. Хотя ты и скрестил их на груди, пока спал. Тебе это известно? Ясное дело, нет. Рукам, таким, как у Ферранте, никакой крест не подходит.

И все-таки тебе хочется стать паломником, все-таки тебе хочется в Святую землю. Какой в этом толк? Что делать там такому, как ты? Хотя, если уж тебе непременно хочется, мы, конечно, отвезем тебя туда, ясное дело! Мы это сделаем, так или иначе. Как посулил шкипер. Когда мы что-нибудь обещаем, то свое слово держвм. Уж такие мы. И ведь ты заплатил за перевоз. Ты отдал все, чем владеешь, как истинный христианин. Впрочем, какой ты христианин, ты просто честный малый! Как все мы здесь на борту. Ты под стать этому кораблю; вот увидишь, ты станешь точь-в-точь как все мы, стоит только попривыкнуть немного кое к чему, что сперва, может, и удивит тебя. А с такими ручищами ты наверняка сможешь добросовестно работать. Они, видать, привычны ко всякой работе, даже к такой, какая потребуется здесь. Сдается мне, ты попал на подходящее для тебя судно.

Доводилось тебе бывать на море прежде?

— Нет. Никогда.

— Стало быть, ты ничего о нем не знаешь?

— Нет.

— Тогда придется тебе многому научиться. У моря можно многому научиться. Скажу одно: если ты станешь бродить из одной страны в другую, по странам, которых прежде не видал, и по большим городам, битком набитым людьми, которых тоже никогда прежде не видал, по всему белу свету, ты все равно не научишься тому, чему научит тебя море. Морю ведомо куда больше, чем любой другой стихии, если только ты заставишь его рассказать тебе об этом. Ему ведомы все древние тайны, потому что оно само такое древнее, старше всего на свете. И не обольщайся: ему ведомы и твои тайны. Но если ты предашься ему всей душой, позволишь печься о тебе, не станешь соваться с разными мелкими спорами, не станешь упрямиться, когда речь зайдет о каких-то случайных пустяках, чтобы море могло позаботиться об этом или даже просто послушать, что это ты там бормочешь, в то время как оно само держит речь, в то время, как оно продолжает беседу и набрасывается на судно,— оно сможет подарить мир твоей душе, если таковая у тебя есть. И если мир — это именно то, что ты желаешь обрести. Откуда мне это знать. Да это ведь меня и не касается. Но как бы там ни было, ты никогда и нигде не обретешь душевный покой, кроме как в море, в море, которое само никогда не обретает покоя. Так уж исстари ведется. И об этом я могу тебе порассказать.

Нет, ничего нет на свете подобного морю. Нет такого друга, никого, кто может так помочь и спасти несчастного. Вот это я и хотел бы тебе сказать. Поверь, все, что я говорю,— правда. Уж я-то знаю, что говорю.

Хотя, пожалуй, мне не пристало бы называть море своим другом, это, быть может, слишком. Мне должно было бы, пожалуй, с большей покорностью и почтением говорить о нем, с большим благоговением. Так, как говорят о святыне. Таковым его я и считаю. Море — единственное, что я почитаю, словно святыню. И всякий день я возношу благодарность за то, что оно существует. Пусть оно неистовствует, пусть буйствует, я все равно благодарен ему. Потому что оно дарит мир в душе. Не надежность, а мир. Потому что оно жестоко и сурово, и беспощадно, и все же оно дарит мир.

Что тебе делать в Святой земле, если на свете существует море? Святое море?

Он сидел, погруженный в собственные мысли и, казалось, забыл, что рядом с ним — другой человек. Голова его была опущена на грудь, а на крупном тяжелом лице лежала печать замкнутости и скорбного раздумья.

— Когда я впервые очутился на борту этого судна,— продолжал он немного погодя свою речь,— я никогда прежде не видел моря. Много всякого перевидал я на своем веку, слишком много. Я видел людей, слишком много людей. Но никогда не видел моря. И, стало быть, я еще ничего не понимал, не соображал, совершенно ничего. Как можно понять что-либо в жизни, понять и узреть людей и их жизнь, понять самого себя, если тебя не научило этому море. Как можно понять их тщетные старания и их погоню за неясными целями, прежде чем бросишь взгляд на море, которое огромно и бескрайно. Прежде, чем научишься думать, как море, а не как эти не знающие покоя существа, которые внушают себе, что они всегда должны стремиться куда-то вперед, что это — самое важное на свете, и что цель — самое главное в их жизни. Прежде чем научишься нестись по воле волн, надо целиком предаться власти моря и не скорбеть ни о чем — ни о праведном, ни о неправедном, ни о грехе, ни о правде и лжи, ни о добре и зле, ни о спасении и милости, ни о вечном проклятии, ни о дьяволе и боге, ни об их наивных диспутах друг с другом. Прежде чем станешь равнодушен и свободен, как море, и позволишь нести себя по воле волн, безо всякой цели в неопределенность, предаваться безраздельно власти этой неопределенности, ненадежности, как единственно надежной, и, наконец, единственно воистину несомненной. Прежде чем научишься этому.

Да, море может многому научить тебя. Оно сделает тебя мудрым, если ты захочешь стать таковым. Оно научит тебя жить.

Он смолк, а Товий лежал и смотрел на него, несказанно дивясь всему, что тот сказал. А также ему самому, тому, кем он, верно, был ва самом деле, что так говорил, и у кого было такое тяжелое и грубое лицо, сработанное морем, которое он величал святым. Святое море... О чем он думал, говоря так? Нелегко было ответить на этот вопрос. Но Товий вспомнил, какой дивный мир снизошел на его собственную душу там, во мраке на море, в бурю, когда он предался во власть стихий, когда обрел покой у моря. Ни тревог, ни забот ни о чем.

Не тревожиться так ужасно, обрести мир... Не спокойствие, а мир.

И не стремиться, очертя голову, к какой-то определенной цели, не искать смысла жизни, как это делал он, не подстрекать самого себя и не гнаться за чем-то определенным. Да и не судить самого себя, не обвинять себя в том, что ты преступил закон, в вероломстве и бесчестности, и в том, что ты, быть может, не настоящий паломник и что деньги, которыми ты расплачиваешься за перевоз на Святую землю, быть может, запачканы кровью. Если есть вообще на свете какая-то Святая земля, а может, есть одно лишь море...

Не страшиться, не впадать в отчаяние оттого, что не обрел надежность, оттого, что ни в чем не уверен, ни в чем вообще... Довольствоваться безнадежностью, быть довольным и счастливым этой неуверенностью... избрать *это* своим уделом. Избрать самого себя, такого, какой ты есть. Отважиться быть таким, какой ты есть, ничуть не упрекая себя за это.

И избрать своим уделом море — ненадежное, бескрайнее, неведомое море, и бесконечное плавание без определенной цели, без какой-либо цели вообще...

Так думал он, глядя на человека, который заставил его так думать, который сидел рядом с ним и, казалось, больше не замечал его и больше с ним не говорил. И взгляд которого, прежде столь пронзительный и испытующий, вовсе не казался теперь занятым чем-то поблизости, а совершенно отсутствующим, витающим где-то вдали. Смотрел ли он на возлюбленное свое море или же на нечто, что он так величал? Его строгое, обветренное лицо больше не казалось столь суровым, оно немного смягчилось, стало почти нежным. Товий различал это уже отчетливей, потому что стало значительно светлее.

Немного погодя человек очнулся от своих дум и взглянул на него с чуть смущенной улыбкой, оттого, что столь долго отсутствовал.

— Тебе, верно, следовало бы подняться на палубу,— сказал он.— Тебе, верно, не стоило бы здесь валяться целый день!

Товий встал, и они вместе поднялись по сумрачным ступенькам, которые вели на палубу.

Яркое, пылающее солнце освещало море — ни тучки на небе. Широкие водные просторы казались бесконечными, нигде не видно было земли. По-прежнему высоко вздымались волны моря, хотя оно, верно, немного успокоилось за ночь, и пена вскипала со всех сторон на гребнях. Попутный ветер был все еще резок и нес на полных парусах шхуну прямо в открытое море. Пробоин в судне не было, но корабельщики стояли наготове — вдруг что-нибудь случится во время опасного плавания. Но судно, казалось, само пеклось о себе, оно прекрасно чувствовало волны и, казалось, было создано для такой погоды, как эта. Люди не смотрели на вновь пришедших, хотя, разумеется, тут же заметили их; но никто не поздоровался. У руля стоял громадный человек — руки и ноги его походили на кувалды — все в нем было огромно, все было слишком крупно. Только голова была довольно мала и совершенно без волос с двумя толстыми складками на затылке. Он похож был на внушающего ужас великана, но на его толстых, огромных губах играла добродушная, чуть глуповатая улыбка. То и дело он посматривал на корму, чтобы быть начеку, если на нее обрушатся самые опасные волны.

Рядом с ним стоял какой-то приземистый, хилый, неряшливо одетый малый, с вялым недовольным лицом и маленькими колкими глазками. Он бросил быстрый, притворно равнодушный взгляд на Товия, а потом повернулся к нему спиной. Товий узнал в нем человека, который накануне вечером пересчитал и забрал себе его деньги; и понял, что это — шкипер. Его немного удивило, что это и был шкипер.

Волны непрерывно бились о палубу, перекатываясь по ней взад-вперед и заливая ее водой. Товию трудновато было сохранять равновесие, он шатался и искал, за что бы уцепиться. Рядом с ним стоял какой-то человек, презрительно улыбаясь его попыткам. Долговязый и верткий, он был ростом с Товия и такой же жилистый и худощавый, но черная челка спускалась у него на лоб, а мрачное, недружелюбное лицо было покрыто застаревшей темной щетиной; губы — тонкие и искусанные. Неприятный был у него вид. Время от времени он бросал взгляд в сторону шкипера, и, когда тот кивнул ему головой, он нагнулся и укротил шкот на правом борту своими длинными, худыми, поросшими черным волосом руками.

Человек, сопровождавший Товия на палубу, отошел от него, чтобы обратиться к своим обязанностям на борту, и Товий остался в одиночестве рядом с этой невеселой фигурой. Чтобы избежать общества этого малого, они перешли на левый борт корабля.

Там он увидел человека, который, казалось, почти обрадовался ему или, по крайней мере, хотел с ним поболтать. Из-за шума ветра в парусах и постоянного скрипа оснастки нелегко было расслышать друг друга, но человек этот встал совсем рядом и стал осторожно выпытывать у вновь пришедшего, кто он, собственно говоря, такой. Когда же это не удалось, потому что Товий не ответил ни слова, он удовольствовался тем, что стал искоса смотреть на него, чтобы таким образом узнать, что он собой представляет. Сам он был невысокий, щуплый, с сутулой спиной и впалой грудью, с тощей, как у пойманной птицы шеей; лицо — узкое, заостренное и совершенно бесцветное. Глазки у него были маленькие, взгляд — неуверенный, вкрадчивый; он, казалось, хотел всем угодить, так как считал, что тот, с кем он говорит, желает видеть его таким.

Товию было легко побудить его рассказать немного о других на борту, о том, что недовольный, неопрятный малый, стоявший рядом с великаном, и, в самом деле, был капитаном судна и тем, кого все боялись. Что за душой у великана не было ничего, кроме силы, зато его силу можно хорошо использовать. И что долговязого, жилистого малого зовут Ферранте и он — распрекрасный товарищ и лучший корабельщик на борту. Самого его зовут Джусто и не такой уж он, собственно говоря, корабельщик, больше занимается другими делами,— усмехнулся он, утерев рукой губы; лицо у него было заостренное и серое, как крысиная морда.

Товию больше всего хотелось узнать, кто тот диковинный человек, что отыскал его внизу на шканцах и явно долго разглядывал, пока он спал. А затем так чудно говорил с ним о вещах, которые, быть может, сам того не подозревая, таил в душе, даже не веря, что о них можно осмелиться думать и даже говорить. О том, который произносил слова, быть может, много значившие для него, слова, быть может, облегчавшие его душу и сделавшие его свободным.

Джусто более чем охотно готов был болтать об этом человеке и уже заранее язвительно улыбался тому, о чем намеревался сказать. Косясь в ту сторону, где стоял тот человек, он понизил голос, хотя это было совершенно излишне в бурю, и доверчиво склонился к самому уху Товия, обдавая его своим зловонным дыханием.

Да, тот человек — священник, лишенный сана — хотя кто его знает, никому, верно, и в голову не придет, что этот мошенник был когда-то служителем Божьим. Когда он явился сюда, он, должно быть, был не в своем уме, был ужасающе худ и бледен, не то что теперь. Таким, ясное дело, Джусто никогда его не видал, да и остальные тоже, потому что это было давным-давно, очень давно, он уже старый, старше всех здесь, на борту, старше шкипера и всех вместе взятых. Он, может, здесь с тех пор, как построили корабль, этого я не знаю.

Сколько ему может быть лет? Да, не так-то легко ответить на этот вопрос. Ведь он похож на старого морского волка, а о таких ведь обычно говорят: они так задубели, что невозможно определить их подлинный возраст. Но, во всяком случае, настоящим корабельщиком он не был, это он, верно, только сам думает, что он — настоящий, хотя и прижился на море, да, так оно, вероятно, и есть, ведь он давным-давно плавает. И, пожалуй, хорошо, что он не на суше, что он хотя бы не в священниках, потому что по мне — такого безбожника, как этот человек, я никогда в жизни не встречал.

Должно быть, вид у Товия был несколько удивленный, а может, сомневающийся, потому что Джусто продолжал длинно объяснять, каким безбожником был раньше этот священник. А какой он был богохульник и блудник, хуже не придумаешь. Под конец же, прикрыв рукой свою крысиную пасть, он, хихикая, рассказал о том, как в одной гавани, куда они обычно заходят, у него была шлюха, которую он называл «дщерь Божья» — потому как она принадлежала к тому же племени, что и наш Спаситель. С ней он всегда спал, когда они заходили в ту гавань, и уверял, что она может спастись, да, и она — она также, и что Господь, верно, так и считал, хотя была она самой непотребной девкой, какую только можно встретить в любой гавани. И коли этого мало, чтобы быть зараз и богохульником, и блудником, то это просто — чудно. А коли сатане не по душе такой грешник, кто ж тогда ему нужен? Верно? Сдается, он будет гореть в геенне огненной до тех пор, пока там не останется даже самой тоненькой щепочки, чтобы подложить ее в огонь. Ты тоже так считаешь?

Но вот что чудно,— не дожидаясь ответа, тут же продолжал он,— что вместе с тем он такой добрый малый, такой добрый и приветливый со всеми, и со мной тоже; он всегда был так добр и хорош, что мне, верно, не следовало бы и слова дурного о нем вымолвить, да и вообще не рассказывать о нем. Да, таков он со всеми, и все любят его; вот только Ферранте не взлюбил его, да и шкипер, конечно, который, ясное дело, вообще никого не любит. И ужасным грешником надо бы его назвать, но он *хороший* человек, это уж точно.

Как его зовут? Вон что, ты этого не знаешь? А я думал, ты знаешь. Его зовут Джованни. Джованни его зовут — это в честь того ученика, которого Он больше всех любил, помнишь? Джованни? Да, так его зовут. И надо же, чтоб его назвали таким именем. Но ведь необходимо, чтоб тебя как-то звали.

Товий робко и удивленно глянул на человека, о котором они говорили, рослого

мужчину, явившегося к нему там, внизу, в полумраке и открывшего ему словно бы новый мир, новую жизнь. А теперь отвернувшись в сторону, он занимался чем-то впереди, на носу, безликий, обращенный к нему одной лишь широкой, могучей спиной.

Он отошел от болтливого малого со зловонным дыханием. И, оставшись наедине с самим собой, задумался о том, что ему довелось услышать.

Джованни... Тот ученик, которого Он больше всех любил...

Впереди показалась земля, маленький клочок суши, островок, возвышавшийся над океаном и мало-помалу придвигавшийся все ближе и ближе. Горы на островке становились все отчетливей, сначала они казались совсем голыми и безжизненными, но затем можно было видеть, что склоны их поросли сероватыми деревцами, скорее всего оливами, перемежавшимися с виноградниками. Внизу на невысокой прибрежной полоске песка, которую они уже вскоре могли все лучше и лучше различить, росли высокие деревья, и виднелась всякого рода свежая пышная зелень; там явно была плодородная земля, самая плодородная часть острова. Когда они подплыли достаточно близко, им навстречу хлынуло благоухание, которого Товий никогда прежде не знавал. Могучие пинии росли на этой прибрежной полосе, вздымая свои кроны к ясному небу. И другие высокие деревья, которых он не знал, тянулись своими крепкими стволами из плодородной почвы, увитые миртом и плющом, или как там он называется, словно земля в изобилии своем желала заставить все расти и расцветать.

В одном месте открылась вдруг совсем небольшая протока, она вела в круглый, совершенно правильной формы залив, предложивший им гавань, самую надежную из всех, какие только можно придумать, со всех сторон защищенную от морских бурь и волн. Они вошли прямо в узкий проход, привычно преодолев бурное волнение на море. И сразу же очутились в тихих водах, где едва ощущалась зыбь.

На самом же деле эта тихая мирная гавань была кратером потухшего вулкана. Повсюду на острове были разбросаны горячие источники, мелкие серные озерца, расщелины, из которых шел пар или дым. Но все было исполнено благоуханием, всюду царило изобилие и богатство природы, ее сладостность и расточительство во всем.

В самой глубине гавани пришвартовался огромный, великолепный корабль; он стоял к причалу кормой, а с носа свисал толстый, надежный якорный канат. Паруса были убраны и сушились на солнце, высокие мачты оголены. На палубе толпилось множество людей, не корабельщиков, а всяких разных людей, мужчин и женщин — вперемежку, которые бродили там наверху, не зная, чем заняться. Это был тот самый корабль, на котором плавали настоящие паломники и куда опоздал Товий.

Они скользнули в гавань и очутились рядом с большим кораблем.

Джованни, стоявший впереди на носу, швырнул на берег трос какому-то оборванцу, которого, казалось, знал с прежних времен, а затем бросил пронзительный взгляд на капитана корабля с паломниками, перегнувшегося через перила палубы и явно испуганного тем, что вновь прибывшие могут задеть и ободрать его прекрасный корабль. Их маленькое суденышко, и вправду, казалось незначительным и убогим рядом с этим кораблем. Да к тому же еще обшарпанным и неухоженным, с грязными залатанными парусами. Появилось и несколько человек из экипажа великолепного корабля и, взглянув на суденышко сверху вниз, обменялись сочувственными словами. Ничем не занятые паломники также собрались у перил, чтобы внести некоторое разнообразие в свое плавание, и болтались без дела наверху на палубе.

Джованни бросил на них бешеный взгляд.

— Чего вы тут причалили! Боитесь выйти в открытое море?! Чуть подул ветер, и вы уже боитесь выйти в открытое море! Мерзкие вы твари! Проклятые жалкие трусы! Стоит волнам подняться самую малость, и вы уже ищете прибежище в гавани! Хотя у вас такой большой корабль! Что, так и будете торчать в этой луже вместе с вашим чертовски красивым кораблем, а? Разве это не вы собирались в Святую землю?! Вам что, туда больше не надо?! К его гробнице, в те места, где он мучился и умирал? А вместо этого причаливаете в луже, потому как вам кажется, будто дует ветер! Бедняги! Приходится искать убежище в гавани, по пути на Голгофу! Он, по-вашему, так поступал? Поступил он так? Нет, так поступаете вы! И к тому же думаете, будто он примет вас, будет рад и благодарен вам за то, что вы явились на поклон к нему на его землю! Явились, чтоб увидеть, каково ему пришлось, когда он был человеком, как и вы, и, во имя вашего спасения был распят на кресте ради вас! Думаете, вас примут с распростертыми объятиями, а? Что он ужасно обрадуется при виде вас? А отец его будет просто в восхищении, приняв вас в своем царстве небесном, вас, соблаговоливших посетить те места, где сын его страдал и почил мертвым сном? Что он скажет, как вы думаете? Когда к нему явятся такие важные гости, а? Может, мне рассказать вам об этом? Рассказать? Ну, слушайте тогда хорошенько! Обещайте мне слушать!

«Мерзкие вы твари! — скажет он.— Проклятые твари! Думаете, что придете в царство мое, если ищете на пути туда прибежище в гавани! Думаете, я впущу вас

туда! Думаете, мне нужны такие жалкие трусы! Это-то вы можете понять, что мне нужны настоящие мужи, честный народ, а не такие немощные бездельники, как вы!» Черт побери, какие у вас у всех рожи! От одного вашего вида можно захворать! И он тоже захворает! Он плюнет вам в рожи, когда вы попытаетесь войти в его царство и пошлет вас вместо этого к черту! Вот что он сделает, будьте уверены!

Все с удивлением выслушали эту страстную речь, которую он выпалил без передышки, и которую произносил громким голосом, чтобы те, наверху, услыхали его слова во всем их бурном страстном накале, при всей их кажущейся шутливости. Он явно говорил серьезно.

Его ошеломленно слушали не только те, против кого была направлена его ярость, но и люди на набережной, состоявшие, казалось, по большей части, из городских бродяг и других, еще более подозрительных личностей. Все они хохотали во все горло, высоко оценив это неожиданное, бесплатное удовольствие. Зато паломники на верхней палубе у перил только рты разинули от удивления; их даже не успело оскорбить его глумление над ними и его ужасающее богохульство. Джованни же еще некоторое время продолжал столь же неукротимо и взволнованно поносить их; он изливал свою ненависть и презрение к их кораблю и ко всему его экипажу, и к паломникам, а, особенно, к тому, что на свете обретается подобный сброд, да еще плавает по морям.

Пока разыгрывались эти события, привлекшие к себе всеобщее внимание, впереди, на носу вновь прибывшего судна происходило нечто чрезвычайно странное. Какие-то таинственного вида тюки и узлы со страшной скоростью переправлялись на берег, где их тут же подбирали несколько оборванцев, проворно исчезавших вместе с ними в одном из узких, сумрачных переулков, выходивших в гавань. А занимался этим маленький Джусто, помогали же ему великан и Ферранте. Рослый огромный малый оказался не только сильным, но также неожиданно гибким и ловким, несмотря на свое громадное тело. Ферранте совершенно невозмутимо выполнял свою долю этой удивительной работы; на его мрачном лице было написано презрение ко всему окружающему, а также и к Джованни с его болтовней. Оба они были сильные, и работа спорилась в их руках. Но все происходило под умным и внимательным надзором и по распоряжению расторопного коротышки с крысиной мордочкой.

Никто не заметил и тени этих событий, даже шпионы из таможни, катавшиеся от смеха, как и все остальные и видевшие и слышавшие только Джованни и его забавный поток слов. Когда все было кончено, все благополучно сошло с рук и Джусто шепнул об этом шкиперу, тот медленно перешел вперед, на нос суденышка, где долго спорил с каким-то толстым человеком с набережной, пока толстяк не раскошелился и не отдал ему то, что причиталось. Никакой благодарности коротышке Джусто за его изрядный вклад в общее дело шкипер, явно, не испытывал; во всяком случае лицо его было, как обычно, недовольным.

Паломники же, наконец-то, отозвались на все, что им пришлось вынести, на все поношения и бесчестье, которые пришлось вытерпеть, на все насмешки и презрение к ним и их паломничеству. Должно заметить, что сделали они это совершенно неожиданно и довольно своеобразно. Совершенно не защищаясь, даже не отвечая на все нападки, на глумление и поношения, они затянули лишь свою песню, песню паломников, которую сочинили вовсе не они. Однако песня эта и, в самом деле, была очень хороша; и пели паломники по-настоящему красиво. Песня повествовала о небесном Иерусалиме, граде, о котором они так тосковали, и куда направлялись! Все благоговейно и молча слушали, застыв на месте, даже бродяги на набережной, а также таможенные шпионы стояли, обратив лицо к паломникам на верхней палубе и слушали прекрасную песнь. Также благоговейно обратив к ним свою крысиную мордочку, стоял Джусто, вытянув тощую шею с непомерно большим кадыком; в его маленьких моргающих глазках читалась неподдельная растроганность. И только шкипер, пожав плечами, повернулся спиной ко всему происходящему, а на исполненном презрения лице Ферранте вообще не замечалось ни малейшего изменения.

Просто удивительно, какой внутренней силой они обладали, хотя, наверняка, почти все были люди никчемные, может, даже презренные. И все-таки они смогли заставить этих равнодушных, да, этих отпетых, заставили их претерпеть такие огромные изменения, пусть даже ненадолго. Кто же это вселил в них силы?!

Товий также стоял и смотрел туда, наверх, прислушиваясь к песне, как и другие, но немного особняком, сам по себе. Он был очень серьезен, а взгляд его все время — неотрывно прикован к поющим на верхней палубе. Нелегко было сказать, о чем он думал, и лицо его, как обычно, ничего не раскрывало, хотя оно, по правде говоря, не было так упрямо замкнуто, как обычно, рот полуоткрыт, как у ребенка, а губы слегка шевелились, словно он хотел петь вместе с ними, но не знал слов.

Когда Джованни глумился над паломниками и поносил их, а все хохотали, Товий не принимал никакого участия во всеобщем веселье. Быть может, это просто зависело от того, что он был человеком, не слишком склонным к шутке, а, может, от чего-либо другого или от многих других причин. Была ведь в нем странность, отличавшая его от

большинства других людей. Он был постоянно занят, быть может, чрезмерно заннт важными делами и ничем иным. На его угрюмом, чрезмерно замкнутом лице читалось, что он — человек, лишенный многих радостей, присущих другим людям. Быть может, это означало, что он точно также свободен от многих их чрезмерно малых горестей. И если бы дела обстояли именно так, это было бы более чем справедливо.

Он не знал, что Джованни находится прямо за его спиной, что он пришел и встал там. Не знал, пока не услыхал внезапно его раздраженный, презрительный голос:

— Вот твой корабль паломников, корабль, на котором ты так хотел плыть! Почему ты не отправляешься на борт этого корабля!

Товий а полном изнеможении обернулся и посмотрел в это исполненное злобы, ваволнованное лицо. Он едва узнал его. Неужто это, и вправду, тот самый человек, который так долго вел с ним столь многозначительную беседу внизу, на шкаицах?

Он знал: это — тот же самый человек. И под личиною презрения и ярости, под всем этим лишь наносным и случайным, он уаидел его истинное лицо, тяжелое, суровое и серьезное, отмеченное печатью долгого и скорбного раздумья. Это лицо было ему приятно. И он хотел видеть это лицо.

Он не ответил на его вопрос. И в глазах Джованни появился торжествующий, почти сердитый блеск, когда он понял, что этот странный паломник предпочел красивому, отвечающему всем правилам кораблю их старую, грязную, обшарпанную посудину. О ней можно было подумать все, что угодно, кроме того, что она предоставляет удобный способ переправиться в Святую землю. Во всяком случае, плыть, как эти паломники, он явно не пожелал.

Они снялись с якоря и снова отправились в путь после кратковременной, но удачной для экипажа стоянки. Легкий ветерок, который дул в гавани, переменился и дул им прямо навстречу; им пришлось лавировать. Поэтому потребовалось время, прежде чем они основательно отдалились от корабля с паломниками.

— Поклонитесь Святой земле, если у вас хватит смелости попасть тудв когда-нибудь! — крикнул им Джованни с кормы.— И сыну Божьему, коли у него такой есть! — добавил он с грубым хохотом, звучавшим на редкость неестественно в его устах.

Когда шхуна вышла через узкий проход и все споа почувствовали, как ветер надувает паруса, команда разразилась громким хохотом, радуясь удачной торговой сделке. Шумно и удивительно добродушно смеялся Джованни. Хохот великана был просто неслыханным и превратил его рот в огромную, красную пасть, способную поглотить все на свете. По сравнению с этим смех Джусто был всего-навсего тихий счастливый писк, который время от времени испускал его вытянутый вперед маленький острый клювик. Шкипер прикрывал рот рукой и смущенно смотрел вниз; никто так и не мог понять, смеется он на самом деле, или нет.

Впереди на носу в одиночестве стоял Товий, не принимая участия в этом шумном фарсе, который он не очень хорошо понимал и до которого ему не было дела. Он смотрел на море; широко открытое, оно снова раскинулось пред ним, безграничное, бескрайнее... И никакой земли яа горизонте. Ветер заметно стих, но его все еще обдувал свежий ветерок. Уменьшились и волны, не вскипавшие, как прежде, белой пеной. И море защищалось, подергиваясь долгой и могучей зыбью, по которой мягко и быстро, с почти неуловимой скоростью скользило судно, беспечное и гордое, равнодушное ко всему на свете, кроме себя самого, бесконечно счастливое и беззаботное, с залатанными, грязными, но надутыми ветром парусами.

Куда держали они путь?

Этого он не знал. Знал ли это кто-нибудь из них? Когда они, оставив позади надежную гавань, легли на курс, казалось, будто они плывут по направлению ветра, в зависимости от того, куда лучше плыть судну. Так, по крайней мере, представлялось ему, долговязому, худощавому, стоявшему дальше всех на носу и глядевшему на бескрайние водные просторы, на это море, бесконечно простиравшееся пред ним во все стороны, словно нет ему конца-краю, словно есть на свете одно лишь море.

Святое море...

Без определенной цели, без какой-либо цели вообще...

Одно лишь море... Святое море...

С правого борта показалось трехмачтовое судно, потерпевшее кораблекрушение, выброшенное на риф, ужасно накренившееся, весь остов — опрокинут. Верно, судно потерпело крушение во время яростной ночной бури и превратилось в развалину. Место это было опасно и пользовалось дурной славой — далеко в открытом море несколько очень мелких, необитаемых островов, а вокруг них — предательские подводные камни. Не в первый раз случалось здесь кораблекрушение.

Они изменили курс, чтобы подойти к останкам корабля.

Удалось спастись экипажу или нет — неизвестно, но он, вероятно, покинул корабль. Казалось, больших надежд на то, что корабельщикам удалось справиться с волнами, нет. Но когда расстояние между суднами уменьшилось, они заметили, что

на борту — люди. Их было немного, по-видимому, всего несколько человек. Потерпевшие бедствие делали им отчаянные знаки, чтобы их спасли, а когда судно приблизилось, выказали величайшую радость.

Спасители повернули и причалили возле останков корабля, а потерпевшие крушение следили за их ловкими маневрами и живо приветствовали их: «Добро пожаловать!» Они сбросили вниз переносный трап, и шкипер вскарабкался к ним на борт, а следом за ним также Ферранте, великан и коротышка Джусто. Джованни же и Товий остались на палубе. Взять корабль на абордаж было не так легко из-за сильного волнения на море возле рифа. Но видно было, что корабельщикам это дело — чрезвычайно привычно.

Потерпевшие взволнованно рассказали, что с ними приключилось. Когда посреди ночи стряслась беда, спустили шлюпку и за место в ней началась драка. Очень многие силой, пуская в ход кулаки и громкую ругань, добывали себе место. Увидеть что-либо там в кромешном ночном мраке вряд ли было возможно. Внезапно из черной тьмы обрушилась гигантская волна, и она поглотила переполненную шлюпку и всех тех, кто кричал и дрался, чтобы спасти свою жизнь. Все погибли в один миг, поглощенные морем и тьмой. Остались в живых только те, кому так и не удалось раздобыть места в шлюпке, кто не обладал достаточной силой, чтобы пробиться с кулаками вперед и попасть в нее. И еще капитан, не пожелавший покинуть свой корабль. Но корабельщики, в основном, покинули его, сумев с помощью своих огромных сильных кулаков раздобыть себе места, да и многие другие тоже. Все,— кроме тех, кто находился здесь теперь; но большей части то были мирные купцы, непривычные к таким ужасным событиям и приключениям, как эти. Они не пробивались в шлюпку да и сил у них на это не было, и теперь они возблагодарили за это Бога, за то, что остались здесь, чтобы погибнуть вместе с останками корабля. Но как раз поэтому не погибли и, терпя великое бедствие, по непостижимой милости божьей были спасены.

Шкипер выслушал рассказ потерпевших с хмурой миной, не выражавшей никакого особого интереса к тому, о чем они так обстоятельно повествовали. Когда же они кончили свой рассказ, он довольно сухо сказал, чтоб они выкладывали денежки, надо заплатить ему за то, что он их спасет. Иначе он и не подумает этим заниматься.

Они ошеломленно глядели на него и не сделали ни малейшего движения, чтобы исполнить его повеление.

— Вы что, не слышите, что я сказал! — резко повторил он.— Вы, верно, поняли, что я не собираюсь спасать вас даром. Выкладывайте сюда все деньги, какие у вас есть, а также все ценности, словом, все, что у вас есть! Да побыстрей!

Они стояли, пораженные, сначала от удивления, а потом из страха потерять свое имущество. Некоторые, заикаясь, бормотали, что у них ничего нет. Шкипер одарил их презрительной улыбкой и сказал, что это не очень-то похоже на правду — ведь они так хорошо одеты. И ему никогда в жизни не приходилось слышать о купцах, у которых не было бы никакого имущества; насколько ему известно, у них денег куры не клюют. Но он не собирается стоять и дожидаться, пока они выложат денежки. Если они не сделают этого сию же минуту, они и его люди сами займутся ими.

— Вообще-то,— сказал он, обернувшись к человеку, выглядевшему иначе, чем другие,— мне следует передать и судовую кассу. Сдается мне, ты и есть капитан этого корабля. А, вернее говоря, от корабля остались одни останки, и я в полном праве забрать деньги себе. Спускайся вниз и тащи сюда судовую кассу. Слышишь?

Тот, к кому он обращался, был довольно пожилой, седовласый, чуть полноватый, но крепко скроенный человек, с волевым лицом и твердым взглядом честных глаз моряка. Они отнюдь не выражали особого уважения или почтения к повелевавшему ему собрату по ремеслу. Несмотря на это, он, не произнеся ни слова, спустился вниз под палубу, чтобы принести все, что велено.

Меж тем, купцы начали вести переговоры о том, как бы им избежать непомерной уплаты. Мол, они, разумеется, желают вознаградить корабельщиков за их труды, за их неоценимую услугу, но в пределах разумного. Сколько им заплатить? Как полагают корабельщики? — спрашивали они, привыкшие к переговорам подобного рода.

Шкипер ответил, что здесь и речи не может идти о какой-либо сделке, здесь дело идет об их жизни. А когда речь идет о жизни, то не платят такую-то и такую-то крупную сумму, а отдают все. *Всё*. Понятно? Это-то они могут понять, хотя бы один-единственный раз.

Купцы пришли в негодование. Видимо, в душе они просто кипели от ярости и вовсе не собирались мириться с приказом шкипера. Лучше что угодно, да, лучше даже смерть, нежели потеря всего имущества. И если, и вправду, придется выбирать, если, и вправду, речь идет о жизни, то их имущество им дороже всего на свете. Разумеется, люди они, как уже говорилось, были мирные, но всему же есть предел. И есть такое, что им дороже жизни, такое, от чего они не собираются отступиться и без чего жизнь, собственно говоря, не имеет для них ни малейшей цены. И если эти подлые вымогатели говорят, что здесь и речи не может быть о каких-либо сделках, то они ответят: здесь дело идет об их купеческой чести. А если корабельщики не желают, как водится, сговориться об умеренной плате за их жизнь, то и они не собираются мириться с подобным оскорблением своего почтенного ремесла. И, верно, покажут, что они настоящие мужчины, исполненные чести и отваги в груди, мужи, которые ничем не поступятся, когда речь идет о том, чтобы защитить себя и свое имущество.

Когда они приняли такое решение, из люка на палубу вновь поднялся капитан, но не с судовой кассой, а вооруженный до зубов, и шпагой, и ножом, и с оружием для своей команды, которое он быстро роздал и которое его товарищи, не мешкая, столь же быстро схватили и повернули, как могли, против своих так называемых спасателей, которые, как они уже поняли, были никем иным, как отпетыми бандитами. Миг, и все уже были вовлечены в ужасную рукопашную схватку на покатой палубе, потому что корабельщики с пиратского судна тотчас вытащили спрятанное под платьем оружие и пустили его в ход. Шкипер отдавал краткие, решительные приказания, звучавшие, как удар кнутом, и подстрекал великана и Ферранте вмешиваться то тут, то там, то так, то эдак, в эту совершенно стихийную битву, в которой он сам, на удивление, не принимал никакого дальнейшего участия, но своим обычно столь равнодушным взглядом он быстро схватывал все, что происходило, следил за ходом битвы с холодным, невозмутимым спокойствием, и отдавал приказания тонким, но чрезвычайно пронзительным голосом.

Ферранте вообще едва ли нуждался в каких-либо приказаниях, у него явно были большие навыки и ловкость, когда дело шло о такого рода работе. А его презрительная улыбка свидетельствовала о том, что работа эта доставляет ему радость и удовлетворение. Как ни странно, казалось, что ему куда больше нравится душить свои жертвы, нежели пронзать их шпагой. Словно острыми кровожадными когтями, он хватал их за горло своими длинными волосатыми руками, и только когда не удавалось задушить, он брался за нож. Длинный узкий нож, острый, как игла, который прежде чем пронзить человека, буквально ослеплял его. Казалось, Ферранте занимался своим мерзким ремеслом ради собственного удовольствия.

Зато неуклюжему, а может, и слегка придурковатому великану нужны были все распоряжения, какие только он мог получить. Он напоминал какого-то вялого недотепу, нуждавшегося в том, чтобы привести его в движение, пустить в ход, но когда, наконец, удавалось это сделать, он становился ужасен. Самое трудное заключалось в том, чтобы заставить его разозлиться по-настоящему, заставить преодолеть все его природное добродушие. Он пытался вести себя так, словно он, и в самом деле, страшно злой, но таким он не был. Это было заметно с самого начала. И еще заметней, что несмотря на это, шкиперу своим голосом, хлестким, словно удар кнута, удавалось-таки в конце концов, заставить его впасть в ярость. И, в самом деле, это удалось в конце концов. Когда же это случилось, последствия были ужасны. Ведь он обладал неизмеримой силой. Его громадные кулаки просто сбивали наземь противника, а после этого он набрасывался на него с ножом, и ложился на свою жертву, словно огромный, толстый мясник. Смотреть на это было ужасно: глаза у него вылезали на лоб, его учащенное дыхание заставляло широко раскрываться и пыхтеть большущий рот с толстыми кроваво-красными губами. Толстая свиная кожа его лысой головы была совершенно розовой от возбуждения. Справившись со своей жертвой, он ненадолго поднимался на ноги и почти добродушно улыбался всей своей огромной пастью, прежде чем наброситься на очередную жертву.

Во время этой неистовой битвы коротышка Джусто старался держаться в тени. Очевидно, он не считал себя пригодным для такого дела и куда охотнее желал бы залезть куда-нибудь и притаиться. Он походил на мышонка, который охотнее удрал бы, пока большие крысы кусают друг друга. Его почти полная праздность, несмотря на то, что он, как и другие, держал в хилой ручонке длинный нож, не укрылась от острых глаз шкипера. И порой он бросал на него яростный взгляд, который однако же не в силах был заставить Джусто преодолеть его врожденную трусость и страх. Несмотря на то, что он, на самом деле, больше всех боялся шкипера, в этом случае он не повиновался.

Стало быть, собственно говоря, сражались по-настоящему только двое из экипажа, но зато эти двое были намного ловчее, опытней и сильнее других. Они прекрасно справлялись со всеми своими противниками, которые яростно и бесстрашно бились, мужественно презирая смерть. Однако же они были ведь совершенно не обучены, чтобы долго сопротивляться. На какой-то миг чаша весов для обоих, умелых, знавших свое дело бойцов, заколебалась, и шкипер, заметивший это, крикнул Джованни и Товию, находившимся внизу, чтобы те поднялись и помогли им. Неясно только, имел ли он в виду их обоих или только Джованни. Тот сделал несколько шагов к переносному трапу, который по-прежнему свисал вниз в их лодку, но остановился. Он бросил робкий, молчаливый взгляд на Товия, который ни разу не шевельнулся и недвижно стоял, обратив к морю свое напряженное, с твердыми чертами лицо, исполненное сильного внутреннего беспокойства и сомнения.

Тяжелее всего пришлось там, на верхней палубе, с капитаном, который несмотря на

свой возраст, был намного сильнее всех других противников и, кроме того, привычен тратить свои силы понемногу, когда это необходимо. Они не могли справиться с ним, пока все остальные уже не были мертвы или тяжело ранены и лежали окровавленные на палубе. И в последний миг он оказал страшное сопротивление.

— Ах, ты, гиена! — взревел он, кипя от ярости, и, замахнувшись на шкипера, нанес ему удар, который, однако же, ранил того совсем легко, потому что Ферранте бросился между ними. В конце концов удалось связать капитана лесой, которая попалась под руку, и, тем самым, битве был положен конец.

Шкипер послал Ферранте и великана вниз, под палубу, посмотреть, какая там кладь и узнать, что там самое ценное, и что легче всего перевезти к ним на судно. Потом подозвал к себе коротышку Джусто, который боязливо, готовый к самому худшему, приблизился к нему. Ферранте очень хотелось бы остаться, чтобы порешить дело с капитаном, но шкипер, махнув рукой, прогнал и его, и великана, повторив им свой приказ:

— А с этим мы сами управимся! — сивзал он.

Капитан лежал связанный, не в силах шевельнуться. Он не произнес больше ни слова, а только презрительно смотрел на своего победителя. По-видимому, это презрение и приводило шкипера в такую ярость. Не без причины подозревал он, что тот, другой, считает его капитаном судна куда более низкого разряда. Из его холодных глаз пресмыкающегося изливалась ненависть и желание отомстить этому старому, преисполненному достоинства человеку. Тот считал себя куда значительней, чем он, потому что водил по морю так называемый честный корабль, перевозил купцов и товары; и торговые сделки — куплю и продажу — они совершали так называемым честным путем, по совести. Отомстить этому человеку с седыми волосами и благородным взглядом моряка, взглядом, который теперь уже не был столь спокоен и прямодушен, а дик, как у зверя.

— Ты назвал меня гиеной? — очень медленно спросил шкипер.— Разве нет?

Капитан не ответил ни слова. Он явно решил не вступать ни в какую беседу со своим презренным палачом.

— Тогда я покажу тебе, как расправляется гиена со своей жертвой. Может, ты знаешь, что сама она ее не убивает? Она не унижается до этого, или же это ее не забавляет. Она предоставляет это делать другим.

— Сюда! — приказал он Джусто.— Ближе. Ты что, боишься, бедняга?! Разве ты не видишь, он связан как должно, по-настоящему связан. Тебе совсем не надобно бояться.

— Вот жалкий, трусливый бедняга, который позаботится о тебе. Он, может, не особенно умелый но в конце концов он все равно тебя убьет.

— Ну вот, покажи, что ты мужчина! Не дрожи так, скотина ты этакая! Начни же когда-нибудь!

Лицо Джусто было белым, как мел. Он, в самом деле, дрожал, и длинный узкий нож, такой же, как у Ферранте, был слишком велик для его ручонки.

— Так! Коли его! Коли его, говорю тебе.

Джусто склонился над жертвой и, замахнувшись, нанес несколько ударов, но, казалось, они едва ли проникли дальше платья капитана.

— До чего же ты жалкий бессильный бедняга! Тогда ударь его в горло! Слышишь ты, в горло!

Джусто так и сделал. Но когда брызнула кровь, его лицо почти позеленело и начало покрываться холодным потом. Он не выносил вида крови. А шкипер, который, видимо, прекрасно это знал, испытывал особое удовольствие, заставляя его убивать. Голос его звучал холодно и повелительно над связанной жертвой. Все это время старый капитан не издавал ни звука. Подобное самообладание, казалось, еще больше разъярило его палача.

— Отрежь ему голову! Отрежь ему голову! — хрипло кричал он, совершенно теряя самообладание.

Джусто не осмелился сделать то, что ему было велено, а вместо этого наносил своим чрезмерно большим для него ножом вслепую один удар за другим в шею капитана. И под конец ему удалось, несмотря на свою неумелость и охвативший его ужас — выполнить приказ и умертвить жертву. Старый капитан был к тому времени уже весь залит кровью, а Джусто, склонившись над ним, и почти лежа, блевал, бледный как смерть; лоб его был мокр от пота.

— Наконец-то,— удовлетворенный, шкипер презрительно улыбался ему и мертвецу.

Вот так он одновременно подверг пытке и бедного старого капитана с его честным лицом и запуганного человечка с крысиной мордочкой.

Тут из люка в палубе появились Ферранте и великан с двумя большими тюками; великан тащил громадный тюк; он очень любил носить тяжести. Они не знали, что в этих тюках, и шкипер выругал их за это. Затем он велел Джусто вместо них спуститься вниз, в трюм и посмотреть, есть ли там что-нибудь ценное либо пригодное для них.

В подобных делах он больше всего полагался на коротышку, которого обычно страшно презирал. Но сначала Джусто пришлось обыскать карманы торговцев, посмотреть, нет ли у них чего при себе. И с чувством глубокого облегчения, благодарности за то, что он, наконец, может заняться собственным ремеслом, Джусто тотчас же рьяно приступил к делу. Ловко и привычно обыскал он мертвых и живых; он набрал много денег, которые шкипер тотчас же у него отнял. Те, кто еще были живы, жаловались и стонали, когда он к ним прикасался, но не оказывали ни малейшего сопротивления, когда их грабили, отнимая золото и драгоценности.

Затем Джусто последовал вслед за Ферранте и великаном вниз под палубу, чтобы продолжить грабеж корабля.

Для перевоза клади на их судно потребовалось довольно много времени, и великану вместе с Ферранте пришлось совершить много рейсов взад-вперед, несмотря на то, что Джусто присматривал за тем, чтобы брали только самое лучшее и наименее громоздкое. Там было немало такого, что, в самом деле, заслуживало, чтобы его украли. Много подлинных драгоценностей он отыскал внизу и, поднимаясь раз за разом наверх, восхищенно извещал об этом шкипера. Джусто был в совершеннейшем восторге от богатой добычи, хотя самому ему ничего не досталось, и он даже не удостоился простой благодарности. Так что он, собственно говоря, поступал вполне бескорыстно. И по праву чувствовал себя счастливым. Ведь им попался корабль с таким драгоценным грузом.

А, может, он и, в самом деле, был почти что хорошим человеком? Трудно с уверенностью ответить на этот вопрос.

В самом конце великан перенес наверх несколько огромных бочек с вином и разные ценности, которые шкипер, колеблясь, все же позволил им взять с собой.

Они уже были готовы отчалить.

С разбитого корабля все еще слышались горестные крики и стоны оставшихся в живых купцов. Товий подошел к шкиперу и запальчиво сказал ему, что должно бы взять их на борт. Шкипер презрительно глянул на него, не удостоив ответом. Он только пожал плечами и повернулся к нему спиной. Ферранте, как раз стоявший рядом, издал суховатый, пренебрежительный смешок и вперил в Товия злобный взгляд.

Они отправились в путь.

Солнце садилось. Море, которое почти успокоилось, переливалось всеми цветами радуги, неопределенными и изменчивыми, но неописуемо прекрасными и яркими. Казалось, будто всевозможные цветы рассеяны на его бескрайних просторах, будто они лежат там и колышатся, чтобы затем медленно увянуть и поблекнуть, когда их настигнет смерть, исполненная несказанного счастья, грусти и красоты.

А Товий в полном одиночестве стоял и смотрел на это.

Они ведь по праву могли быть довольны собой и своей богатой добычей. Даже шкипер казался довольным. Он согласился, что каждый из них заслужил стаканчик вина, и велел откупорить одну из бочек. Еды у них было вдоволь, и еды более лакомой, чем та, к которой они были привычны. Они расположились на палубе, и началось настоящее пиршество. Ферранте и великан с жадностью набросились на еду и питье. Великан поглощал неимоверные количества еды. Он вкладывал громадные куски в свою могучую пасть и заливал их огромным количеством вина. Казалось, он ел и пил всем своим телом, и тот, кто видел его за едой, мог догадаться, откуда у него такие неизмеримые мышцы и откуда черпает он свои силы, как он стал таким, каким он был, и как он мог оставаться таким. Тот, можно сказать, становился свидетелем его происхождения и его дальнейшего существования. Но, видно, ему не так уж часто предоставлялся случай заправиться вином и едой так, как сейчас.

Ферранте же, после того, как переделал столько самой разной работы, ел больше, чем обычно едят, с естественной жадностью. Он ел с мрачным бешенством, недовольный и злобный, как всегда. Оба они выпили огромное количество вина, и оно мало-помалу возымело сильное действие на Ферранте. С великаном же дела обстояли так, что сколько бы он ни пил, он никогда не хмелел. Он пытался захмелеть изо всех сил, но ему это не удавалось. К его величайшему сожалению, так бывало всегда, и он с завистью смотрел, как другие все больше и больше хмелеют, а он — нет. И тут он понял, что именно ему, как единственному трезвому из всего экипажа, как всегда, придется стоять ночью у руля.

Джусто ел очень мало, он запихивал крохотные кусочки в свой маленький бледный рот, но зато, казалось, был куда больше доволен всем, что съедал. Он ухмылялся от наслаждения, до глубины души довольный собой и всем миром! И пил вино, чтобы быть, как все, и потому, что ему страшно хотелось, чтобы Ферранте, которого он боготворил, думал, что он пьет столько же, сколько и тот. На самом деле он мог выдержать совсем мало вина и почти сразу захмелел. Смешно было смотреть на него; его маленькой крысиной мордочке хмель совершенно не подобал, ей совершенно не шел багровый румянец, придававший ему дурацкий вид. К тому же, он все время смеялся

каким-то придурковатым, страняо клокочущим смехом, словно кудахтал, как курица, меж тем как кадык так и прыгал вверх-вниз на его тонкой птичьей шее. Его маленькие моргающие глазки светились простодушием и счастьем, хотя он ведь, собственно говоря, был самым хитрым из них.

Шкипер тоже сидел вместе с ними, но его там как бы и не было. Он не принимал участия в болтовне, ни разу не проронил ни слова. Но он ел и, прежде всего, много пил и мало-помалу должен был бы совершенно захмелеть. Но по его лицу это было совершенно незаметно, оно нисколько не изменилось. Его холодные глаза пресмыкающегося, казалось, не могли согреться, и он своим, как обычно, прохладно-презрительным взглядом наблюдал за тем, как команда ведет себя во хмелю. Когда они произносили что-либо особенно смешное, он презрительно улыбался тому, что забавляло их. Таким образом, ему доставляли не так уж много радости ни они, ни его собственный хмель. Он напивался в одиночестве, безрадостно, и можно было только удивляться, почему он, собственно говоря, это делает. Но точно также можно было удивиться, почему он занимался всевозможными другими делами, и все также безрадостно. И почему люди вообще занимаются делами, от которых они не получают ни малейшей радости? Хотя, может, и получают?

Начало смеркаться, и на рее повесили фонарь, чтобы лучше видеть и продолжить празднество. Вечер был теплый, и ветер совершенно стих; они продолжали сидеть наверху, на палубе, где и начали свой разгул. Постепенно все они, кроме великана, так напились, что картина несколько изменилась. Понятно, что Ферранте был не слишком доброго нрава. Посидев и поглазев то на одного, то на другого, он, казалось, надумал подразнить шкипера и начал осыпать его насмешками, бросая злобные словечки, коварные намеки и вопросы о том, сколько денег он загребает на корабле и сколько награбил за один лишь день чистоганом, и сколько собирается выделить им, а?

Немало смелости нужно было, чтобы решиться на подобное; ведь даже он боялся шкипера, человека, обладавшего удивительной способностью внушать страх. А вообще-то эти двое как раз больше всех на судне держались вместе, если, конечно, можно говорить о том, что такие люди могут держаться вместе. Они испытывали своего рода уважение друг к другу, и Ферранте был единственным, кого шкипер не презирал. Но такая беседа была опасна и для Ферранте, который не впервые говорил об этом, стоило ему хватить лишку.

Джусто слушал, чувствуя себя глубоко несчастным. Он не смел поднять глаза. Ясное дело, Ферранте прав, таким, как он и великан, цены нет, а шкипер, наверняка, загреб себе слишком много. Но все же жаль, что они заговорили об этом, ни к чему это!

Он-то сам ничего не требовал, да никто и не подумает, что он может чего-то требовать. Ни он сам, да и никто другой из экипажа не считали его настоящим моряком на судне. Нет, он ничего не просил, довольствовался едой и кровом над головой, и тем, чтобы быть заодно с ними. Да и Джованни тоже ничуть не печалился о деньгах или своей доле в барыше. Ему бы только немного денег, чтобы поразвратничать на берегу. Да и вообще, когда речь шла о настоящем деле, никакой пользы от него не было, хотя на борту он, сильный и умелый, работал прекрасно. А этот новый, кто он, собственно говоря, такой? Он этого не знал. А вообще-то, где они были, эти двое? Тут их нет, они не пьют вместе со всеми. А, может, они где-то здесь, хотя их не видно; он уже больше ничего не воспринимал, не воспринимал отчетливо, так сильно он опьянел.

Внезапно он увидел, как Ферранте, жилистый и худощавый, поднялся во весь свой рост, чуть пошатываясь, словно на ветру. И к ужасу своему Джусто увидел, что он, сжав кулаки, угрожает шкиперу — чем все это кончится, он едва ли осмеливался смотреть на них!

Но шкипер тоже поднялся на ноги. Он стоял прямо против Ферранте, его ледяной взгляд излучал глумливое презрение и к нему, и ко всем без исключения. Ферранте, усмиренный этим неестественно холодным взглядом, внезапно смолк, в самый разгар грубой брани. Вот так же укротитель внезапно усмиряет разъяренного зверя, хотя Ферранте был гораздо сильнее шкипера, а глаза его — налиты кровью от злости. Долговязый, худощавый человек стоял, опустив кулаки, разинув полуоткрытый рот, в котором снизу не хватало трех передних зубов. Он сделал несколько непонятных бессмысленных движений, и его долговязая фигура исчезла в темноте, словно пригнувшись в ней.

Праздник кончился. Джусто тоже ждал случая, чтобы исчезнуть, благодарный за то, что обошлось без драки и можно проспаться в тишине и покое и избавиться от легкого хмеля. Великан же с шумом и грохотом последовал за ним через люк в палубе, поскольку никто ему ничего не приказал, а на море стоял такой полный штиль, и было неважно, есть кто-нибудь у руля или нет. Под конец шкипер тоже спустился туда, чтобы проспаться и стряхнуть с себя одуряющий хмель.

Казалось, на палубе воцарилась тишина, безлюдье и заброшенность.

Внезапно Джованни, стоявший у руля и не отходивший от него все это время, увидел худощавую фигуру, которая кралась от средней части корабля по левому борту

туда, где, вероятней всего, находился Товий. Он услыхал полузадушенный вскрик и понял: что-то там случилось; бросив руль, он поспешил туда. Он как раз подоспел, чтобы увидеть, как длинные волосатые руки Ферранте, словно острые когти, схватили Товия за горло. Еще миг, и было бы слишком поздно. Но тут он ринулся вперед и рванул этого сумасшедшего назад, схватил его за плечи и швырнул на палубу.

Длинный узкий нож сверкнул в руке упавшего; Джованни нагнулся и вывернул нож у него из рук.

Потом он бросил нож в море.

Что заставило Ферранте так поступить? Думал ли он об этом или же делал это совершенно бессознательно?

Нож был в крови, но там внизу, в морской бездне он, верно, очистился. Как очищается и все в конце концов.

Наверняка Ферранте задумал бросить вниз свою жертву, чтобы уничтожить все следы. Если он в состоянии страшного возбуждения продумал все до конца. После позорного поражения, которое нанес ему шкипер, его ярость, верно, искала другого выхода и обрушилась на этого пришельца, которого он презирал точно так же, как еще раньше презирал Джованни. Зачем им еще один бездельник, он и хлеб-то свой на судне не отработает. Мало им того, кто, как говорили, повредился в уме, ему-то он также охотно хотел бы поставить отметину и показать, что он здесь лишний. Сделать это было бы также легко.

А вместо этого он сам лежал, брошенный на палубу, а этот служитель Божий, почти старик, оказался сильнее его. Он и победил и обезоружил его.

— Вставай и убирайся прочь!

Джованни немилосердно пнул его ногой.

— Убирайся вниз в трюм!

И Ферранте, поднявшись на ноги, пошатываясь, поплелся вниз, под палубу, туда, где все остальные.

Товий и Джованни стояли там в темноте, рядом. Хотя все же настоящей темноты не было, так как все небо было усеяно звездами.

Они избегали говорить друг с другом, и у них были все причины для этого. Но теперь они, во всяком случае, стояли вместе. И один из них спас жизнь другому.

Многое случилось с тех пор, как они утром долго беседовали о важных вещах. С тех пор, как Джованни так много говорил о море. О Святом море. О том самом море, в котором нож Джованни опускался сейчас все глубже и глубже на дно, оставляя кровь в его мрачных объятиях и очищаясь от нее.

Предаться морю. Великому, бескрайнему морю, которое равнодушно ко всему на свете и очищает все. Которое в равнодушии своем все прощает.

Древнее, бесчеловечное. Которое своей бесчеловечностью делает человека свободным. Безответственным и свободным. Если только он хочет выбрать море, предаться ему.

Казалось, они говорили друг с другом так давно. Так давно произнес Джованни эти удивительные слова, которые прозвучали словно откровение, распахивающие пред ним, казалось, двери совсем нового мира, так давно, так давным-давно это было...

И тут, пока нож все опускался и опускался в бездну, Товий спросил его, как он мог избрать такую жизнь? Как он мог избрать ее? И как мог ее выносить?

Джованни ответил не сразу. Вместо этого он медленно перешел на корму и крепко привязал румпель [1]. И тот, другой, последовал за ним. Собственно говоря, совершенно бесполезно было крепко привязывать румпель, потому что стояло безветрие и было едва заметно, что судно движется вперед. Но Джованни все же сделал так, как положено.

А сделав это, он лег на палубу на корме, положив свои огромные руки под голову и стал смотреть вверх в ночное небо со сверкающими звездами. Может, он лег отдохнуть?

Товий немного постоял рядом. Затем точно так же улегся на палубу. Они лежали вместе, рядом в теплой ночи.

Море было совершенно спокойно, и судно незаметно скользило по морской глади, а, быть может, вовсе не шевелилось. Это ничего не значило, потому что оно двигалось безо всякой цели, оно лишь отдыхало на море, отдыхало в лоне бескрайнего моря.

И тогда Джованни начал рассказывать историю, которую никто никогда прежде от него не слыхал.

— Я вырос в весьма благочестивом доме. Моя матушка была вдовой, а я — ее единственным ребенком. Когда я родился, отца моего не было в живых, и меня воспитывала эта одинокая, уже не молодая женщина, которая после смерти моего отца еще гораздо больше стала искать утешения и опоры у Бога.

[1] Румпель — рычаг, которым поворачивают руль.

Когда она, уже всеми покинутая, рожала меня, то решила, что жизнь мою должно посвятить Богу. Церкви и Богу. *Она* так решила. Самого меня ведь при всем желании спросить было нельзя, и даже позднее никогда не спрашивали о том, что должно было иметь для меня такое решающее значение. Но она сделала это из чувства искренней любви ко мне, заботясь о благе души моей, о моем вечном блаженстве, о коем она помышляла уже тогда.

Я был единственным ее достоянием, и она отдала его Богу, отдала другому. Она переложила его в самые верные, в самые надежные объятия, в объятия своего господина и Спасителя. И дабы обратить Его внимание на меня и крепко приковать меня к Нему, она дала мне имя Джованни, в честь Его ученика, коего Он возлюбил более всех прочих.

Как часто объясняла она мне это, внушала мне, что я ношу это священное имя, и почему я ношу это имя.

Должно сказать, что вообще-то я не находил в этом ничего удивительного и полностью придерживался того же самого мнения, что и она. Богу и никому иному должно было мне посвятить свою жизнь. Я был преисполнен той же набожности, что и она, и такой же любви к Нему и Его Сыну-мученику, который висел распятым во всех горницах нашего дома. Уже в детстве, а потом и в юности дух мой был совершенно отвращен от этого мира, но зато обращен к священным событиям и вещам, к тому миру, где все божественное жило своей тихой, келейной жизнью.

Нужно признать, что для меня это время было счастливым, что и детство мое, и юность были по-настоящему счастливыми, если подумать, каково стало мое существование потом и каково человеческое существование вообще. Я жил в мире и покое, и в моей душе всегда царил мир. Я жил с чувством уверенности и полной надежности. И я был совершенно удовлетворен своим миром и теми любящими объятиями, в которые переложила меня матушка, моим отдохновением в Боге.

И я не ощущал, что этот мир — нечто ограниченное и тесное; если бы кто-нибудь сказал мне об этом, я не понял бы, что он имеет в виду. Напротив, мне он казался богатым и огромным, да, даже беспредельным. Думы об отце небесном и сыне его, рожденном здесь на земле, о светлых мировых пространствах и окровавленном теле на Голгофе, казалось, открывают моему очарованному взору вселенную без всяких границ. Я истово верил в Бога, и вера эта расширяла мой мир далеко за пределы земных границ.

И вот наш маленький, душный, с чрезмерно замкнутой жизнью дом, где обыкновенному молодому человеку нечем было бы дышать, и где в каждой горнице изможденный человек умирал ради нас, стал для меня чем-то бессмысленным, в связи с этим величайшим единством и совершенно не мешал мне возрастать там в ожидании своего призвания.

Городок, где мы жили, был не так уж велик, но широко известен во всей округе множеством церквей, из которых особо знаменит своей красотой и своими священными реликвиями был собор. В некоторых других церквях тоже были реликвии, и город был местом паломничества, куда стекалось множество людей молиться и искать утешения в Боге.

Была там и духовная семинария, и в свое время меня поместили туда после того, как в монастырской школе меня сперва наставляли святые отцы. Они пеклись обо мне, приняли в лоно церкви, а, на самом же деле, то было лишь подобие моего дома и прежней моей жизни. Я был очень рьяным и прилежным учеником, ревностно прислушивавшимся ко всему, что только мог узнать и что всецело занимало мой юный ум.

Они были довольны моими успехами, и матушке было сказано множество прекрасных слов обо мне, а в последнее время моих занятий говорилось особенно много обо мне, а также о моем будущем.

Наконец, настал великий день, верно, самый великий в ее жизни, когда я был посвящен в сан.

И для меня это был великий и знаменательный день, я был охвачен мыслью о том, что предстану пред лицом Господа Бога как его служитель, и был преисполнен страстным желанием истинно служить ему, и любовью к своему призванию.

Вскоре я получил место капеллана при одной из городских церквей, конечно, одной из самых маленьких, но самой древней и, пожалуй, самой красивой из всех. Со своим старым сводом, лишь слабо озаренная светом, проникавшим сквозь старинные стекла витражей с изображениями святых, она была преисполнена благоговения, света и тьмы, в ней сочеталась божественность и загадочная таинственная сила.

Я еще очень хорошо помню эту церковь. Но помню и аромат ладана, тот сладкий, омерзительный запах, коим вечно был наполнен этот чтимый всеми храм.

Но тогда, разумеется, я не замечал этот столь хорошо знакомый мне запах. Я очень любил старую церковь и был счастлив тем, что мне привелось отправлять службу именно там.

Я служил там уже несколько месяцев, когда со мной произошло нечто.

Однажды меня призвали выслушать исповедь; позднее я узнал, что речь шла о женщине. Вообще-то ее должен был исповедовать другой священник, на несколько лет старше меня, но он внезапно захворал и попросил меня выслушать исповедь вместо него.

Это было вечером, и я пришел несколько позднее назначенного времени, потому как меня поздно известили. Когда я вошел, в церкви было почти темно, только возле одного из алтарей, пред изображением Мадонны горело несколько свечей. В церкви не было ни души, кроме женщины, которую я тотчас же заметил вблизи от исповедальни. Я быстро поздоровался, не очень приглядываясь к ней, и заметил лишь, что она под вуалью. Ничего примечательного или чего-либо необычного в том не было. И мы тотчас приступили к исповеди.

Никогда прежде не доводилось мне выслушивать чью-либо исповедь, и потому мне было немного любопытно, как все обернется, как мне вести себя и что сказать той, которая искала духовного руководства и суда у меня, столь юного. Но ведь я сам, множество раз, регулярно исповедовался моему духовнику, который был и духовником моей матери, так что в какой-то степени мне было это знакомо. Но должно сказать, что опыт мой был все же совсем невелик, ведь мне, на самом деле, исповедоваться было не в чем. Мои грехи и мои старания найти что-либо значительное, в чем можно было бы признаться, частенько заставляли улыбаться моего духовника.

Я склонился немного вниз к решетке оконца, желая услышать, что она скажет. У нее был низкий, теплый голос, и говорила она очень взволнованно с самого начала. Я не сразу смог как следует понять, что она говорит. Мне казалось: она высказывается тоже не очень определенно. Видимо, сначала она не желала прямо выкладывать то, что было у нее на душе.

Между тем немного погодя я понял, что она говорит о том, кого любит, но кого ей любить не должно. Почему не должно, в этом я не разобрался, да и сам предмет, сам повод для исповеди приводили меня в смущение в великой моей неопытности. Да и высказывалась она, как я уже упомянул, не очень определенно, не откровенно. Но без конца повторяла, что любовь ее преступна, что это тяжкое преступление, в коем ей должно признаться кому-либо, должно исповедоваться, потому что она не в силах дольше хранить в душе свою тайну, свой тяжкий грех.

Когда я прямо спросил, почему любовь ее преступна, она призналась, что она, как я и подозревал, замужем, и долгие годы связана супружескими узами, и что любовь ее стало быть — преступление против Бога и его святого завета, а грех ее — грех смертный.

Ее мучило сознание своего греха, ужасно было и то, что она не может обуздать свои чувства. Она была совершенно разбита, а душа ее разрывалась от беспокойства и самобичевания. Она была глубоко религиозной женщиной, жаждавшей чистоты и добродетели, и потому муки ее совести были столь тяжки пред лицом поразившей ее безумной страсти. Все ее думы были о любимом, весь день думала она лишь о нем, да и ночью он никогда не оставлял ее, хотя его и не было рядом, он был постоянным предметом ее разгоряченной фантазии. Она одержима слепой страстью, которая погубит ее, помешает спасению ее души.

Неужто она должна пожертвовать своим блаженством, своей вечной жизнью ради страсти, ради любви на земле, в этой быстротечной, незначительной земной жизни?

Она сама знала ответ на этот вопрос, она знала, что единственное имело подлинную ценность. Ее душа, ее борющаяся за свое вечное блаженство душа, знала это.

Но нечто в ее душе сопротивлялось вопреки всему, не желало жертвовать собой, не желало покоряться вечной жизни. Это нечто желало блаженства сейчас же, сию минуту, хотя бы лишь на один краткий миг в этой быстротечной земной жизни, а потом она согласна была вечно гореть в геенне огненной.. Это нечто готово было погубить ее, не заботясь о ней, о том, что с ней станет в ином мире.

Так ее душу разрывали самые противоречивые чувства, и она не знала, что делать в постигшем ее горе. И сейчас, в этот миг, когда она пыталась объяснить свою беду и искала утешения в святой исповеди, в душе ее происходила борьба. Она не могла отречься от своей беды, не могла затушить огонь в своей душе, адский огонь, даже сейчас, во время своего столь чистосердечного признания пред лицом господа. Слова на ее устах признавали и осуждали ее грех. Но сами ее уста тосковали только по нему.

Такова была ее исповедь, первая, услышанная мной исповедь.

Я слушал. Говорила только она одна.

Ее низкий, задыхающийся голос раздавался в полной тишине, царившей вокруг нас; для меня больше не составляло ни малейшей трудности воспринимать то, что она хотела сказать, ни единое слово не проходило мимо моих ушей. Ведь она говорила теперь совершенно откровенно, с совсем иной откровенностью, нежели вначале. Порой ее голос опускался почти до шепота, ведь она сомневалась, должно ли ей разоблачать себя до конца. Но все же я без труда воспринимал ее теплый взволнованный голос,

взывавший о помощи и опоре, каждое ее слово; я ощущал трепет ее уст, а сквозь решетку все время доносилось ко мне ее горячее дыхание.

Я сидел там, в тесной тьме исповедальни, и слушал признание незнакомой женщины.

Когда она замолчала, настала полная тишина. Теперь должно было говорить мне, но я не знал, что отвечать, виной тому была моя неопытность. Под конец я пробормотал, заикаясь, что я прекрасно понимаю ее душевные муки, ее беспокойство и страх, и я понял ее страдания. Ничего не значащие слова, которые вряд ли могли ей помочь. А я продолжал говорить о том, что во власти молитвы отвлечь ее мысли от греха. Советовал ей обратить все свои помыслы к Богу, который, без сомнения, примет душу, жаждущую спасения. У Бога помыслы наши обретают мир, там — истинная их обитель.

Она отвечала, что всячески пыталась сделать это, но что Господь Бог словно отвернулся от нее, и для нее на свете существует одна лишь любовь, один лишь ее возлюбленный.

После этих слов снова настала тишина.

Тогда я сказал, что буду молиться за нее, молиться Богу, чтобы он услышал ее молитвы,

Вышло так, что мы должны были объединиться в наших молитвах о спасении ее души.

На том кончилась эта странная исповедь, и мы снова вышли из исповедальни.

Один миг видел я ее фигуру, пока она шла сквозь тьму церкви к святой воде у церковных врат, а потом вышла через эти врата. Скрытая вуалью голова обозначилась тут несколько более отчетливо, потому что снаружи было чуть светлее, чем в церкви.

По дороге домой я был ужасно недоволен самим собой. Совершенно справедливо полагал я себя очень скверным духовником, совершенно ни на что не годным. Какую помощь оказали ей в ее муках и беде мои советы вернуться на путь добродетели, которые, несомненно, были правильны, но не могли оказать никакого влияния на ее тяжкую жизнь, на ее бурные переживания и изменить хоть что-нибудь. И, уходя от меня, как и тогда, когда ко мне пришла, она была по-прежнему отдана во власть своей судьбы, своей слепой, непонятной мне страсти. У меня не было сил отпустить ее грехи и помочь ей, я только все снова и снова повторял хорошо известные, тусклые слова, не содержавшие ни малейшего огня, ни живого смысла. И ничего удивительного! Ведь и для меня самого никакого живого смысла в них не было, как не было огня и в моей собственной душе. Такого огня, какой должен быть у истинного духовного наставника, у врачевателя душ. А я таковым не был, и, быть может, никогда таким и не мог бы стать.

Огонь горел лишь в ее душе. А не у того, кому должно было спасти ее, уберечь от гибели, спасти от греха. Нет, я совершенно не был доволен собой.

Я шел домой по темным улицам, ужасно подавленный и преисполненный беспокойства, никогда прежде мне неведомого.

Когда я лег спать, я вспомнил свое обещание молиться за нее, молиться, чтобы Бог избавил ее от преступной любви. Я попытался вложить как можно больше пыла в мою молитву, сделать ее как можно более горячей и страстной, такой, какой должна быть молитва. И такой, какой наверняка была молитва этой женщины. Та, что не была принята Богом.

Удивительно... То, что она не была принята. Но моя...

Хотя ведь это она была в беде, а не я.

А ведь для нее не существовало Бога... Пока я столь доверительно беседовал с ним, настал день.

Однако же то ужасное, что с ней происходило, ужасное в ее судьбе зависело от чего-то особенного. От того, что существовал только ее возлюбленный. Что существовала только любовь.

Я молился так пламенно, как никогда прежде не молился, но не думается, что Бог внял моей молитве, как мне обычно казалось. Или такого не случалось? Я, конечно, не так много думал об этом, уверенный, что Бог внимает моим молитвам.

Что я, собственно говоря, знал о своих молитвах, откуда я знал, что они приняты? Как мог я быть столь в этом уверен?

И вот я долго лежал в раздумье, и задавал самому себе вопросы. Мысли, которые никогда прежде не приходили мне в голову, беспокоили меня.

И впервые я задавал вопросы самому себе, а не Богу.

Не прошло и недели, как меня известили, что та же самая женщина желает исповедоваться снова. И теперь обращалась она к священнику, который был на несколько лет старше меня, но тот по-прежнему хворал и попросил меня опять выслушать ее исповедь.

Я был странно возбужден этим известием, хотя ничего удивительного в нем не было.

Целый день, все время ожидания, оставшееся до исповеди, я находился в состоянии возбуждения.

И на этот раз она пришла только вечером, явно, чтобы на нее не обратили внимание; и на этот раз голова ее также была окутана вуалью. Возможно, многим в городе она была известна, хотя мне, который вел замкнутый образ жизни и знал там очень немногих, нет. Быть может, она принадлежала к какой-нибудь почтенной семье, во всяком случае, она не была женщиной из народа. Это было видно по ее платью, отличавшемуся той изысканной простотой, которая встречается лишь в более высоком классе общества, и не очень обычной здесь.

Наверняка, для нее было крайне важно, чтобы ее не узнали, и, наверняка, по той же самой причине выбрала она эту маленькую, редко посещаемую церковь, которая, быть может, точно также своей архаичностью, красотой и особым настроением отвечала ее чувствам, подобала женщине ее склада, желающей исповедоваться. В полумраке мы снова поднялись в исповедальню.

Она начала с благодарности за то, что ей снова позволили прийти сюда. Исповедь помогла ей. Несмотря ни на что, она испытала облегчение оттого, что смогла выговориться, что ей не надо носить больше эту тяжкую ношу одной. И почувствовала, что, несмотря ни на что, она не совсем потеряна для утешения религией.

Я слушал ее, затаив дыхание, боясь упустить хотя бы одно слово. Она говорила опять очень тихо, как и в прошлый раз в самом начале беседы. И мне пришлось совершенно пригнуться к решетке, чтобы хорошенько слышать ее мягкий, теплый голос, столь смиренно благодаривший за то, в чем совершенно, ни в малейшей степени не было моей заслуги. Если ей довелось почувствовать, испытать какое-то облегчение, какое-то утешение, то это Господь Бог дозволил ей, это Господь Бог сделал для нее, а вовсе не его недостойный служитель, самый недостойный, самый неподходящий духовник, какого только она смогла отыскать. И если он внял чьим-то молитвам, то только ее, ее искренним молитвам из глубины исполненного мукой сердца, а вовсе не моей тепловатой молитве, лишенной всякой страсти, всякого огня. И совершенно лишенной той истинной, искушенной способности духовного наставника — направлять и поддерживать на пути к Богу.

Но все это, разумеется, я только думал про себя, но не произносил ни слова, только ждал, что она скажет все-таки еще что-нибудь.

Она продолжала объяснять, что все равно не испытала никакого изменения, ни малейшего, и по-прежнему преисполнена любви, которая хоть и недозволена и безнадежна, а все же всецело повелевает ею, всецело держит ее судьбу в своих руках. Смягчение страданий, какое она испытала, не повлияло на эту любовь, да и не могло повлиять. Ведь она, по правде говоря, и не желает освободиться от этого преступного чувства, не желает избавиться от этого снедающего ее безнадежного страдания, которое овладело ею. И ей *хотелось, чтобы оно ею овладело*. Так это было. Это — истина и она должна откровенно признаться в этом. Она не желала *освобождаться*! А как можно спасти того, кто спастись не желает.

И все-таки — наступает чувство облегчения, когда можно выговориться, открыть свою преисполненную мукой душу и открыто признаться в своем грехе.

Я обратил внимание, я не мог не обратить внимание на то, что она не раз назвала свою любовь безнадежной, что она, по крайней мере, дважды повторила это.

— Почему,— спросил я самого себя,— она безнадежна? Может ли быть, что она безответна? Не идет ли речь о ком-либо, кто, быть может, не разделяет ее чувств? И быть может, это потому, что она не получила завершение, но...— мне было тяжело думать об этом, о чисто телесном, не хотелось этого делать. Но вместе с тем я, к ужасу своему, заметил, что меня это занимает, что мне это чрезвычайно любопытно и что мне очень хотелось бы узнать, услышать это.

Я коснулся этой щекотливой темы робко и осторожно, чтобы разобраться во всем. Я не знал, как мне разговаривать с нею и не выдать себя.

Она отвечала уклончиво, нерешительно, казалось, ей вовсе не хотелось говорить об этом. Она ускользала от ответа, уклонялась отчасти, переменив предмет разговора и ни разу не дала определенного, прямого ответа на мой вопрос.

Мы оба говорили неопределенно и уклончиво, избегая решающих слов. Я так и не добрался до ясности, до уверенности.

Но все-таки у меня создалось впечатление, что страсть ее безответна, и, быть может, как раз поэтому столь пылка и горяча, что ее любовь, которую она считала преступной, смертным грехом, была любовью несчастной, любовью без ответа, точно так же, как оставались без ответа ее горячие мольбы Богу.

Я был глубоко растроган всем этим, полон сострадания — и, вместе с тем, огня, опалявшего мою душу и в то же время наполнявшего ее робостью. Чувства мои были столь запутаны, что я поспешил прекратить разговор о предмете, который, как оказа-

лось, мог взволновать и меня самого. Я замолчал, пробормотав несколько слов, не имевших ничего общего с тем, что я говорил прежде, и лишь помогавших мне уйти от того, одна мысль о чем, должно быть, была мучительна для нее. Я уже и сам раскаивался, что затронул этот предмет.

Но странно было видеть, как сама она вела себя в этой мучительной тишине, наступившей после беседы о безнадежности и незавершенности ее любви, о том, что она одинока со своей страстью и скорбно раскрытыми объятиями.

Она с трогательным рвением прервала эту тишину к великому облегчению нас обоих. Легко и невесомо, словно пташка, она улетела прочь от мучительных мыслей, от которых не могла избавиться против своей воли; в мыслях она перелетала к возлюбленному, к разговору о нем, о том, каков он, какое у него юное, чистое лицо, которое она всегда видит пред собой, о юной чистоте его души, непохожей на души других людей. О том, что она постоянно ощущает его присутствие, хотя они так редко встречаются. О том, как явственно он ей представляется, ну просто, как наяву. О том, как его объятия заставляют истекать кровью ее сердце. О том, какую он причиняет ей боль, но как охотно выдерживает она ее ради своей любви, ради их любви. И она рассказала, что всегда носит его портрет в медальоне на груди, возле своего измученного сердца, чтобы он всегда был рядом, и как часто она целует этот портрет, когда остается одна, в одиночестве ночи, во тьме. Темнота ей не помеха, потому что она прекрасно помнит этот портрет, и ей вовсе нет надобности видеть его. Поэтому часто, да чаще всего она медальон не открывает, а целует его вместо портрета — закрыв глаза и прижав губы к его губам. Так, как двое любящих целуются, закрыв глаза. Ведь им не нужно видеть друг друга, им нужно лишь, чтобы ничто не мешало их любовным переживаниям, ощущению, что они — единое целое. Разве это не так?

— Да, да...— прошептал я.— Это — так.

Сквозь решетку я чувствовал ее дыхание. И мое дыхание было столь же жарким... и прерывистым... Наше прерывистое дыхание встречалось сквозь решетку... и мне казалось, будто я ощущаю аромат ее уст, уст, которых я никогда не видел и никогда не увижу... казалось, будто я их вижу, потому что я ощущал их аромат...

Внезапно она прервала свою речь и разрыдалась.

Ее рыданья разрывали мне сердце, и я сделал бы все, что мог, желая утешить ее, как вдруг услыхал, что она поспешно покидает исповедальню и быстро уходит прочь по старым могильным плитам, устилавшим церковный пол, прямо в вечернюю сумеречную мглу, увидел, как она в них исчезает.

Я остался один.

И тут я понял, что со мной произошло. Понял, что сам охвачен страстью, тоской, о которых она столько говорила. Все мои мысли кружили вокруг нее, только вокруг нее, целые дни мысль о ней владела мной — даже во время церковной службы, когда я читал свой требник. И ночью она похищала мой сон и потому никогда не оставляла меня, постоянно жила в моей разгоряченной фантазии. Я был словно одержим ею, обессиленный, преданный ей во власть. Во власть женщины, которую никогда не видел, о которой почти ничего не знал, и даже не подозревал, кто она. Единственное, что я знал: она любила другого человека, и ее пылкая любовь к нему была безответна. И то, что я в своей одержимости испытывал своего рода радость при мысли об ее несчастье.

С удивлением и почти с ужасом я наблюдал, как изменила меня страсть, какие перемены произошли в моей душе из-за того, что ею овладела любовь. Ничто другое не имело для меня больше ни малейшего значения, ничто из того, что до сего времени составляло суть моей жизни. Существовали только она и любовь. Мое прежнее «я», бледный, изможденный юноша в доме моей матери, в горницах с изображением распятого сына Божьего, был словно чужим для меня, и сам дом, где я воспитывался и где душа моя была посвящена Богу, стал темницей, где я едва мог дышать после того, как уста мои прошептали однажды великие, чудесные слова любви: «Да, да... Это так!» Как мог я после тех слов выносить жизнь в доме распятого.

Я не мог больше молиться. Да и ни к чему это было! Ведь мои молитвы все равно не смогут дойти до Него, Он никогда им не внемлет. Я так провинился перед Богом, что Он никогда больше не захочет внимать мне, никогда больше не станет иметь со мной ничего общего. Моя страсть была воистину преступна, потому что я дозволил ей овладеть мной во время исповеди, священной исповеди. Да и речь шла о духовной дочери, которая доверчиво обратилась ко мне, которая с моей помощью пыталась обрести руководство и опору, и избавление от греха. Да, мое преступление против Бога было воистину таково, что Ему должно было оттолкнуть меня.

Иногда ночью, когда я не мог спать — мешали жаркие мысли, я и в самом деле, пытался молиться, пытался взамен обратить свои мысли к Богу, молил его смилостивиться надо мной, и вернуть покой моей душе, позволить мне, как прежде, отдохнуть у него в его объятиях.

Но ведь я знал, что на самом деле я не желал вновь обрести душевный покой, не желал обрести то, о чем молил. Так как же Он мог внять моим молитвам!

Я знал, что не желаю обрести покой в надежных объятиях Бога, не желаю света и мира в его обители, что жажду сгореть в пылу любви.

Вот как это было, вот что случилось со мной, как ужасно я переменился, стал совсем другим из-за того, что мной овладела любовь!

Я думал, что любил свою матушку, считал это само собой разумеющимся, хотя, собственно говоря, никогда не думал об этом. Я считал, что любил Бога, и еще больше был в этом уверен, хотя вообще об этом не задумывался.

Теперь я понял, что никогда прежде не любил.

Но суждено ли мне когда-нибудь еще встретить ее, услышать ее голос, вернется ли она когда-нибудь еще? А зачем ей было это нужно? Ведь от ее посещений, от ее исповеди не было ни малейшего прока, ведь я ничем не мог ей помочь. А в последний раз она даже разрыдалась. Когда я подумал об этом, я так разволновался, что почувствовал, как у меня самого на глазах выступают слезы.

Мысль о том, что я, наверное, никогда больше не встречу ее, приводила меня в совершеннейшее отчаяние. Каково мне было переживать это?!

А если она не вернется, нам ведь никогда не встретиться. Ведь я не знаю, кто она, не могу нигде найти ее, и, если я пройду мимо нее на улице, я и не догадаюсь, что это — она.

Она повелевала моей судьбой. И сама ничего об этом не знала.

Я понимал, что если она, в самом деле, вернется, то лишь для того, чтобы говорить о своем возлюбленном, чтобы облегчить свое сердце исповедью. Свое удрученное, измученное сердце.

Я возлагал на это свои надежды, все мои надежды на то, что сердце ее столь удручено, столь преисполнено боли и скорби.

Мне было совершенно безразлично, зачем она придет! Только бы мне вновь встретить ее, услышать вновь ее голос.

Вероятно, она все время полагала, что исповедовал ее священник, который был на несколько лет старше меня. Потому что потом, много позднее, она обратилась с просьбой исповедоваться снова к нему. Он уже выздоровел, но поскольку я до этого уже дважды выслушивал ее исповедь, то решил, что и на этот раз приму ее.

Когда он, совершенно спокойно, с каким-то противоестественным спокойствием сообщил мне об этом, мне показалось, будто грудь моя вот-вот разорвется.

Я пришел задолго до назначенного времени. В церкви было еще не совсем темно, там царил полумрак, почти как днем. Но под тяжелыми сводами медленно смеркалось, а вскоре лишь частица последнего вечернего света пробивалась сквозь сумрачные витражи с изображениями жизни святых. Их кроткие лица и пылающие ярким светом одеяния потускнели, погрузились в ночь и стали невидимы.

Ее все не было.

Я был совершенно один. В церкви не было больше ни души. Только у иконы с изображением Мадонны горело шесть небольших свечей, их пламя колыхалось от невидимого ветерка.

Тянуло, вероятно, от дверей, которые как обычно были полуоткрыты.

Ее все не было.

Беспокойными шагами я ходил взад-вперед по истертым могильным плитам, украшенным гербами и именами давным-давно почивших, самым большим желанием которых было покоиться в этой церкви. Я ходил и ходил непрерывно взад-вперед.

Ее все не было.

Я волновался все больше и больше.

Наконец, во тьме у ворот я услыхал легкие, почти беззвучные шаги.

Я совершенно не видел ее в темноте.

Но она пришла.

Я ничего не слышал, ничего не понимал, совершенно ничего из того, что она говорила; я только слышал ее голос, низкий, чуть задыхающийся голос, и чувствовал ее дыхание, аромат ее губ, губ женщины... казалось, я видел их пред собой во тьме... видел какие они... мягкие и теплые... и как они шевелились... раздвигались... так, что я ощущал их аромат... аромат женщины... ощущал ее самое как аромат... как зов женщины, совершенно другого существа, нежели я, иного существа, к коему я стремился, потому что оно было иным, и потому, что это была она... тосковал по ее незнакомым губам... по источнику этого аромата, одурманивавшего меня, лишавшего чувств... но от счастья... от счастья быть рядом с ней, снова слышать ее голос.

Она замолчала.

Я не знал, что она говорила, и что я отвечал, если я вообще что-либо отвечал, не думаю, вероятней всего, лишь слушал, затаив дыхание... сквозь решетку... наше дыха-

ние встречалось, проникая сквозь решетку..., без слов, без что-либо значащих слов... лишь губы шевелились... одни лишь губы, которые шептали друг другу слова на собственном языке, на своем тайном языке... доверяясь друг другу...

И вот она ушла, ее больше там не было. Исчезла во тьме, снова ушла во тьму. Как птица, вылетевшая из своей клетки, тихая и таинственная, улетела незамеченная.

Я поспешил выйти в ночь, выйти на маленькую площадь перед церковью. Услыхал шаги... шаги, которые затихали вдали... на тесной улочке. Поспешил следом за ними. Чуть дальше на улице я догнал ее.

Было совершенно темно. Мне указывали путь лишь шаги, я узнавал ее по этим шагам. По звуку ее шагов, тех, что я слышал в церкви, над могильными плитами, по звукам ее легких, как у птицы, шагов.

И я тоже шел как можно более легко и тихо, чтобы не привлечь ее внимание, не напугать ее ненароком, не заставить подумать, что ее преследуют.

Но когда я догнал ее и пошел рядом, она ведь должна была бы заметить, что кто-то идет рядом с нею и шепчет ей на ухо слова пылкой любви. Она должна была услыхать голос во тьме, который, еле сдерживая свою страсть, выбирал слова, какие может находить лишь человек, одержимый любовью. Тихие слова, таящие свой жар во мраке, подобно тому, как раскаленный уголь пытается не испугать своим скрытым пламенем, своим притушенным огнем. Казалось также, что она не испугалась, не обеспокоилась тем, что кто-то идет рядом с ней там, в тесной, безлюдной улочке в ночи, кто-то, кого она не могла видеть, не могла даже знать, кто это. Она не ускорила шаги. Напротив, она пошла чуть медленнее, чем прежде... сдерживая дыхание... словно боясь: иначе что-либо может измениться...

— Я ведь знала, что ты придешь,— прошептала она так тихо, что звук ее голоса едва заглушил биение ее сердца.— Как долго ты не шел. Но я ведь знала, что в конце концов ты придешь. Любимый...

Она не остановилась, но пошла очень медленно, еще более медленно. Мы шли вместе, неспешно, бок о бок друг с другом.

— Откуда ты знал, что я пойду домой этой улицей, обычно я здесь не хожу. Но я не хотела, чтоб меня видели. Я была в церкви и исповедовалась, исповедовалась в моей тайной любви к тебе. Как ты мог узнать об этом, как мог догадаться? Это просто удивительно. Но, наверняка, любовь указывала тебе путь, указывала путь истинный. Ты не веришь в это?

— Верю, верю...— прошептал я.

— Ты ждал меня возле церкви? Предчувствовал, что я должна прийти?

— Да...

— Понимаю, ты узнал, что я исповедовалась там, что это там я призналась в любви к тебе, чистосердечно говорила о ней с Богом. Я призналась во всем. И я сказала ему также, что никогда не изменю своей любви, даже если он осудит меня за это. Ему ведомо все. В прошлый раз мне показалось, будто я вижу тебя во мраке перед церковью, когда я покидала ее, что ты стоял там неподалеку от меня. Но ты не подошел, ты не последовал за мной, и тогда я поняла, что это не ты. Но теперь ты пришел, пришел, наконец... Любимый!

Она споткнулась одной ногой на неровной мощенной камнем мостовой, я осторожно взял ее под руку, и она легко оперлась на меня.

— Тебя, верно, удивляет, почему я хожу исповедываться в эту церквушку, а не в собор в нашем приходе,— продолжала она.— Но я никогда бы не смогла говорить об этом откровенно с патером Бенедиктом, ты знаешь его, у которого я обычно исповедовалась раньше, и который знает все о нашей семье, знает слишком много. Однако этому совершенно незнакомому мне духовному отцу в церкви Святого Томаса, о котором я ничего не знаю, и который также ничего не знает обо мне, вернее, ничего обо мне не знал — ему я смогла признаться во всем. Пред ним я смогла раскрыть свое сердце до конца и передать его в руки господни таким, какое оно есть. Этот духовный отец очень помог мне, и я так благодарна ему за его терпение. Но он так добр ко мне, он не сказал еще ни единого сурового, осуждающего меня слова, и еще не наложил на меня никакого покаяния. По правде говоря, он только слушал, позволил мне выговориться, облегчить мою переполненную грудь. И позволил говорить о тебе... Именно потому, что я совсем не знаю его, никогда его даже не видела, а он не видел меня, я и смогла это сделать, я, обычно такая скрытная, как ты знаешь. Ведь я никогда никому не доверялась. То, что я приходила поздно вечером, чтобы меня никто не видел, также очень помогло: я смогла выговориться, шептать слова, которые, как мне казалось, никогда бы не смогли появиться у меня на устах, слова, которые остались там во мраке, в сумерках церкви, словно я доверила их ей. Мрак под древними сводами также подходит к таинственности нашей любви, тебе не кажется?

— Да!..

Она легко прижала мою руку к себе. Я чувствовал, как ее узенькая рука обвила мою.

— Ты, верно, понимаешь также, что есть и другая причина тому, что я избрала эту церковь, чтобы исповедоваться в нашей любви... Ведь здесь покоятся останки стольких наших предков, твоих и моих, они спят бок о бок, так, как мечтали об этом ты и я... спят последним сном в ожидании воскресения из мертвых и Божьего суда. Так же, как когда-нибудь будем ожидать этого мы...

Я боюсь этого. Но вместе с тем — да это и неудивительно — вместе с тем я мечтаю о том часе, когда я восстану из мертвых, засвидетельствую тебе свою любовь и скажу о тебе: «Он — мой возлюбленный, на нем нет греха,— скажу я.— Взгляни, Господь, на благородство его высокого лба, ведь он — не такой, как все мы. Грешна лишь я одна. И после того чуда, что мне довелось испытать на этой земле, я готова нести вечную кару, которая, я знаю, будет мне уделом».

Улица извивалась — тесная и мрачная. Но вот дорога начала подниматься в гору, сначала — постепенно, а потом все круче и круче. Она становилась все круче и теснее, превращаясь в узкий переулок. Мы шли, прижавшись друг к другу, и рука ее мягко покоилась в моей. Она сама это сделала.

Никто из нас больше не произносил ни слова, молчала даже она, сказавшая мне много такого, что должно было навеять мне, идущему рядом с ней в ночи, диковинные мысли.

Там, на самом верху, стояли дома, принадлежавшие знатным семействам; в их стенах я, конечно, никогда не бывал. Но мы шли лишь маленьким, тесным переулком, который не мог вести к какому-либо из этих домов. Вдруг она остановилась. Я ничего не видел, но она своей, наверняка, слабой рукой, должно быть, толкнула низкие, но тяжелые ворота дома, потому что услыхал скрип железных петель, и заметил, что после этого мы очутились в узкой галерее, где пахло каменной кладкой и сыростью. Я чувствовал ее руку в своей, чувствовал, что она ведет меня по совершенно темной галерее, и наверх по такой же темной и узкой лестнице. Наверху она, верно, отворила другую совершенно незаметную дверь, потому что теперь запах каменной кладки и сырости совсем исчез, и мы пошли по мягкому ковру, заглушавшему наши шаги. Мы, по-видимому, находились в комнате, и в комнате женщины, так как там стоял нежный аромат, присущий, по моим представлениям, комнатам, где обитали подобные существа. Аромат этот напоминал мне почему-то запах ладана в церкви Святого Томаса, сладковатый и слегка тошнотворный, хотя, вместе с тем, и совсем другой.

Я ждал, что она зажжет свечу, но она этого не сделала, быть может, чтобы не возбудить подозрение в доме, где, верно, кроме нас было еще немало людей. Хотя мы вошли в маленькие, неприметные ворота в переулке, это вполне мог быть большой дом, один из старинных дворцов, здесь, в верхней части города.

Вместо этого она мягко обняла меня, и я почувствовал, как ее губы приближаются к моим губам, так близко, что я ощутил их тепло своим ртом, ощутил, как она совсем легко ласкает его своим дыханием. В следующий миг мы утратили самих себя, превратились в единое существо, слились в единое любящее существо, которое опускалось все глубже и глубже вниз, в бездонный источник любви.

Эта ночь окутана в моей памяти сплошной теплой тьмой; ничего не вспоминаю я так, как эту ночь. Я вспоминаю ее неотчетливо, как нечто почти нереальное, помню лишь только, что она была, была как нечто бездонное и просто как ночь. Хотя это было так давно, она по-прежнему все так же живет во мне, и мне кажется, будто я ничего так по-настоящему не пережил. И в теплой тьме я все время слышу, как она шепчет таким хорошо знакомым, низким, мягким, чуть дрожащим голосом:

— Никогда не оставляй мои губы в одиночестве... никогда больше не оставляй их в одиночестве... никогда больше...

Мы оба так изголодались, что казались ненасытными. Почти целая ночь ушла на то, чтобы утолить наш голод и чтобы все вновь и вновь соединяться.

Под конец, в совершеннейшем изнеможении мы заснули, тесно прижавшись друг к другу, вероятно, одновременно.

Но проснулись мы не одновременно. С нашим пробуждением связано столько странностей, что я должен рассказать об этом подробнее, и, быть может, даже очень пространно. Если только я не слишком утомлю тебя.

Я проснулся первым — преисполненный чувством счастья, причину которого я не тотчас вспомнил. Но тут же я вспомнил все и при чуть резковатом утреннем свете, пробивавшемся сквозь высокие окна, я увидел ее. Она лежала рядом со мной, обнаженная, с обращенным вверх лицом и полуоткрытым ртом. Дыхание ее было стесненным и тяжелым, и иногда переходило в слабый храп. Я в первый раз увидел ее.

Она была, скорее всего, не совсем такой, какой я представлял ее себе, не так уж юна и, может, не так прекрасна. На самом деле, я понял, что определенного представления о ней у меня не было, сколько и ее ни придумывал, а может, именно поэтому. Но как раз такой и, верно, ее не воображал: с черными волосами, падающими завитками на довольно худую шею, с тонкими и бледными губами. Над верхней губой видиелся легкий пушок, под закрытыми глазами темнели круги, быть может, из-за всех излишеств этой ночи. Нет, она не была красива, но на ее чуточку чрезмерно удлиненном и чрезмерно худощавом лице лежала печать некой утонченности, подлинной породы. И тело ее было прекрасно, не столь худое, как можно было предположить, судя по ее лицу, а мягкое и даже чуточку пухлое, почти нежное, с маленькой, чудесно изваянной, хотя, быть может, не такой уж молодой грудью. Ведь мне больше не с чем было сравнивать, я никогда прежде не видел женского тела. Но был уверен, что оно — прекрасно.

— Каждое женское тело, наверняка, прекрасно,— сказал я самому себе.

Вообще-то сам я был не очень красив. Когда я лежал и смотрел на свое собственное угловатое тело, мне не показалось оно хоть сколько-нибудь красивым. Я никогда прежде его не видел, никогда прежде не видел свое тело, не видел по-настоящему, так, как теперь, когда оно осуществляло то, для чего было предназначено природой, когда оно впервые существовало по-настоящему.

Да и лицо мое, без сомнения, тоже нельзя было назвать красивым: худое, изможденное, обтянутое нездоровой кожей, угреватой от вечного сидения взаперти и пристрастия к чуждым миру книгам. Трудно вспомнить себя самого, каким ты некогда, давным-давно был. Но я смотрю на себя именно так, большими, жаркими глазами, жаркими от страсти, обуявшей в то время мое малокровное и худощавое юношеское тело.

Меж тем, несмотря на мою худобу, я был крепко скроен, а впоследствии стал дюжим и рослым малым.

Кровать, на которой мы лежали, была застелена тончайшим бельем, таким тонким и мягким, что я никогда прежде не видел подобного, и покрывало, сброшенное нами из-за снедавшего нас жара, было из какой-то дорогой ткани, по-видимому, из толстого шелка. И вся эта не очень большая комната была богато убрана и не походила ни на что виденное мною прежде.

Но мне было ни к чему разглядывать все это, да и времени у меня на это не оставалось. Женщина, лежавшая рядом со мной, проснулась, быть может, потому, что я в знак благодарности ее прекрасному, спящему телу, легко и влюбленно погладил его.

Она посмотрела на меня взглядом, который я до сих пор не забыл. Он был одновременно и боязливым, испуганным и изумленным. Я впервые тогда увидел ее глаза — большие и очень темные, пугливые и влажные, чуть затуманенные, как глаза лани.

А испугом преисполнило их, верно, то, что она при отрезвляющем утреннем свете обнаружила, что пережила чудо любви не со своим возлюбленным, а с незнакомцем. Рядом с ней лежал мужчина, которого она никогда прежде не видела и с которым она пережила то великое чудо, о котором так несказанно тосковала. Она ведь точно так же переживала его, не правда ли? И, быть может, сознание этого преисполнило ее душу еще большим страхом. Ведь я не знаю, я только догадываюсь, что могло шевельнуться в ее душе, когда ее глаза встретились с моими, такими же огромными, как ее глаза. Думаю, это было единственно общим у нас.

Свою узкую, прекрасной совершенной формы руку, которая так красиво, словно защищая ее стыдливость, покоилась во время ее сна, она медленно перенесла к медальону на маленькой, чудесно изваянной груди, уже не очень молодой груди со слишком темными коричневыми сосками; она схватила медальон рукой, по-прежнему глядя на меня огромными, испуганными глазами лани.

Легко понять, что скрывалось за этим ее жестом, я понял это слишком хорошо, и был страшно взволнован, так взволнован, что сам почти удивился этому. Я быстро протянул руку, чтобы рвануть к себе тот самый медальон с портретом ее возлюбленного, о котором она столько говорила, о нем, не похожем ни на кого другого, чтобы посмотреть, как он выглядит, кто он такой. Однако же, почти обезумев от испуга, она помешала мне, ее рука крепко обхватила медальон. Удивительно, как сильна оказалась эта маленькая, узенькая рука, когда дело коснулось того, чтобы сохранить ее тайну; казалось, я не смог бы разжать ее, если бы я даже на самом деле всерьез попытался бы это сделать. Но от прикосновений к ней и всей этой борьбы возле ее маленькой, теплой груди моя страсть пробудилась вновь. И когда она оказала страшное сопротивление и изо всех сил попыталась оттолкнуть меня, она еще сильнее возросла, и я гораздо больше увлекся этим, нежели тем, чтобы схватить пресловутый медальон. Она в самом деле оказывала настоящее сопротивление. Но в то время, как она боролась со мной, не давая приблизиться к ней, пробудилось и ее желание, и в разгар борьбы она внезапно уступила, позволив мне приблизиться к ней. Она тесно прижала меня к себе, хоть я и был не тот, хоть я и не был тот ее настоящий возлюбленный, а совершенно чужой. И мы соединились в приступе безумного сладострастия, из-за этого еще более яростно и жарко, именно из-за этого сладострастия, которое еще больше и совсем по-иному, нежели ночью, удовлетворило нас. И у нее на груди и все время чувствовал тесно прижатый к моей собственной волосатой груди медальон с портретом ее настоящего возлюбленного, истинного, того, кто был не таким, как все мы остальные. Того, с высоким, благородным лбом. Того, о ком ей должно было свидетельствовать п д Богом.

Потом, зарывшись лицом в подушку, она, дрожа всем телом, разразилась судорожными рыданиями.

Так началась наша любовь. Теперь остается только рассказать, как все было дальше.

Я приходил к ней все снова и снова, прокрадываясь по узкой галерее и наверх по столь же узкой и тускло освещенной лестнице. Маленькими воротами в переулке, насколько я понимал, никто, кроме меня, никогда не пользовался, никто, кроме меня. Фасад дворца — потому что это, и в самом деле, был старинный дворец — выходил на другую сторону, к площади, и там был большой, настоящий вход, которым я остерегался пользоваться. Мой путь был окольным, его никто не знал или не думал, что он существует, мрачная галерея, где пахло каменной кладкой и сыростью, где было так скользко, что можно было поскользнуться на больших оголенных камнях, если не пойдешь достаточно осторожно. Приходилось пробираться вперед, нащупывая рукой стены, с которых капала вода. Если это и не был потайной ход, то теперь он стал таким благодаря мне. И пользовался я им только в темноте, по вечерам, и потом, когда снова возвращался домой и в извилистом переулке был начеку, чтобы никто не увидел меня в церковном облачении в столь нежданный час. Я надеялся, что даже если кто-либо меня и увидит, то подумает, что я возвращаюсь от лежащего на смертном одре больного и принял последнюю робкую исповедь несчастного.

Ничего удивительного в том, что путь к нашей любви был таков; ведь и сама наша любовь была такова. Любовь, страшившаяся света, зыбкая, содержавшаяся любой ценой в тайне от всех, скрытая любовь, вынужденная скрываться в своей мышиной норке, в мышиной норке, которая, разумеется, на самом деле, была роскошным покоем во дворце, но все же норкой. По правде говоря, я никогда больше не видел этой комнаты; не видел по-настоящему, ведь мы не осмеливались зажигать свечу, чтобы не привлекать внимание слуг, которые полагали, что их госпожа погружена в глубокий сон. А оставаться до утра, как в ту первую ночь, когда мы, изнуренные счастьем, заснули в объятиях друг друга, я тоже больше не смел.

Великий головокружительный миг любви прошел, и после пробуждения настали будни страсти, когда любовь питается лишь сама собой, а не подогревается чем-то воистину новым, чтобы вспыхнуть опять. Нас тянуло, да, нас бросало друг к другу наше желание, уже однажды пробудившаяся потребность наших тел друг в друге. Она так изголодалась в своем долгом супружестве со стариком, которому отдалась в дни самой ранней юности — и со своим медальоном на маленькой, все более обвисающей груди! Неудивительно, что она желала наконец-то насытиться, пусть даже не благодаря тому, настоящему, истинно любимому. Пока было еще не поздно. А я, никогда прежде не обнимавший женщины, никогда не прикасавшийся к теплой женской коже и не ощущавшей аромата ее влажных волос, наконец-то, узнал запах этой удивительной самки. И впадал в совершеннейшее безумие, когда вдыхал его, и от желания еще и еще раз услышать его. Ни я, ни она не могли оторваться друг от друга, как ни зыбко было все между нами, и как хорошо ни понимали мы преступность наших отношений. Теперь это поистине был смертный грех, нарушение супружеской верности не только в помыслах, но и осуществление постыднейшим образом, в собственном доме обманутого, да еще духовным отцом вкупе с его духовной дочерью. Грех, который должен был привести в ужас и Бога, и людей, и привести нас обоих к суду и приговору: гореть в геенне огненной. Но, к своему удивлению, я заметил, что это, казалось, только усугубляет жар моего желания, моего сладострастия и делает меня еще более неукротимым и ненасытным.

Что творилось в ее душе, я по-настоящему не знал, хотя, очевидно, и она чувствовала нечто подобное. Но страдала она от этого иначе, чем я, и часто, когда я, удовлетворив свою страсть, отдыхал, я слышал, как она, лежа подле меня в полумраке, тихонько плакала. Иногда она говорила о своем возлюбленном, о том, каков *он*. И как будет ужасно, если он что-нибудь узнает об этом, узнает о нас. То, что ему, человеку женатому, нет до нее дела, что она ему не нужна, она не упоминала. Мне приходилось растолковывать ей это.

Она также говорила, что я ей чужой, совершенно чужой — она постоянно твердила это. Но ведь и она была мне чужой. Ведь я загорелся страстью к ней, ни разу ее не увидев. И потом, ведь она тоже не была такой, какой я рисовал ее в своем воображении, не той, о ком я мечтал, какую представлял себе. Та, о ком я мечтал, была совсем иной,

не такая, что лежала теперь рядом со мной в постели. Так же, как тот, в медальоне у нее на груди, тот ею истинно любимый, был совсем иным, чем я.

Так мы осыпали упреками и ранили друг друга, говорили друг другу жестокие и злые слова. И расставались мы тоже вовсе не так, как расстаются нежно любящие друг друга. Да, пожалуй, как двое любящих, но безо всякой нежности.

Это не мешало нам встречаться все вновь и вновь. Мы оба знали, что нам суждено встречаться.

Наша любовная связь с самого начала была построена на ошибке, фальши и осознанной либо неосознанной лжи даже в большей степени, чем любовь вообще; ведь всякая любовь зиждется на фальши. А будни страсти по-своему честнее и прямодушней потому, что тогда говорят друг другу правду и помогают друг другу, разрушая иллюзии друг друга, пусть часто беспощадно и беззастенчиво. Отношения между двумя людьми становятся более правдивыми и откровенными, когда они более безрадостны. Это может показаться горьким, но, к сожалению, это так.

Наша неискренность все росла, она вынуждала нас все чаще лгать, скрывая то, что было у нас на душе. Просто удивительно, сколько приходится лгать, стоит хоть раз ступить на этот путь, как приходится все продолжать и продолжать лгать, хочешь ты этого или нет, до тех пор, пока не окажешься запутан в беспорядочную сеть обманов и полуправд, с которыми сам не можешь справиться. А как приходится лгать об обыкновенных пустяках и о том, что ничего общего не имеет с сутью дела, с великим, подлинным обманом. Великий исходный обман может быть роковым и трагическим, а мелкая ложь, что он влечет за собой,— жалка и ничтожна.

Мне приходилось лгать, лгать приходилось и ей, каждый из нас лгал по-своему. Я лгал своему старому духовному отцу и собратьям по церковной службе, которые не могли не заметить, как я изменился, становясь все более и более равнодушным к своему призванию и своим обязанностям священника — а прежде всего, конечно, к своей матушке. А она — моя возлюбленная — к своему каждодневному окружению, к своему супругу и к его семье, и к своей собственной семье, к кругу их знакомых. А также и к патеру Бенедикту, ее духовному отцу. Легче всего было ей скрывать это от своего мужа, который, прожив долгую жизнь, когда он ни в чем себе не отказывал, влачил жалкое существование в состоянии телесного и духовного упадка на своей половине старого дворца — которая также состарилась и сильно обветшала, как и он сам. Но о том, что происходило, он мог ведь узнать от других. И под конец это случилось.

Что касается меня, то мне труднее всего было скрывать все от матери. Чтобы она не заметила, как я ухожу по ночам, мне приходилось ждать, пока она не заснет, и тогда, как можно тише, выбираться из дома. Но она, очевидно, обнаружила, что есть основания для подозрений, и бодрствовала, лишь притворяясь, что спит, чтобы следить за мной, за тем, чем я занимаюсь. Когда я под утро возвращался домой, она, как мне казалось, тоже часто бодрствовала; должно быть, и сна на ее долю выпадало совсем немного. Она совала нос во все мои дела, пытаясь вынюхать, что же происходит. И своим материнским чутьем, или как там его называют, она довольно скоро поняла, что со мной случилось и что означают мои ночные прогулки. Она начала меня выспрашивать, задавать коварные, каверзные вопросы, на которые не так-то легко было дать вразумительный ответ. Я старался, как мог, но она не позволяла обмануть себя и поняла, в конце концов, как одно связано с другим.

Тогда она настроилась на то, чтобы разузнать, кто та женщина, что поймала ее замечательного сына в свои дьявольские сети. Не понимаю, как ей это удалось. Она выдала себя тем, что не смогла не выказать своего удивления по поводу того, что эта мерзкая тварь принадлежала к столь знатной семье. Это ничуть не уменьшило ее ненависти к ней, злобного выражения, появившегося на ее старом худом лице, которое я с удивлением заметил. Казалось, будто я раньше не видел это столь знакомое мне лицо. Вообще говоря, я обнаружил у своей матери такие свойства, которые никогда прежде за ней не знавал или же не обращал на них внимания. Должно быть, они были у нее еще раньше, хотя неприятные проявления вовсе не были направлены против меня, так что мне самому они не причинили зла. В таких случаях ведь не очень замечаешь злобу близкого тебе человека.

Теперь же ее гнев обратился в значительной степени также и против меня. Она осыпала меня презрительными насмешками и злобными упреками, более похожими на поношения. Удивительно то, что она не пыталась поговорить со мной начистоту, уговорить меня отступиться от своего страшного греха и отыскать путь обратно к Богу. Может, она на это и надеялась, но не говорила. Видно, не в ее духе было молить и увещевать меня. Она лишь неистовствовала, угрожала и снова неистовствовала, призывая проклятье Божье на мою голову. Казалось, я обманул ее или, вернее, ее Бога в чем-то, украл у него то, что принадлежало ему — а я ведь это и сделал. Ведь она передавала меня, свое дитя — Богу, в его нежные объятия, вместо того, чтобы оставить меня в сво-

их собственных. А теперь я похитил у Бога ее драгоценный дар, так что ему должно было гневаться и на меня, и на нее. Она рисовала мне все муки ада, кои только могут обрушиться на священника, на человека, посвященного Богу, если он изменил своей клятве и стал распутником и виновником нарушения супружеской верности. Хуже этого ничего не может быть, этот грех позволяет дьяволу мучить свою жертву сколько угодно. Она буквально захлебывалась, расписывая, как он будет мучить меня. Она передавала меня дьяволу с той же истовой пылкостью, как прежде Богу, переложила в его объятия, как прежде в объятия Бога. В собственные свои объятия она меня никогда не заключала. Теперь она была столь же бесчеловечна, как и тогда. И я подумал о том, о чем прежде, как ни странно, не думал. Ведь когда я был маленьким, она никогда не обращалась со мной, как с ребенком, как со своим родным, маленьким, совершенно обычным ребенком. Я не мог вспомнить, чтобы она когда-нибудь ласкала меня, гладила по головке или хоть иногда шутила бы со мной, дергала бы меня за ухо, или ущипнула за подбородок или же что-нибудь в этом роде. Я всегда был чем-то особенным, всегда избранником, избранником ее и Бога. Отданный, отданный другому. Господину Всемогущему на потребу ему. Ему уступила она свое единственное дитя.

А теперь она отдала меня дьяволу.

Может, я сам никогда не ласкался к ней. Этого и не помнил. И об этом я, в самом деле, до сих пор не думал. Так что все, быть может, было еще более сложно, чем я себе представлял.

Хотя она ведь и сама не располагала к чему-либо подобному. Да и не думаю, чтобы она к этому стремилась.

Но я-то все-таки мог бы это сделать.

Ее поступки были таковы, что я тоже ожесточился, а под конец и вовсе впал в ярость. Мы неоднократно спорили между собой, и наш прежде столь тихий дом наполнился бранью и ужасными сценами. Конечно, виноваты были мы оба. Но ее взгляды на мое «кошмарное преступление», как она называла это, и на порочное существо, соблазнившее меня, и на всю эту позорную грязную связь между двумя людьми разного пола, были мне столь омерзительны, что я без малейшего сочувствия и сострадания к ней заклеймил ее как низкую и подлую тварь. Я бесконечно презирал ее, не считаясь с тем, что она была мне матерью и что мои чувства к ней были некогда совершенно иными. Напротив, это, я думаю, заставляло меня еще больше лютовать. Все, что касалось ее, представлялось мне ныне равно отвратительным. Моя же склонность видеть только смешное и глупое в ее поведении и высказываниях сделало меня столь же гадким и злобным шпионом, как и она сама. Я не отказывал себе в удовольствии разоблачать ее, и помню еще, какую радость доставляло мне, когда она в разгаре бешеной злобы давала понять, что ей, женщине из небогатой семьи, по-своему льстило, что я, во всяком случае, обманывал Бога со знатной дамой.

Не в силах справиться со мной и не зная, как ей излить свою злобу, она пришла к нашему духовному отцу поговорить с ним и попросить у него совета, как ей поступить. На самом же деле ей не нужен был ни его, ни чей-либо другой совет, она была совершенно не способна прислушаться к нему, она всегда сама точно знала, чего хочет и как ей добиться своего.

Его очень опечалило то, что он услышал. Но когда она пожелала, чтобы он переговорил с кем-либо из моих собратьев саном выше и, стало быть, попросту донес на меня и на мое преступление, он ответил «нет», он решительно отказался это делать. Он был очень привязан ко мне, как и я — к нему, и слишком добросердечен, чтобы так поступить. Он сказал, что я не доверился ему на исповеди, а кроме того, он не желал бы привлекать внимание ко мне, как ни тяжек был мой грех.

Она же считала, что так относиться к столь великому греху — возмутительно и безответственно. Возможно, так оно и было, но он ответил именно так.

Этот столь почитаемый и любимый мной старец часто беседовал со мной, пытаясь повлиять на меня кроткими и мудрыми речами, и заставить меня преодолеть то, что, как он понимал, было страстью, способной поразить также и духовное лицо. Я охотно и смиренно выслушивал его, но это и единственное, что я мог сделать, желая показать, какую преданность и почтение я питаю к нему. Порадовать его по-настоящему я не мог. Я был совершенно бессилен пред лицом овладевшей мной страсти, и выбора у меня не было.

Моя мать заметила, что он потерпел неудачу, и поняла: этот кроткий, непритязательный человек не может сладить со мной и злым духом, овладевшим мной. Тогда она, воспользовавшись его кротостью и слабостью, стала непрерывно твердить ему, чтобы он переговорил обо мне с настоятелем церкви Святого Томаса, который был более всех ответствен за меня и мое поведение. И объяснила ему, что это — его долг. Мало-помалу он, и в самом деле, стал уступать ей, хотя, во всяком случае, продолжал, как и прежде, отказываться. Но в своей ненависти ко мне и страстном желании отомстить

и, как всегда, добиться своего, она продолжала склонять его на свою сторону и ни на минуту не оставляла несчастного старца в покое. Можно было бы спросить самого себя, почему она так усердствовала. Она казалась одержимой, и мне, наконец, стало ясно, какой ужасный человек скрывался под ее внешне столь миролюбивой личиной. Было ясно, что ее уродливая материнская любовь перешла теперь в ненависть; она совсем не считалась с тем, что я ее сын, подобно тому, как я не считался с тем, что она — моя мать. Мы в нашей лютой вражде совершенно походили друг на друга.

В конце концов, старец уступил и взялся за это поручение, которое, как она говорила ему, должно было выполнить, но от которого он все же столь долго и упрямо отказывался.

Потом, увидев результаты своего поступка, он пришел в отчаяние и был совершенно сломлен, хотя всего лишь выполнил свой долг. Мне рассказывали, что потом он повторял все снова и снова: «Не надо выполнять свой долг». И, видимо, это событие состарило его больше, чем многие годы тихой и мирной жизни. Он, видимо, никогда не простил себе самому, что стал его виновником.

Итак, этот поистине добросердечный человек, быть может, один из немногих добрых людей в этом городе, где так много храмов и священников, и верующих, и молящихся, и всякого рода религиозного сброда. И он-то, собственно говоря, и донес на меня, что стало причиной моего падения. Если можно это так назвать.

Теперь события бурно развивались, и судьба моя шла к своему завершению.

Прежде всего я был отстранен от должности, вначале тайно; одновременно мне было запрещено сообщать об этом кому-нибудь. «Но вскоре это станет известно всем»,— утешали меня.

Затем начали — также тайно — допытываться, что же произошло, каким образом возникла связь между мной и той женщиной, и кто свел нас. Здесь пришлось коснуться и многих других весьма щепетильных и роковых вопросов, и патер Бенедикт, высокочтимый, но ловкий и опасный человек, вмешался в ход событий и в значительной степени определил их.

Он посетил свою духовную дочь и чрезвычайно кротко спросил ее, не отягощает ли что-либо ее сердце и не потому ли она столь долго не исповедывалась ему.

Если все обстоит именно так, он охотно выслушает ее и поможет ей примириться с Богом, потому что она очень дорога ему и он знает, сколь тяжело не иметь никого, кому можно довериться, какой это вызывает страх и беспокойство.

Более мудро воззвать к ней было бы невозможно, ибо на сердце у нее, в самом деле, было тяжко, и как раз по этой самой причине. Истинно верующая, она потому и чувствовала себя несчастной и была взволнована тем, что тяготило ее, расстроена своим далеко не праведным отношением к Богу, хотя она испытывала неприязнь к духовному отцу своей семьи и почти боялась его, она все же почувствовала словно бы некоторое облегчение, получив возможность поговорить хоть с кем-нибудь о том, что страшило ее. И пала жертвой его приобретенного в ходе долгой жизни искусства духовного наставника в тех кругах, к которым он принадлежал и где чувствовал себя как дома, так же, как и она. Он был великим знатоком людей, в особенности, их пороков и слабостей, в которых он прекрасно и, быть может, даже глубоко разбирался, но вовсе не всегда судил их неподкупно строго. Судил так, как подсказывали ему обстоятельства. Он был прозорлив и не всегда верил, что дело обстоит именно так, как ему говорят.

Постепенно он выудил у нее все.

Так он узнал, что она исповедовалась мне в церкви Святого Томаса и что наша связь возникла именно таким образом. Прижатая к стенке, хотя он все время говорил с ней чрезвычайно мягким голосом,— она призналась, что преступное чувство между нами возникло во время самой исповеди. И что я даже воспользовался этим, чтобы сблизиться с нею и подготовить почву для того, чтобы совратить ее. Что в конце концов я стал преследовать ее по дороге домой из церкви, проник в ее дворец вместе с ней, чтобы осуществить свои намерения.

После этого она оказалась связана со мной преступным желанием, непреодолимой страстью, в чем откровенно хочет признаться; она знает, что это — смертный грех, который ввергнет ее в геенну огненную. Она должна облегчить свое сердце и признаться во всем. Она, грешная и пропащая, готова броситься в объятия Бога и его святой церкви, это единственное, как теперь она понимает, единственное, что ей остается сделать. И если, быть может, на свете существует искупление грехов, покаяние, столь суровое, что могло бы спасти ее от вечной кары, вырвать ее из тисков ада, то она с искренней благодарностью желала бы покаяться. Но она не верит, что искупление грехов существует.

Обо всем этом я узнал на допросе, учиненном мне пред лицом консистории и приведшим к тому, что у меня окончательно отняли мою должность, отлучили от святых таинств и навечно запретили церковное служение.

Нет нужды говорить о том, как страшно я был потрясен не тем, что лишен церковного сана, изгнан, исключен, а тем, как она оболгала меня. Себя и меня, наше слияние воедино. Особо сильно я был потрясен тем, что она очернила ту священную ночь любви, которую мы пережили вместе и которая осталась для меня величайшим чудом на свете. А разве это не так?

Вполне вероятно, что она всего этого не говорила, они ведь могли преувеличить ее обвинения против меня и исказить ее описание того, что произошло. Я не мог быть уверен в этом до конца, так как был совершенно лишен возможности дальнейших встреч с ней. В основном, все было довольно достоверно и более чем достаточно для того, чтобы преисполнить меня ужасным отвращением. Я оставил консисторию и мое высокочтимое начальство в состоянии глубокого возмущения, бешенства и презрения.

Наиболее склонен был судить меня строгим судом патер Бенедикт, это он доложил обо всем рассказанном ею на исповеди. Его отношение ко мне было далеко не доброжелательно, думаю даже, что он был оскорблен. Ведь она, вместо того чтобы обратиться к нему, исповедовалась мне, никому не известному священнику в маленькой, незначительной церкви Святого Томаса. Он ведь ничего не знал о причине, побудившей ее так поступить; она не упомянула о ней в своей исповеди. Своего истинного возлюбленного она не раскрыла. Раскрыла только меня.

Зато он и не судил ее столь сурово. Возможно, оттого, что она была из знатной семьи, и оттого, что он хорошо знал особенности ее характера и все ее исполненное фантазии существо. Они часто то забавляли, то беспокоили его. И, как он понимал, легко могли заставить ее сбиться с пути, если ее предоставить самой себе или во власть какой-либо особы в достаточной степени беззастенчивой, чтобы воспользоваться этим. Тем самым он намекнул, разумеется, на меня, присоединившись целиком к ее собственному мнению, будто ее соблазнили. То, что я во время всего допроса ни единым словом не защитил себя, конечно, удивило кое-кого, но тем не менее, только еще больше способствовало тому, что вину мою почли полностью доказанной. И, конечно, так оно и было.

Много позже от патера Бенедикта, своего духовного отца, супруг ее узнал, в чем она провинилась. И изобразил патер это, разумеется, в самом выгодном для нее свете, в каком только можно себе представить. Между патером и его духовным сыном, должно быть, нередко бывали весьма своеобразные предметы бесед. Первый конфиденциально, понимающе и снисходительно, а порой и не без удовольствия выслушивал рассказы другого о его долгой греховной жизни. Говорили, будто на бледном, с жирными складками лице этого знатного старика, которого легко было взволновать, тут же появлялось веселое выражение, а на обвисших слюнявых губах — косая улыбочка. Но это не помешало старику за бесчестье, которое жена нанесла всему семейству и ему лично как главе рода, приказать запереть ее в комнате и замуровать потайной ход, который, как обнаружили, был путем к осуществлению ее и моего, нашего общего, преступления. Таким образом, не избежала кары и она.

Позднее она, видимо, покинула свою тюрьму, если ее можно так назвать, чтобы совершить паломничество, к которому ее приговорили и которое она всем сердцем жаждала совершить. Так я слышал. В этом городе мне более не довелось побывать.

Моя отставка и повод к ней стали, как и предупреждали меня, притчей во языцех. Легко понять, какой переполох должен был подняться в таком городке, где церковь и духовенство играли столь большую роль и были предметом всеобщего интереса. Священник и женщина из одного из самых знатных, самых высокопоставленных семейств! И женщина к тому же замужняя! То было нечто неслыханное, и все обрушились на меня, священника-соблазнителя. Весь этот благочестивый городок ополчился против меня, и я стал предметом всеобщего отвращения, глубочайшего презрения. Я не мог выйти на улицу без того, чтобы мне в след не выкликали бранных слов, грубых прозвищ, изобретенных с недюжинной выдумкой, а дети кидали в меня камнями. Находились в городе даже такие, кто плевал мне в лицо либо пытался это сделать. Собрат по церкви Святого Томаса, одних со мной лет, поступил так, и это ему, в самом деле, удалось, что, казалось, принесло ему большое удовлетворение. Они охотились за мной, травили, словно стая паршивых бешеных собак. Меня преследовали, стоило мне показаться на улице, а дома занималась этим — моя злобная, неистовая мать. Повсюду, повсюду они преследовали меня!

Злобное животное — человек — вошел в раж.

Под конец я не выдержал. Я покинул город, покинул свою мать и дом Распятого на кресте, исполненный отвращения ко всему на свете.

Последнее, что я видел, были клочья ее косматых седых волос, падавшие на впалые виски и глаза, столь обезумевшие, что мне было почти страшно на нее смотреть. Но я,

разумеется, не знал, каковы были собственные мои глаза, их и видеть не мог. Но она, вероятно, их видела.

Вот так в конце концов и очутился я на этом судне, где, в общем, прижился, где жизнь груба, жестока и кровава, но, по крайней мере, не фальшива. Я свыкся с жизнью в море, бескрайнем море, которое равнодушно ко всему на свете, которому нет дела ни до чего, ни до дьявола, ни до Бога. Море бесчеловечно — и это можно принять, это должно прийтись по душе тому, кто познал людей. А проститутки в гавани, которые не выдают себя за других, а лишь за тех, кто они есть на самом деле, прекрасно удовлетворяют меня своей искушенной и честной любовью.

Ты выслушал все про мою жизнь и можешь судить меня, как пожелаешь.

Он умолк. Оба они молча лежали в звездной ночи. Ни одна волна не билась о борт, со всех сторон простиралось темное, но совершенно спокойное море.

Душа Товия была в смятении, единственная в полном покое, царившем повсюду. Услышанный им рассказ занимал его мысли, поглотил его целиком и до глубины души взволновал его своей горечью.

Погруженный в грустные мысли, он услыхал отрывистый, негромкий смех Джованни, смех, показавшийся ему совершенно неуместным.

Слегка приподнявшись на локте, он увидел, что Джованни сделал то же самое и что-то ищет ощупью на своей волосатой груди. Наконец, он нашел то, что искал. Это был медальон — совсем простой, плоский медальон, вероятно, серебряный. Он казался совсем маленьким в его большой огрубевшей руке.

Товий понял, что это *ее* медальон. И в ответ на его вопрос Джованни утвердительно кивнул головой. Слишком толстым большим пальцем ему нелегко было открыть его, но через некоторое время это удалось и он приподнял медальон к звездному свету, достаточному, чтобы увидеть. И показал медальон Товию.

Медальон был пуст.

Он рассказал, что ему удалось украсть его у нее в последний раз, когда они были вместе, когда у него уже было предчувствие, что все, верно, скоро, кончится. Он не пытался рвануть его к себе насильно; это могло бы привести к тому, что они соединились бы в жарком объятии, как в тот раз в начале их связи, хотя это было маловероятно. Он просто украл его у нее, и она ничего не заметила. Украл, чтобы взглянуть, кого она на самом деле любила, чтобы похитить у нее под конец ее тайну.

Оставшись один, после того как расстался с ней, как позднее выяснилось, в последний раз, он открыл медальон и увидел, что он пуст.

Ее настоящего возлюбленного не существовало. Того — не такого, как все, с высоким и благородным лбом, того, о котором ей должно было свидетельствовать пред Богом. Его не существовало, не существовало никогда.

Он слышал, что она впала в страшнейшее отчаяние, верно, была совершенно сломлена оттого, что обнаружила пропажу.

Вероятно, она так никогда и не поняла, как потеряла медальон, скорее всего думала, что обронила.

Но портрет возлюбленного был утрачен навсегда.

Они снова некоторое время лежали молча. Лежали рядом, не видя друг друга.

— А что было с ней потом? — негромко спросил Товий.— Ты что-нибудь знаешь о ней? Может, она еще жива?

— Нет, она давным-давно умерла. Умерла во время того самого паломничества, о котором я говорил.

— Так. А что это было за паломничество? Куда?

— В Святую землю.

— О... вот оно что.

— Да. Но она так туда и не добралась. Она умерла в тот самый миг, когда паломники увидели сушу; так я слышал.

— Так... она туда не добралась. К тому же еще и это...

— Нет.

Скрестив руки на груди, Товий глянул на пламенеющее звездное небо.

Она так туда и не добралась... Так и не добралась...

Он лежал, думая о самом возвышенном, самом святом, что только бывает в жизни. Что оно, вероятно, существует только как мечта, что оно, быть может, не выносит действительности, пробуждения. Но все же существует. Что существует совершенная любовь, и Святая земля существует, только мы не можем их достигнуть. Что мы, быть может, только на пути туда. Мы только — пилигримы в море.

Но море — не все на свете, так быть не может. Должно существовать что-то и по ту сторону моря, должна существовать также некая страна по ту сторону огромного

пустынного пространства и огромной бездны, равнодушной ко всему, страна, которой мы не можем достигнуть, но куда мы плывем, несмотря ни на что.

И он подумал о том, как Джованни спрятал этот медальон, хранил его, никогда не расставался с ним, всегда носил на груди, несмотря на то что он пустой. А не будь он таким, в нем был бы заключен другой портрет. И все же он всегда носил его на груди. Так, как носила его всегда на груди она, у самого сердца.

Что же это за драгоценная вещь, вещь, которую всегда носят у самого сердца.

Хотя медальон был пуст.

Так лежал он и думал, скрестив руки на груди и устремив взгляд к сверкающим звездам. А судно, меж тем, незаметно скользило по бескрайнему морю, плыло куда-то вперед, безо всякой цели.

Перевела со шведского

Л. БРАУДЕ

Нинель ТРЕЙГЕР



Cadran solaire на Меншиковом доме...
А. Ахматова

«*Cadran solaire*[1] на Меншиковом
доме...»
О эта акварельная строка,
Как будто ничего не надо, кроме
Прозрачности щемящей —
так легка;

«*Cadran solaire* на Меншиковом
доме...»
И это было — сорок первый, март!
И, значит,— было чуть за пятьдесят
Той женщине (по Дантовым влекомой
Кругам — еще ей бездны предстоят...)

И было — будто вечность лет назад!

«*Cadran solaire*» — и тот же тихий свет,
Голубизна небес и вод туманность,
Их равнозначных «слайдов»
постоянность,
Но не подобье (повторенья нет;
А ныне потускневшую багряность
Сменил на доме тускло-желтый цвет...)

Но если мимо еду или если
Иду я мимо — и свободен взгляд,—
Чуть запрокинув голову назад,
Все посмотрю: «*cadran solaire*» —
на месте...

И дом, и вид Невы, и Ленинград...



Недалеко от дома Блока
Живут —
ни близко ни далеко,
Живут —
ни высоко ни низко...

О, ленинградская прописка,
Где все возвышенное —
близко!



И небеса туманны и печальны,
И две Невы в молчании струятся,
И девы от колонн своих Ростральных,
Крылатые, не в силах оторваться...

[1] Солнечные часы.



...Тревога без причины всякой?
И все же — эря или не зря
На горизонте Исаакий,
Как голова богатыря?



А в реке Фонтанке
Темная вода...
Здание охранки.
Ныне — горсуда...



Большое горе — молчаливо,
Большое счастье — молчаливо,
И, значит,— уйму слов красивых
Рождают лишь полутона?
Большое горе — безысходно,
Большое счастье — первородно,
И Музе как-то несвободно,
Что вроде лишняя она...

...Так что же, в этом разуменьи,
В пыланьи чьем-то и гореньи,
Среди пучин стихотворений
Из нынешних увидим книг?
Что — тьфу! — у нас нечасто горе,
А счастье — счастье реже вдвое,
И потому-то все живое
Мечтает обрести язык...



Что за цифра такая злая!
Если в тридцать седьмом убивали,
Тридцати семи — убивали,
В тридцать семь — едва не убили,
Но сейчас я почти живу;

Потому ни жива не мертва ли,
Что и в тридцать седьмом убивали,
Тридцати семи — убивали,
Да и эти месяцы были
Не во сне со мной — наяву...

А, быть может, живу я просто
Потому, что поменьше ростом:
Не ломает ветер траву
И у самого края погоста...



Все в прошлом.
Я уже пережила
Еще не наступивший август даже,
Как будто это я с тобой была,
Бежала, загорелая, по пляжу.

Но если это и пережила
Небывшее —
с такою зримой силой,
Какая жизнь меня бы ни ждала,
В моей прошедшей
это все же *было*.

Ведь не дано заранее узнать,
Что
перед некой смертною страницей
В последний миг мы будем вспоминать:
Что было в жизни
или то, что снится...

✦ ✦ ✦

«Навсегда ушло»...
Какие слова!
На твоем плече мои голова,
Бродят тени холодные под потолком,
И пропахла рубашка твои табаком;

А фланель рубашки тепла и мягка,
И сереет небритым твоя щека,
И очерчен рот, и молчим давно,
И родимое смутно темнеет пятно...

Это родина, это ушедший мой дом.
Я себя отрываю от них с трудом.
От тебя; от кровного —
в прошлом — тебя.
И навеки безродна, бездомна я.

Роман РУГИН

Узелок

На протяжении веков,
Живя среди лесных просторов,
Народ мой не знавал замков,
Не ладил на дверях запоров.
Лишь немудреный узелок
Из ремешка или веревки
Был как единственный залог:
В дом не войти лисе-воровке.

Голодный одичавший пес
Или разбойница-ворона
В амбар и в дом не сунут нос:
От всех надежна оборона.
А человек? И речь вести
Не стоит здесь о человеке:
Без спроса в дом чужой войти —
Такого не было вовеки.

Вот так, друзья, народ мой жил
В глуши таежного урмана:
С природой знался и дружил,
Не знал ни кражи, ни обмана.

Чиста душа его была:
Хоть горе горькое знавала —
На ближних не таила зла,
Обиды быстро забывала.

Какой пришелец, в день какой
Впервые, ни во что не веря,
Рванул бестрепетной рукой
Тот узелок на бедной двери?
Народ опомниться не смог,
Стал недоверчив и невесел —
И двери запер на замок,
И на душе замок повесил.

Замкнулись земляки мои —
Так запирают по тревоге
Напуганные муравьи
В свой муравейник все дороги.
Куда ни глянь теперь — замки,
Замки — железное проклятье.
Что станем делать, земляки?
Смогу ли вас расколдовать и?

Сны

Сны пересказать — не хватит слов!
С давних пор до нынешнего века
Столько люди повидали снов —
То-то накопилась фильмотека!

Там любой мечте открыт простор,
Все возможно, все осуществимо.
Кто-то, может, с предками костер
Жег во сне — и щурился от дыма.

Кто-то шел на лыжах по тайге,
Кто-то видел, сам себе не веря,
Рыбу дивную — на остроге
И в силках — диковинного зверя.

Улыбался — помню я — сквозь сон
Тот, кто одиноко жил, печалясь:
Видел, как друзья со всех сторон
На высоких нартах в гости мчались.

А иному было суждено —
Это ли не чудо, в самом деле? —
Видеть тех, что умерли давно
И в земле до косточки истлели.

С ними говорил он, ел и пил,
Воевал с подземными чертями
И оленей резвых торопил
Снежными таежными путями.

Никакой для снов преграды нет,
Никакого камня преткновенья;
Сотни верст или десятки лет
Пролетают за одно мгновенье.

Если б мог я так же утешать
Всех несчастных, горем удрученных,
Хоть на время мертвых воскрешать,
Радовать свиданьем разлученных!

Я мечтаю, отходя ко сну:
Вдруг на этот раз свершится чудо —
Ухвачу волшебную струну,
Ключ волшебный вынесу оттуда?

Час воспоминаний

Теперь все чаще в прошлое гляжу.
Оно — мое: не выдаст, не обманет.
Подобно будущему — миражу,—
Не отуманит и не одурманит.
В нем все конкретно, зримо и земно́:
Тень черной лодки, влажных листьев
шорох
И видное за десять верст окно,
Горящее в ночных обских просторах.

Судьбу, как сеть, я плел,
не торопясь,
И вот, ее в руках перебирая,
Я в каждой нитке ощущаю связь
Со всей судьбой отеческого края.
Ему вся жизнь до капли отдана,
Ему — стихов созвучия и краски.
Коль вышло бледно — что ж, моя вина:
Я пел, как мог. Но пел не по указке!

Знавал и радость я в моем краю,
И горе знал, и шторм, и гром
небесный,
И душу онемевшую свою
Спасал не раз уже над самой бездной.
Но я не лил тогда напрасных слез,
Старался разобраться понемножку:
Где сеть моя пошла наперекос?
Где допустил я глупость и оплошку?

Имел врагов. Терпел их до поры:
Как без врагов прожить на этом
свете?
И уходил от них — так осетры
Рвут под водой капроновые сети.
Я путы рвал, спасаясь от беды,
И только после чувствовал: о боже —
Глубокие, горящие следы
Теперь навек на сердце и на коже.

Бывало всякое в моей судьбе.
Но хватит жалость вызывать к себе!
За все вознагражден я был бы щедро,
Когда бы точно знал, что проросли
Мои напевы в глубь родной земли
Надежно, крепко —
Словно корни кедра!

Перевел с ханты Илья ФОНЯКОВ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Андрей ПОХМЕЛКИН
Виктор ПОХМЕЛКИН

БЛЕСК И НИЩЕТА ИДЕОЛОГИИ

Переживаемое нами время породило поистине бурный интерес к проблемам идеологии, в которых так или иначе отражаются основные общественные противоречия. Сумбур в головах и пустота на магазинных полках в равной степени питают растущую социальную напряженность. Не случайно в ряду обвинений, предъявляемых инициаторам нынешней перестройки, вслед за «развалом экономики» идет «развал идеологии». Не беремся судить, насколько обоснованно первое обвинение, но второе явно несостоятельно, какой бы смысл в него ни вкладывался. Если имеется в виду официально исповедуемая «коммунистическая идеология», представляющая собой набор псевдомарксистских догм, освящающих устои тоталитарного режима, то она, несмотря на некоторое потускнение ореола «научности», по-прежнему исправно выполняет свою охранительную функцию. Во всяком случае о нее спотыкается почти каждый новый закон, принимаемый Верховным Советом СССР, не говоря уже о практическом претворении этих законов в жизнь. Что же касается идеологической сферы в целом, то в нашем обществе она только сейчас и начинает свое естественное развитие через формирование и конкуренцию взглядов и идей, выражающих интересы различных социальных групп.

Какой уж там «развал» или «кризис» идеологии, когда идеологическая жизнь в стране просто бьет ключом. В недрах КПСС родилось три только официально провозглашенных идеологических направления. Каждая из новых, растущих как грибы, партий не без оснований озабочена выработкой своей идеологической платформы. Не прекращается, хотя и потеряла остроту и пикантность на фоне всеобщей политизации, «журнальная война», идеологическую подоплеку которой так и не удалось скрыть за разговорами о групповых пристрастиях. В подтверждение тому раскололся писательский союз по причинам отнюдь не литературного свойства. Ярко выраженную идеологическую окраску имеют нескончаемые споры по экономическим и правовым вопросам. А все чаще раздающиеся призывы к деидеологизации государства и общества лишь подливают масла в огонь идеологических баталий.

Поскольку влияние идеологии на общественные процессы чрезвычайно велико, а серьезными исследованиями в этой области мы явно не избалованы, возьмем на себя смелость предложить свою версию того, что же представляет собой данный феномен общественной жизни, поглотивший внутренний мир советского человека.

Царица или служанка?

Как бы разительно ни отличались взгляды на природу и функции идеологии, исходный пункт — ее принадлежность к интеллектуально-волевой сфере человеческой жизнедеятельности — разногласий не вызывает. Однако уже самые первые попытки установить место и роль идеологии в структуре общественного сознания наталкиваются на серьезные трудности. Нередко встречающееся понимание ее как особой формы общественного сознания неизбежно пасует перед проблемой определения ее специфического предмета и соотношения с другими формами отражения общественного бытия. Довольно скоро выясняется, что идеологии «есть дело» фактически до любой более или менее значимой области социальной действительности. А вместе с тем «идеологический компонент» легко обнаруживается в политическом, правовом, нравственном, религиозном и даже эстетическом сознании.

Эта всеядность и кажущаяся универсальность идеологии поневоле заставляет рассматривать ее в качестве мировоззренческой, теоретической стороны общественного сознания в целом. И тогда под идеологией понимают «совокупность идей и взглядов, отражающих в теоретической более или менее систематизированной форме отношения людей к окружающей действительности и друг к другу и служащих закреплению и развитию этих отношений»[1]. Иначе говоря, идеология схватывает, наряду с общественной психологией, все основные формы духовной жизни общества, образуя их идейно-теоретический слой, своего рода верхний этаж.

Именно такая точка зрения приобрела господствующее положение в советском обществоведении. Несмотря на то, что она имеет своего антипода — представление

[1] См.: Медведев Р. Идеология и политика в советском обществе. // Коммунист. 1990. № 7. С. 23.

об идеологии как о ложном, иллюзорном, извращенном сознании, оторванном от объективных закономерностей и на деле обслуживающим эгоистические интересы отдельных социальных групп, которые, как правило, играют реакционную роль в общественно-политическом процессе. Конечно, для многих наших сограждан, приученных жить в царстве идеологии и вынужденных принимать определенное идеологическое «подданство», подобная постановка вопроса кажется неприемлемой. Но не будем забывать, что презрительное отношение к идеологии как и таковой не раз высказывали основоположники марксизма, идеям которых мы привыкли (большей частью слепо) присягать на верность.

Итак: царица или служанка? Властительница помыслов и поступков или жалкий образчик ограниченности склонного к заблуждениям и одновременно зараженного утилитарным практицизмом человеческого мышления?

Выбирать одну из двух крайностей — занятие, как известно, неблагодарное. Вряд ли мы приблизимся к истине, если, вопреки азам диалектики, станем продолжать прямолинейно сталкивать противоположные подходы, каждый из которых отчасти правомерен, но будучи доведенным до логического завершения ведет в теоретический и практический тупик.

Поминая идеологию к месту и не к месту, о ней часто забывают как раз там, где кроются ее корни. Обычно при анализе структуры общественного сознания с точки зрения глубины и адекватности отражения в нем общественных реалий выделяют два уровня: обыденное (массовое, эмпирическое) и научное (теоретическое, рациональное) сознание. Первое характеризуется как эмоционально-рассудочный способ освоения окружающей действительности. Нехитрая логика обыденного сознания, основанная на так называемом «здравом смысле», служит достаточно надежным ориентиром в житейской повседневности. Но имея дело главным образом с внешними проявлениями общественных процессов, она не способна проникнуть в их сущность, подняться до понимания глубинных социальных противоречий и закономерностей. Последнюю функцию как раз выполняет сознание научное.

Можно ли вписать в эту схему, не расширяя ее рамок, те или иные идеологические воззрения? К какому из приведенных уровней следует отнести, например, классовое сознание, которое традиционно считается основным носителем идеологии? Если и обыденному, то как это совместить с вырабатываемыми классовым сознанием серьезными идеями, многие из которых доказывают свою теоретическую и практическую значимость. Называть же его в полной мере научным мешает не только объективная социальная ограниченность, но и резко бросающееся в глаза паразитирование идеологии любого класса на предрассудках и стереотипах, заимствованных из обыденного сознания.

Уже эти достаточно простые рассуждения приводят к мысли: коль скоро идеология содержит в себе элементы как массового, так и теоретического сознания, то в действительности она не принадлежит ни тому, ни другому. Рискнем предположить, что идеология образует относительно самостоятельный пласт общественного сознания, занимающий «срединное», промежуточное положение между его обыденным и научным уровнями. Специфика идеологии заключается в том, что она дает людям понимание их социальных интересов, осознание своей принадлежности к определенным социальным общностям (классам, внутри- и межклассовым группам, нациям и т. п.).

В отличие от обыденного сознания, не способного разобраться в сути и хитросплетениях многообразных социальных связей, идеология выступает продуктом отражения объективных противоречий и тенденций функционирования общества и его отдельных институтов. Но идеологическое осмысление социальных процессов всегда происходит под определенным потребностно-ценностным углом зрения. Важнейшая функция идеологии — выражение и идейное обоснование интересов конкретных социальных общностей. Поэтому она непременно включает в себя систему установок, императивных требований к поведению людей. Тем самым идеология распространяет свое воздействие не только на интеллектуальную, но и на волевую, регулирующую сторону общественного сознания. Она формулирует цели, идеалы, ценностные ориентации, а также определяет способы и средства их утверждения и реализации [1].

Идеологии чужд примитивный прагматизм эмпирического сознания. Выражая в конечном счете интересы тех или иных социальных групп, идеологические взгляды на общественное устройство обосновываются не столько практической пользой, сколько прежде всего их соответствием сформированным идеалам и ценностям. Не случайно идеологи оперируют в основном оценочными категориями, не забывая, однако, придавать им нужную социальную направленность. Какое только идеологическое течение ни привлекало на свою сторону идею справедливости, кото-

[1] С этой точки зрения, идеологический диктат не сводится к воздействию извне, он нередко бывает внутренним, когда поведение человека подчиняется усвоенным им идеологическим установкам.

рая, по меткому высказыванию Энгельса, всегда служила «идеологизированным, вознесенным на небеса выражением существующих экономических отношений либо с их консервативной, либо с их революционной стороны».

Между тем именно в силу отмеченных особенностей никакая идеология не в состоянии «дотянуть» до уровня науки. Для этого ей попросту не хватает объективности, беспристрастности, широты взгляда. Подлинная наука об обществе не знает ничего святого, раз и навсегда установленного и незыблемого, никаких идеалов и принципов, которыми нельзя было бы поступиться ради истины. Тем более, что за этими принципами и идеалами научное сознание без особого труда находит групповые интересы, которые оно в свою очередь строго соотносит с закономерностями общественного развития.

К сожалению, даже в сравнительно недавно опубликованных работах с завидным постоянством утверждается, что общественные науки не могут быть свободны от идеологии, классового подхода, принципа партийности. Верно здесь лишь то, что не может быть свободным от господствующей идеологии ученый, работающий в предельно идеологизированной среде, вынужденный послушно выполнять директивы политических органов. Идеологизация науки — свидетельство ее стагнации, лакейского перерождения, яркое проявление антидемократической организации политической власти.

Наука и идеология — относительно самостоятельные, принципиально не сводимые друг к другу уровни общественного сознания. Идеология может выступать только в качестве одного из объектов научного познания и одного из средств практического воплощения в жизнь положений науки об обществе, но никак не в роли инструментария научного исследования и тем более его методологической основы. Для ученого высшей ценностью является истина, для идеолога — отстаиваемые им корпоративные интересы. Подлинная наука все подвергает сомнению, последовательная идеология подвергает сомнениям все, что противоречит ее исходным постулатам. Главное для науки противоречие между истинным и ложным в идеологической плоскости трансформируется в противоречие между «полезным» и «вредным», «своим» и «чужим». Наука убеждает фактами и доводами, обращенными к разуму. Идеология же воздействует на сознание людей, апеллируя к авторитету («партия указала»), корпоративной морали, наконец к силе и страху («кто не с нами, тот против нас», «если враг не сдается, его уничтожают»).

Вот почему нам представляется бессмысленным говорить о научности какой-либо одной идеологии и ненаучности другой. Любая идеология опирается на науку, но лишь в той мере, в какой научные знания не посягают на основополагающие идеологические ценности. Наука, базирующаяся на диалектической методологии, требует периодического обновления идеологии под влиянием меняющихся жизненных условий. Однако такое обновление возможно до тех пор, пока оно не ставит под угрозу коренные интересы соответствующего социального субъекта. Поэтому степень научности идеологии определяется отнюдь не талантливостью и гибкостью ее жрецов, а тем, насколько правдивые научные знания отвечают интересам данной социальной общности.

Осмысление феномена идеологии предполагает преодоление крайностей в понимании ее природы и значения. Идеологию можно не любить, но ее нельзя отменить, договорившись жить по общечеловеческим нравственным законам. Она — объективно обусловленная и необходимая форма духовной жизни социально неоднородного общества. Идеологию можно презирать, но с ней нельзя не считаться, поскольку она берет на себя роль популяризатора экономических и политических теорий, помогая последним овладеть массами и тем самым стать практической силой. Идеологии можно бояться, но нельзя не учитывать, что идеологическая борьба, протекающая в цивилизованных формах, служит не только средством достижения баланса различных социальных интересов, но и одним из источников социально-политического и духовного прогресса.

И вместе с тем любая идеология в силу своей природы имеет «врожденные пороки», которые при неблагоприятных условиях довольно интенсивно развиваются в острые и хронические «болезни». К их числу следует прежде всего отнести односторонность и ограниченность, имеющие социальные и гносеологические корни.

Идеология «обречена» на утверждение примата корпоративного (группового) над индивидуальным (личностным) и общесоциальным. Интересы индивида и общечеловеческие ценности признаются идеологией лишь постольку, поскольку они не противоречат интересам и ценностям данного класса, партии и т. п. Идеологизированное сознание способно примириться с тем или иным общественным явлением лишь в том случае, если это явление удается втиснуть в «прокрустово ложе» идейных стереотипов, отражающих социальную или национальную ограниченность. Тогда на свет появляются такие противоестественные понятия, как «пролетарский гуманизм», «революционная законность», «социалистический реализм», «планово-рыночная экономика». В приведенных словосочетаниях основную смысловую нагрузку несут прилага-

тельные, фиксирующие неполноту, урезанность обозначаемых с их помощью существительных, а то и переход последних в свою противоположность.

Идеологию мало интересует конкретный человек с его собственным внутренним миром и индивидуальными особенностями. С идеологической точки зрения индивид рассматривается лишь как член «своей» или «чужой» социальной общности, как носитель «правильных» или «чуждых» взглядов. Поэтому, кстати, господство идеологии губительно для искусства, науки и других видов творческой деятельности, которые могут нормально развиваться только в условиях ярко выраженного личностного начала.

Нет и не может быть как сугубо индивидуальной, так и общечеловеческой идеологии. Ни одна идеология не в состоянии подняться до единичного или углубиться до всеобщего. Ее удел — особенное.

Существенно ограничены и познавательные возможности идеологии. Идеологический подход так или иначе утилитаризирует, «спрямляет» процесс познания, вырывает и абсолютизирует отдельные стороны общественных противоречий. В связи с этим вряд ли стоит оценивать идеологию с точки зрения ее истинности. Говорить об истинности или ложности идеологии следует с большой долей условности, имея в виду лишь то, насколько адекватно она выражает интересы определенной социальной группы.

Подобно тому, как человек, не желающий примириться со своими объективными недостатками, пытается всячески замаскировать их, идеология не может смириться со своей естественной ограниченностью и упорно стремится если не преодолеть ее, то по крайней мере закамуфлировать. Отсюда присущие ей в большей или меньшей степени «комплексы неполноценности» и «экспансионизм», в подоплеке которых лежит «тяга» конкретной социальной общности к максимальной реализации своих интересов.

В целях завоевания массового сознания, привлечения на свою сторону широких социальных слоев идеология начинает рядиться в тогу науки. При этом конкретная идеология объявляется единственно научной, а одновременно происходит массированная идеологизация научно-исследовательской деятельности. В итоге наука выхолащивается, а сама идеология обескровливается, лишаясь единственно надежного гносеологического источника.

Но удивительная способность идеологии к мимикрии проявляется и в том, что для наступления на сохраняющее независимость рубежи научного мышления она использует в качестве плацдарма массовое сознание, спекулируя на его заблуждениях и возводя в ранг идеалов его стойкие стереотипы. В споре с «высоколобыми интеллектуалами» у идеолога всегда в запасе «решающий довод» — обращение к общественному мнению и «здравому смыслу». В последнее время часто приходится слышать охранительно-идеологические возгласы о том, что «народ не поймет», «трудящиеся не примут» предлагаемые учеными рациональные меры реформирования общества. И при всей откровенной демагогичности подобных приемов ведения полемики они нередко достигают успеха. Ведь что ни говори, идеология по своему статусу ближе и понятнее обыденному сознанию, чем наука. Однако выполняемая идеологией миссия выразительницы общественного мнения не столь однозначно почетна, как кажется на первый взгляд. Гегель полагал, что общественное мнение заслуживает «как уважения, так и презрения; последнего оно заслуживает со стороны конкретного сознания и высказывания, а первого — со стороны своей сущностной основы, которая проникает в это конкретное лишь более или менее помутненными лучами». Беда в том, что идеология, борющаяся за господство над умами людей, предпочитает не столько опираться на эту сущностную основу, настоящий здравый смысл массового общественного сознания, а заимствовать, консервировать и подогревать его предрассудки и мифы.

Стремление преодолеть практическую ограниченность ведет к экспансии идеологии в чужеродные для нее сферы общественной жизни, к попытке установления своей власти над всеми материальными и духовными формами деятельности людей. Если в обществе возобладала монополия одной идеологии, то остановить процесс идеологической экспансии невозможно. Предохранить от нее могут только условия идейного и политического плюрализма.

Подверженность догматизации и перерождению как черта идеологии непосредственно связана с ее ограниченностью и чрезмерными претензиями. Идеология не может быть объяснена сама из себя, ей постоянно не хватает корректных аргументов. Но одновременно она призвана убеждать и консолидировать значительное число людей. Поэтому идеология ищет опору в вере (не случайно длительное время идеология существовала исключительно в религиозной оболочке). А именно вера, некритическое восприятие идей образует фундамент догматизма.

Кроме того, идеология продуцирует институты и учреждения, предназначенные для ее культивирования и распространения. Однако, сформировавшись, эти образования неизбежно приобретают собственные интересы, не совпадающие с интересами тех социальных групп и слоев, чью идеологию они должны исповедовать. В результате происходит постепенное перерождение идеологии, которая отрывается от своих социально-классовых корней и всецело подчиняется интересам бюрократии.

Мы понимаем, что многие из приведенных выше соображений носят несколько рафинированный характер. В первую очередь это относится к взаимовлиянию идеологии и социальных интересов. Отношения между ними, механизм идеологического оформления социального интереса тем сложнее, чем многообразнее и сложнее социальные связи в обществе. В то же время думаем, что уже из сказанного ясна внутренняя противоречивость идеологии и неоднозначность той роли, которую она играет на общественной сцене.

Противоречивая природа идеологии, пожалуй, полнее всего раскрывается через противоречие между ее познавательной и ценностно-ориентационной функциями. По существу это извечное проклятие идеологии — разрываться между интересом и истиной. Оторвавшись от интереса, идея гибнет, оторвавшись от истины, способна погубить общество.

Не менее драматично противоречие между естественной ограниченностью идеологии и столь же для нее естественной направленностью на расширение сферы своего влияния. Идеологию не устраивает роль служанки социальных интересов. Она претендует на то, чтобы царить, причем не только в сознании людей, но и в общественной практике. Однако исторический опыт показывает, что идеология способна эффективно оплодотворять общественное сознание и общество в целом как раз тогда, когда отказывается от своих амбиций. И наоборот: ничем не сдерживаемые «экспансионистские наклонности» превращают идеологию в один из самых грубых политических инструментов. Диктат идеологии фактически означает полное ее подчинение интересам функционирования и защиты государственной власти. Иными словами, чем в большей степени идеология претендует на роль царицы, тем в большей степени она сводится к положению служанки.

ВЛАСТЬ ИДЕОЛОГИИ И ИДЕОЛОГИЯ ВЛАСТИ

Сегодня уже практически общепризнано, что советское общество все семьдесят с лишним лет своего существования являло собой абсолютное царство идеологии. Были идеологизированы все сферы человеческой жизнедеятельности. Государство осуществляло тотальный идеологический контроль, жестоко подавляя любые зародыши инакомыслия. Со всем этим трудно не согласиться. Возражения вызывает лишь настойчивое желание найти истоки наших бед в коммунистической идеологии, заразившей ядом фанатизма большевиков «первого призыва» и цепко державшей в плену всех последующих руководителей страны, которые с послушностью первых учеников претворяли ее положения в жизнь. С этой точки зрения получается, что в стране правила идеология, а вожди выполняли функции ее жрецов. Характерно, что той же схемы, но только с прямо противоположным знаком, придерживаются и неосталинисты, рассматривающие советский период как последовательное воплощение идей «самого передового учения». В данной же плоскости располагаются взгляды, согласно которым причины кризисного состояния общества коренятся в извращениях коммунистической идеологии и деформациях социализма. Три подхода к оценке послеоктябрьского периода предопределяют и три соответствующих им «категорических императива»: решительно порвать с коммунистической идеологией, осудив ее как бесчеловечную; «умереть, но не поступиться принципами»; «очиститься от деформаций и наслоений и вернуться к истокам».

При всем различии эти подходы страдают общим пороком — гипертрофированным отношением к идеологии как к самодовлеющей силе, способной по своему усмотрению менять вектор общественного развития, непониманием диалектики взаимоотношения идеологии и политики, идеологии и власти. Недаром отношение к коммунистической идеологии их сторонники выражают в ритуальной форме, не наполненной никаким конкретным социально-политическим содержанием. Добавим также, что нельзя не обратить внимания на досадную непоследовательность ниспровергателей коммунистической идеологии. Совершенно справедливо полагая, что общественное развитие нельзя втиснуть в заранее составленный проект, они одновременно почему-то считают наше нынешнее общество построенным в точном соответствии с указаниями «основоположников». При этом упорно игнорируется то очевидное обстоятельство, что именно Маркс с трагическим для нас провидением воспроизвел облик тоталитарного строя, к которому мы пришли в результате коварных зигзагов истории. Можно, конечно, продолжать дискуссию о том, что мы воплотили в жизнь: коммунистическую утопию или, напротив, мрачные пророчества Маркса. Но только ли в этом дело? И корректна ли сама постановка вопроса: по Марксу либо вопреки ему строилось наше общество? Речь идет не о том, чтобы прямо или косвенно отстоять «непорочность теории», а о наивности представлений, согласно которым исторический процесс движим «хорошими» или «плохими» идеями, и стоит

лишь поменять одни на другие, как развитие пойдет в нужном направлении.

Идеологическое воздействие на сознание и поведение людей отнюдь не универсально и не всесильно. В значительной мере оно опосредуется политикой, в которой и через которую прежде всего и проверяется жизнеспособность идеологии. Политика — необходимый канал реализации идеологических установок, но это совсем не значит, что идеология движет политикой, а политическая борьба является непосредственным и точным отражением противоборства существующих в обществе идей. Иллюзия такого рода возникает во многом благодаря тому, что редкий политический деятель рискует публично мотивировать и объяснять свои поступки, не прибегая к плотной идеологической «упаковке». Эта иллюзия еще больше усиливается при ретроспективном обзоре, поскольку стараниями штатных и нештатных идеологов политическая история, как правило, предстает перед нами как ничем не отягощенное выражение «чистой» борьбы идей, а победа той или иной политической линии связывается с превосходством и торжеством соответствующей идеологии.

Между тем политическая жизнь подчинена собственным закономерностям, важнейшая среди которых — борьба за власть. Где отсутствует борьба за власть, ее удержание, упрочение либо усиление влияния на нее, там нет политических отношений. Именно она является двигателем всех политических процессов, незаметно подчиняя себе деятельность людей, вовлеченных в ее орбиту, независимо от личных намерений и идейных убеждений. Причем чем острее эта борьба (что в свою очередь зависит от остроты социальных противоречий), тем в большей степени она приобретает характер самоцели, не связанной с подлинными интересами противодействующих социальных общностей. Жестокая мясорубка политического противоборства перемалывает самые светлые идеи заодно с человеческими судьбами.

Весьма примечательно, что самая бескомпромиссная политическая схватка зачастую освящается идеалом свободы. В этом состоит одно из роковых заблуждений человечества. Завоевав власть в результате кровопролитных сражений, можно утратить имеющуюся свободу, но нельзя ее приобрести. Власть и свобода — два фундаментальных начала общественной жизни, находящиеся в постоянном диалектическом взаимодействии. В предельно широком, абсолютном смысле эти понятия сливаются и обозначают полное господство человека над условиями его существования. Здесь мы имеем дело с категориями глобально-абстрактного характера, подобно «абсолютной истине». Однако в социальной действительности, в каждый конкретный пространственно-временной отрезок как власть, так и свобода дискретны, относительны и ограниченны (в том числе друг другом).

В политологическом смысле власть — закрепление господства человеком над человеком (группы людей над другой группой). Политологический же аспект свободы состоит в независимости от власти. Свобода отрицает не тот или иной тип власти либо ее конкретного носителя, а властные отношения как таковые. Но в классовом обществе изначально заложенное в природу человека стремление к свободе находит извращенное, идеологизированное выражение в стремлении к власти. Чем меньше свободы в обществе, тем в большей степени власть рассматривается как единственно возможное средство ее достижения. Хотя весь исторический опыт свидетельствует, что завоевание и тем более монополизации власти отнюдь не приближает к свободе. Властвующий субъект не менее не свободен, чем подчиненный, подвластный. Если последний зависит (во всяком случае внешне) только от властителя, то имеющий власть порабощен необходимостью ее удержания, что лишь в последнюю очередь определяется его волей и намерениями.

Основной вопрос любой революции, как писал Ленин, есть вопрос о власти. Действительно, любая политическая революция объективно нацелена на изменение отношений власти во благо социального прогресса. В своем ультрарадикальном виде, обусловленном остротой социального противостояния, революция добивается свержения одной власти и установления другой. Однако парадокс истории заключается в том, что побежденные революции приносили обществу значительно больше свободы, чем победившие. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить последствия революций 1905 и 1917 годов. Отмеченный парадокс вполне закономерен. Побежденные революции, не достигнув власти, тем не менее ослабляли ее диктат, расширяли сферу свободы, вынуждали напуганных правителей проводить социальные преобразования в русле революционных требований. В то время как приход революционеров к власти объективно усиливал ее, ограничивал свободу, в результате чего цели революции, отвечающие интересам общественного развития, которые и вызвали ее к жизни, тонули в борьбе за удержание и упрочение власти.

По нашему мнению, одним из наиболее серьезных недостатков марксистской науки является упрощенно-классовый подход к категории государственной власти, которая всегда рассматривалась лишь как инструмент господства одного класса над другим и практически никогда в качестве относительно самостоятельного социально-политического феномена, функционирующего по своим специфическим законам. Но политическая власть и государство как ее носитель не служат и не могут служить только «аппаратом для подавления одного класса другим». Государственная власть имеет тенденцию к дистанциированию от социального субъекта, чью волю призвана выражать. Во-первых, потому, что, осуществляя функцию управления обществом, государство не может не учитывать интересы других социальных групп, а во-вторых, потому, что он объективно тяготеет к «самообслуживанию», самоупрочению и распространению своего влияния. На практике это проявляется в деятельности непосредственных функционеров государственной власти — чиновничества или, как сейчас принято говорить, «аппаратчиков», фактически деклассированной части общества, главный социальный (а точнее, антисоциальный) интерес которой состоит в самоцельном расширении власти.

Сосредоточив внимание на анализе классовых противоречий, марксизм упустил из виду не менее, а может быть, и более значимые противоречия между государственной властью и обществом в целом. Правильнее будет сказать, что Маркс, считавший непреложными идеи политической свободы и демократии, пытался идти дальше, увязывая общечеловеческую проблему свободы с достижением независимости от условий экономического существования. В философском плане такая постановка вопроса не только вполне оправдана, но и выводит процесс познания на глобальный, космический уровень. Однако для политической теории она явно непригодна. И тем более непригодна для конкретной политической программы, что отчетливо проявилось после победы большевиков. Ленин, находившийся в плену представлений о скоротечности перехода к новому общественному строю, рассматривал проблему политической власти лишь в самом общем виде — как непосредственную диктатуру пролетариата над буржуазией, практически не касаясь механизма ее функционирования. Не удивительно, что до конца жизни он мучительно искал и не мог найти причины, в силу которых осуществлявшаяся от имени пролетариата власть входила во все большее противоречие с подлинными интересами «господствующего» класса.

Тенденция к бюрократизации, саморазрастанию, отрыву от общества и подчинению его себе заложена в природе государственной власти, независимо от намерений конкретных государственных деятелей. Со времен Аристотеля человеческая мысль билась над этой проблемой, пытаясь выработать механизмы, защищающие общество от самовластия государства, ограничивающие вмешательство государства в дела личности. Сформулированные Кантом и французскими просветителями идеи гражданского общества, правового государства, разделения властей, вдохновившие антифеодальные революции и опередившие демократический путь развития общества, к великому сожалению, только сейчас прокладывают себе дорогу в нашем сознании.

Повторим еще раз: свобода — не в завоевании власти, а в независимости от нее. Власть — капкан для свободы. Но власть еще и капкан для идеологии. Политическая эффективность последней, то есть способность объединять большие группы людей для достижения социально значимых целей, напрямую зависит от политического положения ее носителя. Идеология «атакующего класса» более открыта и мобильна, более реалистична и самокритична. Это идеология политического восхождения, нуждающаяся в опоре на широкие социальные слои и не отягощенная бременем власти. Напротив, идеология «победившего класса» рано или поздно становится консервативной, все более социально ограниченной, замыкающейся на одной цели — сохранении господствующего положения в обществе. Идея свободы как антитезы власти, привлекающая под свои знамена «весь мир голодных и рабов» переживает поразительную, но закономерную метаморфозу, оборачиваясь идеологией власти как антитезы свободы. То, что еще вчера ослепляло своим блеском, сегодня отталкивает своей нищетой.

Диалектика развития общества предполагает регулярное обновление власти в соответствии с новыми идеями и новыми социальными интересами, требующими выражения и реализации. Ни один класс, ни одна социальная общность не вправе претендовать на то, чтобы раз и навсегда считаться «передовыми» и «авангардными». Закономерности общественной жизни могут объективно выдвигать на передний план интересы то одной, то другой социальной группы. Это нормальный, естественный процесс. Протекая в демократических рамках при реальном политическом и юридическом равноправии, он обеспечивает поступательное движение общества и не сопровождается разрушительными социальными конфликтами. В такой ситуации государственная власть и идеология сосуществуют не без взаимного влияния, но и не сливаясь друг с другом. Идеология минует губительные объятия власти, подчиняясь лишь внутренним законам собственного развития.

Принципиально иное положение складывается в случае узурпации власти и от-

сутствии надежных политико-правовых механизмов, защищающих общество от саморазрастания власти. Правящая группа отрывается от своей социальной базы, подчиняя функционирование институтов власти своим собственным интересам. Тем самым она фактически порывает с идеологией класса, который привел ее к власти, вырабатывая, по существу, качественно другую идеологию. Точнее будет назвать ее **квазиидеологией**, поскольку она никак не связана с потребностями ни общества в целом, ни отдельных его структур. Одновременно происходит искусственная консервация идеологии в подлинном значении этого слова, так как ее естественное развитие наглядно демонстрировало бы отрыв власти от социальной общности, интересы которой она призвана защищать. Таким образом узурпация власти сопровождается узурпацией, а следовательно, и практическим умерщвлением идеологии, которая лишается социальных корней и естественных источников самообновления. С этого момента ее назначение сводится исключительно к тому, чтобы служить оболочкой квазиидеологии. Тем самым правящая верхушка маскирует свой разрыв с идеологией, на гребне которой она пришла к власти. Однако причина камуфляжа не только в этом. По своей сути квазиидеология творчески бесплодна и предельно антисоциальна. Весь ее смысл и назначение заключается в оправдании самоценности власти, что, в общем-то, оправдать невозможно ни с общечеловеческой, ни с классовой позиции. Поэтому она не способна выработать даже свой понятийный аппарат, вынужденно заимствуя его у предшествующей идеологии, уродуя, корежа, а иногда и меняя содержание идеологических категорий на прямо противоположное. Так рождается двоемыслие — по блестящей характеристике Оруэлла.

Немаловажно отметить, что процесс монополизации власти и подмены идеологии квазидеологией на ранней стадии происходит в значительной степени стихийно, неосознанно. Люди, пришедшие к власти ради утверждения определенных ценностей и идеалов, незаметно для себя становятся ее заложниками. Сама логика борьбы за удержание и укрепление власти меняет местами цели и средства их достижения.

Думается, именно подобным образом происходило формирование квазиидеологии, которая господствует в нашей стране на протяжении последних семи десятилетий. Можно по-разному относиться к марксизму, к коммунистической идеологии, но, подходя непредвзято, нельзя не заметить, что они мало чем схожи с квазиидеологией, прикрывающейся их личиной, и еще меньше — с реальной государственной политикой. Когда в публицистике последнего времени политика большевиков, а затем Сталина рассматривается как буквальное воплощение в жизнь некоторых программных положений марксизма, упускается из внимания одно обстоятельство. Реализацию тех или иных положений своей теории Маркс и Энгельс связывали не столько с сознательной деятельностью людей, сколько с естественно-историческим процессом развития общества. Экономическая концепция марксизма основана на отрицании частной собственности и рыночных отношений (в том виде, в каком они существовали в середине XIX века), но на отрицании диалектическом. Классики не раз подчеркивали, что отменить частную собственность невозможно, ее обобществление должно произойти естественным путем в недрах строя, именуемого капиталистическим. В равной степени это относится и к другим положениям марксизма, одни из которых оказались провидческими, другие были правильными лишь для своего времени, а третьи — изначально ошибочными. Однако, вопреки распространившемуся сегодня мнению, марксизм имел мощный внутренний источник саморазвития — диалектику, которой поверяется каждый теоретический тезис, каждый практический шаг. В этом плане буквальное следование тому или иному положению марксизма, несмотря на изменившиеся условия, может фактически означать наиболее глубокий разрыв с ним.

Дело, конечно, не в том, что большевики и Сталин догматизировали и неверно истолковали марксизм. Политическая власть, вышедшая из горнила испепеляющей борьбы, в принципе не способна служить ничему другому, кроме собственного укрепления. Власть вообще самодостаточна, а потом внеидеологична. Она подвержена идеологическому влиянию только тогда, когда связана с обществом демократическими механизмами, которые питают ее рождающимися в обществе идеями. При отсутствии таких механизмов власть отторгает от себя любую идеологию и целиком сосредоточивается на самообслуживании.

С большевиками ожесточенная борьба за власть сыграла злую шутку. Сталинская клика уже вполне сознательно подчинила свою деятельность расширению и укреплению собственной власти. В связи с этим коллективизация, например, явилась отнюдь не воплощением марксистских установок, а необходимым условием утверждения полного господства государственной власти над обществом. В определенном смысле это был «марксизм наоборот». Если, по Марксу, задача социальной революции заключается в приведении политической надстройки в соответствие с экономическим базисом, то Сталин проделал обратную операцию:

ликвидировав НЭП и крестьянский уклад, привел экономическую систему в соответствие с потребностями всемерной концентрации власти. Тем самым были обеспечены полная независимость государственной власти от общества и одновременно абсолютное подчинение общества государству. Апофеоз саморазрастания власти — тоталитаризм — оказался достигнутым.

Безусловно, правомерна и даже необходима постановка вопроса об исторической вине коммунистической идеологии: не несла ли она в себе зачатки тоталитаризма, играя на низменных человеческих страстях, сея классовую рознь, насилие, дразня иллюзорной надеждой на построение рая на земле. Но отвечая на этот вопрос, нельзя не учитывать следующего. Во-первых, власть способна подмять под себя любую идеологию. Достаточно вспомнить церковное и политическое мракобесие средневековья. Во-вторых, хотя марксизм и служит научной базой коммунистической идеологии, они не тождественны друг другу. Сведение философского мировоззрения к идеологии не просто опошляет, но и в значительной мере извращает его. Коммунистическая идеология существовала и культивировалась в массовом сознании независимо от марксизма, а во многом и вопреки ему. Естественное развитие марксизма как науки, не будь оно насильственно прервано в нашей стране и не отпугни марксизм общественную мысль на Западе теми ужасами, которые творились его именем, неизбежно привело бы к коренному изменению основанной на нем идеологии. В-третьих, коммунистическая идеология при всей уязвимости одной из главных ее установок на возможность достижения полного экономического равенства людей выражала естественное стремление человека к справедливости, понимаемой не как противоположность свободы, а как ее дополнение, образующее вектор прогрессивного общественного развития. И с этой точки зрения появление коммунистической идеологии исторически оправдано. Бессмысленно отрицать, что она служила удобным прикрытием тоталитаризма, но она же оказалась и одной из первых его жертв. С победой тоталитарного строя коммунистическая идеология как система живых развивающихся идей перестала существовать. На смену ей пришло то, что можно назвать коммунистической мифологией, приспособленной к задачам реально исповедуемой тоталитаризмом квазиидеологии.

Каковы особенности квазиидеологии?

Прежде всего это государственная идеология. И отнюдь не только в том смысле, что ее проводником является государство со всей мощью своего аппарата принуждения. Для квазиидеологии государственная власть — основная, если не единственная, ценность. Все, что ни происходит в обществе, она рассматривает лишь с одной точки зрения: укрепляет это или ослабляет власть государства над человеком. Отсюда главное требование квазиидеологии к личности — лояльность. Искренняя преданность официально провозглашаемым идеалам не просто необязательна, но и вредна, поскольку она означает, что для личности есть нечто более ценное, чем государственная власть как таковая. Заставить человека поверить в самоценность власти над ним трудно, если вообще возможно. А вот понудить к признанию неизбежности, неотвратимости этой власти тоталитарному режиму вполне по силам. Лояльность как раз и служит формой проявления такого признания. Одна из важнейших и успешно решаемых квазиидеологией задач — культивирование лояльности, возведение ее в ранг первой гражданской добродетели. Надо сказать, общество довольно легко и даже охотно воспринимает подобную установку. Через призму «возвышающего обмана» приниженность человека перед властью выглядит не столь тягостной, а то и обретает ореол некой «верности присяге». Понятно, что проявление нелояльности по отношению к режиму не только пугает окружающих, но и раздражает, уязвляет самолюбие, напоминая о реальном бесправии и неспособности ему что-либо противопоставить. Вполне адекватна и реакция возмущения, когда нелояльность расценивается чуть ли не как акт государственной измены.

На протяжении многих лет власть почти постоянно лгала народу, обещая то «социализм в отдельно взятой стране», то коммунизм для нынешнего поколения, то «еще лучшую жизнь» в следующей пятилетке. Но вот чего она никогда не обещала, так это свободу. И была здесь предельно искренней, твердо, последовательно и неуклонно выполняя свое «необещание». С октября семнадцатого года, когда народ получил «подлинную свободу», вопрос этот считался раз и навсегда разрешенным. Знаменитая философская формула марксизма, увязывающая свободу человека с законами бытия, трансформировалась в жесткий политический императив: свобода есть осознанная необходимость беспрекословного подчинения власти. Освященный квазиидеологией, он получил выражение в фундаментальном юридическом принципе тоталитарной системы: разрешено только то, что приказано или милостиво дозволено власть имущими. Печать этого принципа лежит и на законах, исходящих уже от нового советского парламента. Попытка с налета заменить его другим — разрешено все, что не запрещено законом,— не принесла, и не могла принести желаемого результа-

та. Слишком много для этого требуется реформировать в экономической и политической системе, слишком много переосмыслить в понимании взаимоотношений власти и свободы, государства и личности.

Ненависть к свободе власть предержащих понятна. Сложнее разобраться в причинах той неприязни, которую питают к свободе «простые советские люди». Вообще отношение русского человека к свободе — тема глобального историко-философского исследования. Не рискуя даже подступиться к ней, тем не менее заметим: даже при беглом взгляде на историю бросается в глаза, что практически все российские бунты и революции проходили под флагом не столько свободы, сколько равенства и справедливости (понимаемых очень часто примитивно и извращенно). Их политические цели заключались в установлении справедливой (субъективно) власти как таковой. В этом плане российская история развивалась, к сожалению, в соответствии с известным тезисом о том, что революции имеют смысл только тогда, когда ведут к расширению свободы.

Победивший в стране тоталитаризм успешно эксплуатировал, скажем так, индифферентное отношение людей к свободе, доведя его до состояния полного неприятия путем абсолютного противопоставления свободы и равенства. В условиях тоталитарной системы равенство означает одинаковое бесправие и одинаковую беспомощность перед могуществом государственной власти. Получение от власти тех или иных привилегий в зависимости от конкретных обстоятельств и зигзагов массового сознания рассматривается либо как заслуженная награда, либо как нарушение «социальной справедливости», не посягающее, однако, на основы привычного бесправного равенства. Но вот любые попытки добиться хотя бы малейшей независимости от власти подвергаются жесточайшему остракизму, поскольку воспринимаются как стремление к откровенному неравенству. И воспринимаются, надо признать, обоснованно, ибо свободный человек ни при каких условиях не равен несвободному. Различие в степени свободы — самое глубокое проявление неравенства. Очевидно, что изуродованный и одновременно развращенный тоталитаризмом человек не только боится свободы (ведь это связано с самостоятельностью и личной ответственностью), но и не очень жалует ее. Квазиидеология проделала в его сознании еще одну операцию, отождествив государство и общество. Правда, особых усилий для этого не требовалось. Тоталитаризм на самом деле представляет собой полное поглощение общества государством. При таком положении складывается впечатление, что свобода противостоит не власти, а обществу, посягая на его интересы. Этим спекулировали и продолжают спекулировать квазиидеологи.

Но свобода означает независимость от власти, а не от общества, в котором она только и может быть реализована. Свободным нельзя стать в одиночку, можно лишь «вместе и наравне». С аксиологической точки зрения свобода проявляется в осознании равнозначности и самоценности каждой человеческой личности. Свободное общество — это общество, где свобода человека ограничена лишь свободой другого.

Выше уже отмечалось, что в силу своей антисоциальности, антигуманности, бесплодности квазиидеология не способна существовать в виде системы более или менее ясно выраженных идей. Она вынуждена постоянно прятаться за символическими, знаковыми обозначениями и терминами, утратившими реальное содержание. Можно ли оправдать деспотизм и произвол власти? Можно, если эта власть — «советская», а следовательно, любой несогласный с ней является «противником советской власти». Можно ли идейно-теоретически обосновать прогрессивность социального строя, при котором произошло тотальное огосударствление общества? Конечно, можно, если государство назвать «общенародным», строй — «социалистическим», а любые попытки изменить его квалифицировать как «посягательства на основы социализма». Мыслимо ли доказать, что не является абсурдной экономика, в которой планируется все — от производства космических ракет до швейных иголок? Опять не стоит никакого труда, когда эта экономика подчиняется «объективному закону планомерного и пропорционального развития».

Сейчас уже стало почти общим местом положение о религиозном характере господствовавшей у нас в стране идеологии, опора которой в мифах и культах, пронизывающих массовое сознание. Квазиидеология действительно сродни религии. Вернее, это квазирелигия — религия без Бога и Совести, Космоса и Человека. Основные ее догматы — вера в непогрешимость власти и «светлое будущее». Нельзя не признать, что без этой одуряющей, ослепляющей, но сохраняющей частицу надежды веры обескровленному тоталитаризмом обществу невозможно было вынести сталинский террор, ужасы войны, тяготы послевоенных лет. И та же вера примиряла человека с абсурдностью и жестокостью всего, что происходило в стране. По мере того как надежды на построение общества «подлинной справедливости» таяли все больше и больше, вера в «светлое будущее» не без помощи квазиидеологии сменилась верой в «славное прошлое», или в «историческую неизбежность пройденного пути». Квазиидеология успешно эксплуатирует способность веры оправдать что бы то ни было. Если бесчеловечные средства «социалистического строительства» в свое время мотивировались высокой целью, то сегодня плачевный результат в свою очередь оправдывается тем, что «не все в нашей истории плохо», либо тем, что по-другому быть просто не могло.

Квазиидеология использует и особую восприимчивость мифологизированного сознания к внушению. С идейно-теоретической точки зрения квазиидеология абсолютно несостоятельна. Она не в состоянии никого пленить ни блеском идей, ни логикой аргументов. Ее главное «секретное оружие» — внушение, то есть непосредственное воздействие на чувства и эмоции людей при почти полном отсутствии критики разума. Квазиидеология «работает» на уровне второй сигнальной системы, формируя и закрепляя в массовом сознании стереотипы, мало чем отличающиеся от условных рефлексов. В этом ее сила и залог высокой конкурентоспособности в происходящей сегодня борьбе идей.

Квазиидеологии присущ особый, ни с чем не сравнимый «экспансионизм», замешанный на чудовищном «комплексе неполноценности». Агрессивность, подозрительность, нетерпимость к инакомыслию достигают у квазиидеологов таких масштабов, что порой напоминают паранойю. Но в действительности названные черты имеют под собой объективные основания. Ввергая общество в состояние порабощения и покорности, тоталитарный режим достигает своего апогея. А вместе с тем и вступает в полосу постепенного заката, поскольку отсутствие реальной борьбы за власть лишает последнюю внутреннего источника развития. Реагируя на это, квазиидеология, стимулируемая тоталитарной властью, выдумывает, ищет и находит все новых и новых «врагов», на которых обрушиваются очередные волны «народного гнева» и государственных репрессий. Таким образом в обществе вводится «перманентное военное положение», а властным структурам придается второе дыхание.

Квазидеология может выжить лишь в условиях собственной монополии. Поэтому она решительно вытесняет и замещает собой практически все формы общественного сознания. В результате духовная жизнь общества не просто замирает, она загнивает и начинает разлагаться. Обильные семена квазиидеологии дают всходы в виде нравственного цинизма, правового нигилизма, эстетической деградации. В царстве квазиидеологии судьбу свободы разделяет ее «родная сестра» — культура. Причем порождаемая тоталитаризмом бездуховность оборачивается настоящей ловушкой для многих людей в период, когда устои тоталитарного режима начинают расшатываться. Если за душой не осталось ничего, кроме «идеалов», то их крушение переживается особенно болезненно и приводит совсем не к маленьким человеческим трагедиям.

Откровенная враждебность квазиидеологии по отношению к любой социальной общности, претендующей хоть на маломальскую самостоятельность, не означает, что ее господство поддерживается исключительно «штыками» и мистификациями. Квазиидеология имеет опору и выражает интересы деклассированных общественных слоев — бюрократии и люмпенства, представителей которых тоталитаризм размножает, «тиражирует» в массовых масштабах.

Бюрократия представляет собой неизбежный продукт любой государственной власти. Но только в условиях тоталитаризма она оформляется в огромный по численности, могущественный и полностью независимый от общества клан, проникающий во все области общественной жизни и занимающий в них ключевые позиции. Если общество попадает в полную собственность тоталитарного государства, то само государство поступает в исключительную собственность бюрократии. Правда, состав последней неоднороден. В ее рядах имеются как «собственники», так и «наемные работники»: сравнительно небольшая часть реально распоряжающихся властью и значительный отряд чиновников и клерков, обслуживающих эту власть и кормящихся от нее.

Вряд ли нужно специально объяснять, почему квазиидеология является своего рода «священным писанием» бюрократии. Но квазиидеологические постулаты не менее привлекательны и для люмпенства.

Вырванный из естественной социальной среды, потерявший склонность к творческому труду и потому крайне несвободный и бескультурный, люмпен находит в квазиидеологии простые и понятные рецепты решения своих проблем. «Атомистическое» люмпенское сознание восторженно принимает идеи антигуманизма и бесправного равенства. Люмпену не за что уважать себя, он приучен к собственному унижению и в силу этого он радостно приветствует унижения и насилие в отношении других людей. Люмпена испепеляет ненависть к свободе и таланту, его душу опустошает бесплодная, но воинственная зависть, поскольку стремление к равенству и тем более к превосходству над людьми он не может реализовать иначе, как за счет низведения всех остальных до своего ничтожного уровня.

ОСНОВНОЙ ВОПРОС ИДЕОЛОГИИ

Оговоримся, дабы не ввести читателя в заблуждение кажущейся претенциозностью заголовка этого раздела статьи. Речь здесь не пойдет о «вечных», «глобальных» идеологических проблемах. И не только в силу неуместности абстрактных рассуждений на фоне бурных и взрывоопасных политических и идеологических процессов, протекающих в нашем обществе. Сама сущность идеологии, ее зависимость от быстро меняющихся общественных условий и социальных интересов, по-видимому, исключает постановку универсального основного идеологического вопроса применительно ко всем временам, странам и народам. Каждое общество на конкретном этапе своего развития выдвигает на передний план различные идеологические проблемы, отражающие в конечном счете наиболее острые и глубокие при данных обстоятельствах экономические, социальные и политические противоречия. Так что ни в коей мере не претендуя на открытие «идеологического камня», попытаемся выяснить, в чем же состоит основной вопрос идеологии «эпохи перестройки».

А сделать это далеко не просто. На поверхности нашей сегодняшней идейно-политической жизни, казалось бы, отчетливо наблюдается противостояние «социализма» и «капитализма», «западничества» и «славянофильства», «космополитизма» и «национализма», «централизма» и «сепаратизма» и т. п. Но внимательный конкретно-исторический анализ сложившейся ситуации в конце концов ведет к пониманию того, что для общества, вырывающегося из удушливых объятий тоталитарной системы, все это — не более чем внешние проявления глубинных социальных процессов, не только выражающие, но отчасти и маскирующие его основные противоречия.

К таким противоречиям, с нашей точки зрения, нужно отнести: в экономике — между государственным монополизмом и многообразием форм собственности и хозяйствования, в социальной сфере — между деформированной, маргинализованной социальной структурой и возрождающимся гражданским обществом, в политике — между неконституционной, бюрократической и правовой, демократической организацией государственной власти, в духовной жизни — между господством квазиидеологии и идеологическим плюрализмом, предполагающим «мирное сосуществование» и равноправное соревнование различных идейных течений и программ при сохранении приоритета общечеловеческих ценностей. Если же говорить обобщенно, то судьба страны зависит от исхода непримиримого противоборства тоталитаризма и антитоталитаризма во всех областях общественных отношений.

Тоталитарная квазиидеология ныне, как и раньше, стремится скрыть свою антисоциальную направленность и выступает под флагом то «коммунистических идеалов», то «советского патриотизма», а то и откровенно имперской идеи. Однако чем бы ни камуфлировались неототалитарные воззрения, их выдает оголтелая ненависть к свободе, нацеленность на то, чтобы любыми путями воспрепятствовать материальному и духовному раскрепощению людей.

С этой точки зрения выглядят по меньшей мере наивными (если только не лицемерными) как широко раздающиеся призывы к консолидации всех «социалистических сил», так и поспешные попытки вновь возникающих политических движений и партий дистанциироваться от марксизма, коммунистической идеологии и социалистической ориентации. Реальность такова, что можно смело утверждать (перефразируя известное ленинское высказывание): консолидация и размежевание на платформе социализма и тем более коммунизма в настоящий момент либо невозможны, либо реакционны. Красноречивое подтверждение тому мы находим, обращаясь к идеологическим установкам КПСС, сохраняющей пока статус наиболее многочисленной и влиятельной политической силы в стране.

Идея коммунизма как бесклассового бестоварного общества, где преодолено отчуждение человека от коренных условий его существования, а свободное развитие каждого есть непременное условие свободного развития всех,— эта идея была и остается научной гипотезой, для подтверждения или опровержения которой сегодни и в обозримом будущем явно недостаточно исторического материала. Во всяком случае можно смело утверждать, что нынешние и следующие за ними поколения советских людей не будут жить при коммунизме в Марксовом понимании, как бы нам ни хотелось иного. Выдвигать же подобного рода гипотезу в качестве даже стратегической цели, не говоря уже о практической задаче, современной политической партии — значит действительно впадать в идеологическую утопию. Или тем самым маскировать квазиидеологические пристрастия к знакомому нам, увы, не понаслышке, «казарменному коммунизму», служащим одним из терминологических выражений тоталитарного режима. Активное манипулирование коммунистической фразеологией, присутствующее в речах многих партийных функционеров, поневоле наталкивает на мысль о том, что именно с этим «коммунистическим идеалом», именно с этой «коммунистической ретроспективой» так не желают они распрощаться. Ревностные охранители чистоты марксизма и партийных рядов вспомнили и о классовом подходе к оценке общественных явлений, как будто в «застойные времена» не они и им подобные подвергали гонениям тех немногих ученых, вроде академика Заславской, осмелившихся проанализировать реальную социально-классовую структуру советского общества. Тогда такой объективный анализ был под строжайшим запретом, поскольку он беспощадно обнажал тяжкие последствия надругательства тоталитарной системы над общественным организмом. Теперь же «классовый подход» извлечен из квазиидеологических запасников с плохо скрываемой целью — в противовес гуманистическим идеям и общечеловеческим ценностим нового мышления.

Но и идея антикоммунизма, которой нас стращают ортодоксы квазиидеологии, в настоящее время лишена реального социально-политического смысла по тем же самым причинам, что и ее антипод. По существу под антикоммунистической вывеской выступают три различных по масштабу и социальной направленности идейно-политических течении.

Во-первых — антитоталитаризм, действительно способный и призванный объединить все демократически ориентированные силы. Однако, отождествляя коммунизм и тоталитаризм, демократы допускают не только теоретическую, но и серьезную тактическую ошибку, отпугивая тех, кто отвергает тоталитарные порядки и вместе с тем сохраняет веру в светлые коммунистические идеалы. Право слово, стоило бы проявлять больше политической мудрости, терпимости и осторожности при обращении с идеологическими символами, которые в сознании советских людей накрепко связаны с представлениими о «царстве божьем на земле».

Во-вторых — антимарксизм, всплеск которого, хотя и не так уж безобиден, но совершенно закономерен. Правда, новоявленные критики Маркса, по нашему мнению, пока либо оказываются не на высоте своего оппонента, либо «ниспровергают» его, подчас сами того не замечая, с тех же марксистских методологических позиций. Но как бы то ни было, само их появление свидетельствует о постепенном раскрепощении нашего мышлении. Категорически возражая против сведения марксизма к коммунистической идеологии и тем более к тоталитарной квазиидеологии, мы убеждены в том, что для него нет ничего более губительного, чем искусственное культивирование и насильственное насаждение.

Наконец, в-третьих,— так называемый «бытовой антикоммунизм», выражающийся в разжигании ненависти к членам и сочувствующим КПСС, в требованиях возмездия, расплаты, суда над коммунистами. Причем итог такого суда предвкушается не как общественно-политическая и правовая оценка исторической вины КПСС, а как карательное насилие в отношении ее лидеров и сторонников. Здесь мы уже имеем дело с «отрыжкой» квазиидеологии и люмпенской психологии, которые под влиянием политической конъюнктуры меняют внешнее обличье, но сохраняют антигуманную, антикультурную сущность. В среде «кровожадных антикоммунистов» не так уж трудно разглядеть до боли знакомых персонажей тоталитарного сценария. И разъяренного раба, не могущего простить хозяину того, что его бросили на произвол судьбы. И перепуганного обывателя, шарахнувшегося от одной силы к другой. И властолюбивого политика, зарабатывающего дивиденды на волне антикоммунистического популизма. Нет и не может быть среди них только истинного демократа, для которого человеческая личность и гражданский мир являются высшими социальными ценностими.

Бытовой антикоммунизм подыгрывает как «партийным ястребам», успешно спекулирующим на теме преследовании коммунистов, так и «оголтелым демократам», для которых война с КПСС — единственно возможная форма политической самореализации. За годы пребывания у власти КПСС в полной мере обнажила свою неспособность создать для людей нормальные условия жизни. Но в чем она действительно поднаторела, так это в том, чтобы «давать отпор», «отражать нападки» и «бороться с врагами социализма». Воинствующие антикоммунисты, сами того не подозревая, дают КПСС прекрасный шанс продлить свое политическое существование. В свою очередь это позволяет ее непримиримым противникам до поры до времени скрывать идейно-политическую пустоту за воинствующими призывами на манер классического: «Карфаген должен быть разрушен!». При кажущемся антагонизме отношения между консервативной частью КПСС и ультрарадикалами лишь подтверждают известный тезис о том, что политические крайности существуют исключительно благодаря друг другу.

Озабоченные идеологическим обновлением деятельности КПСС, ее лидеры выдвинули идею гуманного, демократического социализма, которая не вызвала особого энтузиазма ни в партии, ни в обществе в целом. И дело отнюдь не только в том, что любому более или менее сведущему человеку ясно: лозунг демократического и гуманного социализма есть всего лишь повторение задов социал-демократии, от которых она давно отказалась. Важнее, однако, другое: какой политический смысл вкладывается руководителя-

ми КПСС в этот лозунг; как конкретно, по их мнению, должна сопрягаться «верность социалистическому выбору» с рыночной экономикой и политическим плюрализмом. А здесь либо сплошной туман и невнятные объяснения, свидетельствующие об абсолютном непонимании сути вопроса, либо знаменательные оговорки, выдающие старые квазиидеологические симпатии. Чего стоит, например, твердое намерение «коммунистов России» любой ценой добиваться преобладания государственной собственности — станового хребта тоталитарной системы. Или уже ставшее притчей во языцех высказывание лидера КП РСФСР о том, что руководимая им партия собирается защищать интересы не «торговцев и менял», а «простых тружеников», тех, «кто сидит на зарплате». Получается так: вначале «посадить» людей на зарплату, а потом «защищать» их интересы заодно с системой, низводящей человека до положения вечного государственного служащего. И стоит кому-нибудь вырваться «за флажки» казарменно-уравнительной экономики, как он тут же зачисляется в разряд «нуворишей» и лишается благосклонной поддержки «первого российского коммуниста» и ему подобных. В связи с этим вспоминается блестящее эссе Бертрана Рассела, в котором он подмечает, что при определенных обстоятельствах угнетателям свойственно приписывать угнетенным высшую добродетель. Наступает этап, «когда угнетатели начинают терзаться муками совести, а это случается, когда они теряют власть. Идеализация жертвы какое-то время приносит пользу: если добродетель — величайшее из благ и если угнетение делает людей добродетельными, то не следует подпускать их к власти, ибо это разрушило бы их добродетельность»[1].

Конечно, И. Полозков лукавит, когда высказывает озабоченность интересами тружеников госпредприятий. Будь это действительно так, он и его соратники в первую очередь направили бы свои усилия на приватизацию собственности, разрушение государственного монополизма в экономике, что если и не превратит рабочего в собственника, то по крайней мере в условиях демонополизированного хозяйства позволит продавать свой труд на более выгодных для себя условиях. Лукавят вслед за И. Полозковым и другие ярые сторонники «социалистической ориентации», которые, с одной стороны, вроде бы не против демократии и рынка, а с другой — не устают повторять о недопустимости изменения общественного строя. Как можно и родить, и сохранить при этом девственность? Перейти к рыночной экономике, гарантировать свободу политической деятельности и одновременно сохранить строй, основанный на монополии государственной собственности и политической диктатуре? И разве сам по себе переход от одного к другому не означает коренного изменения общественного устройства, каким бы термином оно не обозначалось?

Теоретическая ущербность взятой КПСС на вооружение идеи «демократического социализма» как раз и заключается в том, что она не позволяет получить мало-мальски вразумительного ответа на поставленные вопросы. Так все-таки демократия? Или демократия, ограниченная «социалистическим выбором»? Реальное равноправие всех форм собственности или преимущества для одних и дискриминация в отношении других? До настоящего времени социализм представляется в виде общественного строя, при котором обеспечивается верховенство коллективных форм жизнедеятельности над индивидуальными, приоритет общественных и групповых интересов над личными. Грубое следование такому пониманию, оторванному от необходимых цивилизованных предпосылок, ведет не к социализации, а к примитивной «коллективизации», вульгарному обобществлению, распаду социальных структур. Фетишизация «суррогатов коллективности» (Маркс) на практике оборачивается политикой, порабощающей личность и приносящей любую особенность в жертву мнимой всеобщности, которую олицетворяет власть, узурпированная правящей элитой[1]. Социализм всегда будет тождествен тоталитаризму до тех пор, пока социалистическая идея связывается с заданным общественным устройством, скрепленным запретами на иные формы общественной жизнедеятельности. Не оспаривая философскую, этическую, да и практическую значимость этой идеи, надо прямо сказать, что на современном историческом этапе ее политическая реализация возможна лишь в двух формах: охране тоталитарных устоев, пусть и под прикрытием «демократического» или какого-нибудь иного «социализма», либо в политике, проводимой западной социал-демократией. Хотя до сегодняшнего дня КПСС, строго говоря, не является политической организацией единомышленников, а представляет собой скорее искусственный конгломерат людей с самыми различными убеждениями (и вообще без тако-

[1] Рассел Б. Высшая добродетель угнетенных.//Квинтэссенция: Философский альманах.— М., 1990. С. 419.

[1] На XVIII съезде КПСС Е. Лигачев заявил, что частная собственность разъединяет, а общественная сближает людей. Следуя этой логике, персональные коттеджи разобщают людей, а объединяют коммунальные квартиры, казармы, а еще лучше — общие камеры.

вых), нетрудно предположить, какому из названных направлений отдает предпочтение ядро ее наиболее активных функционеров.

КПСС, как это неоднократно декларировалось на ее последних форумах, намерена взять на себя функцию выразителя интересов той части населения, которая в наименьшей степени готова к рынку. Позволим себе усомниться в искренности подобных намерений. Прежде всего потому, что в этом случае КПСС предстоит сделать то, к чему она органически не приспособлена: умерить свои политические амбиции и отказаться от роли авангарда общественных преобразований, поскольку совершенно очевидно, что упомянутая часть населения никак не может служить движущей силой рыночной реформы. Кроме того, необходимость перехода к рынку сегодня сознают практически все, справедливо полагая, что в этом состоит единственный выход из экономического тупика. Бесспорно, интересы людей малообеспеченных и не готовых к рыночной конкуренции нуждаются в повышенном внимании. Однако на деле КПСС более озабочена созданием лучших стартовых возможностей для функционирования партийной собственности, а защиту интересов неимущих видит в противодействии реформе, что только усугубляет положение и всего общества и его наименее защищенных слоев. Одновременно КПСС вовсю готовится к борьбе с психологией потребительства, рыночной стихией, «издержками» демократии, не принимая или не желая принимать во внимание, что для этого нужно по крайней мере иметь предметы потребления, полноценный рынок и стабильные демократические институты. Пугать же едва пробудившееся от тоталитарной спячки общество ужасами капитализма — все равно, что навязывать хронически больному, золотушному ребенку проблемы зрелого человека, в расцвете сил и лет ощутившего или еще не до конца ощутившего, что живет не так. Подобного рода проблемы, многообразные, острые и по-своему гораздо более сложные, рано или поздно поставят перед народами западных стран вопрос о том, как жить дальше. Перед нами же стоит качественно иная задача: выжить.

Если выживем, доведя до конца демонтаж тоталитарной системы, то назавтра восстановленное гражданское общество ждет формирование, столкновение и взаимодействие разнообразных социальных интересов, их идеологическое оформление и политическая реализация. Послезавтра подготовленное общество, вполне вероятно, сознательно и свободно предпочтет социалистическую ориентацию как естественно-разумную альтернативу тенденции, которую С. Алексеев в одной из своих статей назвал неудержимой экономической и либеральной стихией. К такому выбору подвигнет все острее ощущаемая потребность в освобождении человека от экономических условий его существования, необходимость разрешения противоречия между производственной эффективностью и экологической безопасностью, гармонизации интересов различных социальных групп, гуманного и справедливого регулирования общественных и межличностных отношений. Это будут весьма непростые и болезненные процессы. Но по своей остроте они не идут ни в какое сравнение с сегодняшним непримиримым противостоянием ржавых, но еще прочных тоталитарных структур и молодого демократического движения.

«Кто ж из прочих, с кем велите знаться?» Способна ли какая-то партия в обозримом будущем заявить о себе в полный голос и тем самым перевести многопартийность из сферы должного в область сущего? Трудно не заметить, что процесс формирования новых партий во многом носит искусственный, декоративный характер. В значительной степени идет имитация того, что было у нас до октября семнадцатого года, или того, что есть сейчас на Западе. Трудно удержаться от иронических замечаний, наблюдая за тем, как учредители очередной новой партии начинают с того, что долго выясняют, чьи же интересы они призваны защищать. И даже не то плохо, что формирование новых партий идет от «идеи», а не от «интереса», а то, что эти идеи в своем большинстве никак не связаны с общественно-политической ситуацией в стране. Ничего иного, впрочем, и не следовало ожидать, поскольку политизация общества значительно опережает процесс его социального структурирования.

Многообещающим представляется наметившийся союз между Демократической партией России, социал-демократами и бывшей «Демократической платформой», конституировавшей себя как Республиканскую партию. И не только потому, что они имеют в своих рядах достаточно ярких лидеров, но и во многом в силу ясного понимания главной задачи переживаемого момента — перехода от тоталитарного режима к демократии — и наличия консолидирующего начала, основанного на поддержке Верховного Совета и правительства России. Если руководителям этих партий удастся обуздать личные амбиции и преодолеть политический снобизм, то сформированный блок имеет все возможности для того, чтобы возглавить союз антитоталитарных сил и выйти в фарватер политического процесса.

Вместе с тем нельзя не отдавать себе отчета в том, что любая антитоталитарная коалиция очень непрочна. Идеи свободы

и демократии способны вдохновить и консолидировать общество лишь на очень короткое время. Демократия — всего лишь форма, которую можно наполнить любым содержанием. И вчерашние союзники в борьбе за демократию по мере становления демократических институтов становятся противниками, если не находят другой объединяющей идеи. Наша же сегодняшняя беда заключается в том, что демократическую форму просто нечем наполнить, кроме пышной риторики, митинговых страстей и групповых схваток. Западные страны проделали многовековой путь к политической демократии как к наиболее конструктивному способу разрешения социальных конфликтов, согласования интересов различных слоев развитого гражданского общества. В нашей стране политические структуры демократии «провисают», не имея под собой социальной опоры. За годы правления тоталитаризм катком прошелся по гражданскому обществу и свел все социальные интересы к одному — чем завтра накормить своих детей.

Сказанное не отрицает необходимости борьбы за политическую демократию, блокирующую реставрацию тоталитарной власти в ее полном объеме. Но от активистов этой борьбы требуется твердое осознание того, что политическая демократия действенна лишь при развитой социальной инфраструктуре. В связи с этим общественная и частная инициатива, направленная на обеспечение суверенных прав личности, установление социальных и культурных связей в определенном смысле важнее партийно-политической борьбы за власть, а социальное строительство несоизмеримо значимее строительства партийного.

Одним из главных условий становления гражданского общества служит формирование рыночной экономики. Подавляющее большинство новых партий демократического толка является активными сторонниками рыночных отношений. Но вот что примечательно. Почти все эти партии либо прямо заявляют о своей социал-демократической направленности, либо исповедуют идеологию, которая мало чем отличается от идейных воззрений социал-демократии. Ратуя за развитие рынка, они тем не менее видят свою стратегическую задачу в сдерживании либеральной стихии и справедливом распределении доходов. Это не только ставит новые партии в несколько двусмысленное положение (звать к рынку, чтобы потом защитить от него людей), но и придает идейно-политическим процессам явно однобокий характер. Ни одна государственная программа сама по себе не создаст рыночных отношений. Рынок формируется усилиями предпринимателей, бизнесменов, коммерсантов, капиталистов — назовите их как угодно, суть не изменится. Не понимают этого (а точнее, делают вид, что не понимают) сегодня лишь те, кто сознательно имитирует переход к рыночной экономике, а на деле занимается перегруппировкой административно-командных сил.

У нас сейчас есть блестящие идеологи экономического либерализма, но нет политической организации, которая бы поставила перед собой цель добиваться максимальной свободы экономической деятельности и отстаивать интересы частного предпринимательства. Конечно, в нынешних условиях такая организация, взявшая на себя смелость открыто заявить о своих «буржуазных намерениях», вряд ли получит серьезную поддержку. Но со временем страна несомненно будет включена в русло взаимодействия либерально-демократического и социал-демократического направлений. Столь уверенный прогноз — не дань наиболее популярным в современном мире идейно-политическим течениям. Эта популярность служит лишь внешним проявлением их соответствия глубинным закономерностям движения цивилизации в сторону все большего достижения свободы при обеспечении необходимого уровня социальной справедливости.

Приняв во внимание основной вопрос идеологии и питающие его противоречия, не составит большого труда разобраться «правая, левая где сторона». При всей условности терминологии разделение действующих у нас политических сил на «правых» и «левых» довольно точно фиксирует водораздел между охранителями тоталитарных порядков и сторонниками демократических преобразований [1]. Но какова тогда идеология «центра», с политикой которого немало здравомыслящих людей связывают значительные надежды.

Долгое время центристская политика отождествлялась с деятельностью М. Горбачева, создающей определенный баланс политических сил и обеспечивающей, с одной стороны, стабильность, с другой — хотя и робкое, но все-таки реформаторское движение. Девяностый год, характеризовавшийся резкой дестабилизацией обстановки в стране и отсутствием реформаторских инициатив, исходивших непосредственно от Президента, поставил вопрос о бесперспективности центристской политики в нынешних условиях. Думается, однако, дело в другом. Центризм — это самостоятельный политический курс, который как раз и не наблю-

[1] Уж как не хочется иным ортодоксам, вроде проф. А. Сергеева, соглашаться с отнесением их к «правому», реакционному лагерю. Но что поделать, если исповедуемые ими «принципы» без зазрения совести списаны с пройденного нами «краткого курса». Так что «свою неправую „правую“ им не сменить на правую „левую“».

дался. Имело место во многом бессодержательное и уже чуть ли не перманентное политическое переоформление власти, прикрываемое как верностью социалистическому выбору, так и необходимостью очистить социализм от деформаций. За тактическим лавированием даже самые доброжелательные наблюдатели становятся не способными разглядеть более или менее ясного стратегического направления. Закономерный провал такого рода линии, свидетелями которого мы стали в 1990 году, свидетельствует не о бессилии центристской политики как таковой, а о ее практическом отсутствии в «исполнении» Горбачева и его команды. Не может же в самом деле центризм заключаться в том, чтобы, ругая и «левых» и «правых», стоять на месте, в то время как одни тянут вперед, а другие назад. Долгое время нам объясняли, что скоропалительные, плохо продуманные меры повлекут за собой непредсказуемые катастрофические последствия. Но, как оказалось, катастрофа гораздо более реальна, когда никаких мер по переустройству общества вообще не принимается.

Идейно-политическая борьба в обществе серьезным образом подогревается центробежными силами, массовым движением за национальное возрождение и государственный суверенитет союзных республик. Как оценить это с точки зрения основного, на наш взгляд, противостояния демократии и тоталитаризма? Национально-освободительное движение всегда рассматривалось в качестве составной части общедемократического процесса. Тем не менее в наших условиях однозначная оценка осложняется по крайней мере тремя обстоятельствами.

Во-первых, более чем ощутима тенденция к тому, что на волне национального возрождения в некоторых республиках реставрируются старые партократические режимы.

Во-вторых, далеко не единичны случаи, когда борьба за национальный суверенитет ведется отнюдь не в демократических рамках и сопровождается прямым ущемлением прав иноязычного населения. Можно наблюдать интересную трансформацию: вчерашние сепаратисты (по определению центральных властей) сегодня, придя к власти в республиках, легко усваивают те же имперские замашки и обвиняют в сепаратизме уже представителей национальных меньшинств, осмелившихся заявить о своих правах.

В-третьих, что ни говори, трудно примириться с распадом великой державы, формировавшейся не одно столетие. Однако еще страшней мысль о том, что вместе с империей может рухнуть и государственность как таковая, похоронив под своими обломками историю и судьбу многомиллионного народа. Не разрушив империю, не построить демократическое общество. Но разрушив государственность, не сохранить даже то общество, которое есть. Поймут ли, наконец, в Центре, что старыми методами, какими бы политическими и юридическими одежками они ни маскировались, сохранить Союз невозможно? Поймут ли в республиках, что борьба за национальный суверенитет не может вестись «любой ценой» и «до победного конца» без взаимного учета и согласования интересов?

Понятно, что обретение национальной независимости нельзя рассматривать лишь через призму построения демократического общества. Для многих людей в стране эта задача выходит на первый план, приобретая самоценное значение. Но как бы ни значима была идея национального возрождения, ей нельзя приносить в жертву права человека, его свободу и жизнь.

В обстановке экономического хаоса и углубляющейся социально-политической напряженности нужны подкрепленные практическими мерами идеи, реализация которых способна консолидировать общество и остановить разрушительные процессы. Как ни покажется странным и даже наивным, полагаем, что объединить «левых», «правых» и «центр» сейчас может идея законности. Дело в том, что в условиях беззакония и произвола невозможны ни нормальное функционирование институтов власти, ни последовательные демократические реформы. Поэтому о необходимости укрепления законности и дисциплины постоянно твердят как консерваторы, так и демократы, что, впрочем, не мешает тем и другим торпедировать принимаемые Верховным Советом СССР законы, носящие по вполне понятным причинам паллиативный характер. Требование законности находит отклик и поддержку и в массовом сознании, поскольку беспорядок и нестабильность несовместимы с нормальным образом жизни подавляющего большинства населения.

Как же реально обеспечить законность? Заведомо бесплодны насильственные методы. Они не принесут ничего, кроме социального взрыва и кровавого круговорота. Ключ к решению проблемы — в выявлении и устранении причин, вследствие которых законы сегодня оказываются бездействующими. Первая из них связана с падением авторитета власти, издающей и применяющей законодательные акты. А происходит это прежде всего потому, что органы правопорядка в силу их прежней позорной роли в тоталитарной системе и сохраняющейся зависимости от партийно-политических структур воспринимаются не как защитники общества и закона, а как орудие политического

подавления к угнетения. При названных обстоятельствах даже защита населения от уголовного террора, особенно если она осуществляется внутренними войсками на территории национально-государственного образования, сознательно подается и невольно расценивается многими как репрессии «центра» и «аппарата» в отношении национального и демократического движения. Значит, надо все же решиться на деполитизацию и (до известного предела) децентрализацию правоохранительных органов с тем, чтобы легитимировать их в качестве института, служащего не отдельным социальным и политическим силам, а обществу в целом.

Другая, пожалуй, самая глубокая причина кризиса законности состоит в том, что наше законодательство было и до сих пор остается большей частью запрещающим и принуждающим, чем дозволяющим и разрешающим. Закрепощающим человека, а не освобождающим его. В таких условиях соблюдение законности для гражданина — это не выражение его внутренней потребности, а подчинение требованию лояльности по отношению к власти. Лояльность же поддерживается либо мощью государственного принуждения, либо доверием, кредит которого на сегодня практически исчерпан. Для того, чтобы вернуть его, необходимо придать законодательной и правоприменительной политике диаметрально противоположную направленность: отказаться от надуманных запретов, ограничений и предоставить людям максимально возможную свободу, в первую очередь — экономическую. Должны быть срочно разрешены и надежно гарантированы все формы частной экономической деятельности, поскольку они не связаны с насилием, обманом и другими действиями, совершаемыми помимо или вопреки свободной воле другого человека. При этом следует набраться мужества не реагировать на вопли бюрократии и люмпенства о «нарушениях социальной справедливости», а любые попытки противодействия экономической самостоятельности жестко и бескомпромиссно пресекать, выработав соответствующие юридические механизмы.

Эти меры, кроме восстановления уважения к законодательной власти, позволили бы приостановить, а затем и ввести в нормальное русло процесс политизации, потому что значительное число людей нашло бы несравненно лучшее применение своим силам и способностям, чем участие в политических акциях — митингах, собраниях, забастовках. Так начнет формироваться и неуклонно расширяться свободное социальное пространство — питательная среда для дальнейших демократических реформ.

ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЯ В ПРАВОВОМ ОБЩЕСТВЕ
(вместо заключения)

Субстанциональный элемент права, его концентрированная сущность — договор. Понятие договора имеет такое же значение для правоведения, какое категория товара для политэкономии. Договор представляет собой универсальное и наиболее эффективное средство регулирования отношений между равноправными и свободными субъектами, добровольно определяющими взаимные права и обязанности. Причем договор — не просто индивидуально-правовой акт, служащий своего рода посредником между законом и практической деятельностью людей. Назначение договора не сводится и к тому, чтобы заполнить сознательно оставленные или поневоле образовавшиеся зоны законодательного вакуума. В правовом демократическом обществе сам законодательный процесс имеет договорный, консенсусный характер. Чем более развито право, тем выше в его инструментарии роль договора, что особенно заметно проявляется в международном праве, основным источником которого как раз выступает договор.

Разумеется, право и политика не отгорожены друг от друга непроходимой стеной. Они представляют собой взаимозависящие и даже взаимопроникающие формы социального регулирования. Право нуждается в политическом обеспечении, в опоре на государственную власть. В свою очередь политика находит в праве самые эффективные средства своего воплощения в жизнь. Вместе с тем государственные запреты, предписания и санкции не относятся к органическим компонентам права, а заимствуются им из политического инструментария. Но дело не только в том, что право задействует политические механизмы в качестве гарантов своей результативности. Одновременно происходит более или менее серьезное «облагораживающее» правовое влияние на государственную власть и политические процессы, направляющее их в разумное цивилизованное русло. Право не просто использует государственное принуждение, но так или иначе регулирует и ограничивает его, защищая общество и личность от государственного произвола. Правда, это характерно для демократического общества и правового государства. В условиях же авторитарного правления (и особенно тоталитаризма) политика полностью подчиняет себе право, превращая его в фасад, маскирующий откровенное беззаконие, прямое администрирование и неоправданное насилие со стороны властных органов.

В праве находит наиболее полное разрешение противоречие между властью и свободой. С точки зрения глубинной человеческой психологии, требующей изначального равенства людей, самая эффективная власть — это власть обезличенная. Правовое регулирование деперсонализирует власть и в то же время наполняет свободу личностным содержанием. Подчинение юридическим законам уже сродни подчинению законам природы. «Власть» договора еще более демократична, поскольку, с одной стороны, тоже обезличена, а с другой стороны, субъект договора воспринимает его как продукт своей свободной воли и собственного творчества, способ реализации своего интереса.

Прогрессивное будущее страны в решающей мере связано с утверждением господства права во всех основных областях жизнедеятельности. Только закон, принимаемый на основе общественного договора, и только договор, заключаемый в соответствии с законом, могут управлять свободными людьми. В хозяйственных, трудовых, земельных, жилищных отношениях — везде, где до сих пор властвуют келейно издаваемые инструкции и паразитирующие на их исполнении чиновники, они должны уступить место нормальным правовым связям, предполагающим равенство и взаимную ответственность договаривающихся сторон. Участникам же подлинно правовых отношений не требуется никакой надсмотрщик. Они нуждаются совсем в других людях — посреднике, консультанте-специалисте, а из всех государственных органов их будет интересовать главным образом суд, располагающий демократической процедурой рассмотрения и правовым механизмом разрешения возможных споров и конфликтов.

Право традиционно относят к числу идеологических явлений, исходя из того, что правовые нормы и отношения складываются, проходя через сознание людей. В первом приближении зависимость права от идеологических установок очевидна. Однако по своей сути право не есть «продолжение идеологии», а, напротив, носит метаидеологический характер. Во-первых, в отличие от любой идеологии, право выражает не отдельные корпоративные, а все социально значимые интересы, которые оно предназначено гармонизировать на базе общечеловеческих ценностей. Причем важнейшей задачей права является обеспечение и охрана свободы человека как общественного существа, независимо от его идеологических воззрений и принадлежности к той или иной социальной группе. Во-вторых, право находится над «идеологической схваткой». Идеи, взгляды, убеждения и т. п. — вне предмета правового регулирования. Вторгаясь посредством запретов, ограничений или предписаний в идеологическую сферу, право перестает быть самим собой. В-третьих, право как институализированное, формальное определенное образование отторгает от себя положения, имеющие идеологическую окраску. Будучи идеологизированными, правовые нормы либо приобретают декларативный характер, либо обрекаются на произвольное толкование и применение.

Конечно, право несвободно от идеологического влияния, основными каналами которого служат политический процесс и сфера правосознания. Но эти же каналы в условиях демократии предохраняют право от экспансии идеологии, позволяя выработать необходимый правовой баланс различных социальных интересов.

В будущем советском правовом обществе идеология (точнее — множество идеологий) приобретет подобающее ей место, выражая всю палитру сложной и разветвленной социальной структуры. Но идеологии придется спуститься с небес на землю, отказаться от непомерных притязаний и, честно сражаясь за конкретные социальные интересы, склонить голову перед истиной и правом.

Михаил
СИДОРОВ

ПЕРВЫЕ ГОДЫ

Отношения между СССР и Израилем в конце 40-х — начале 50-х годов

Новое внешнеполитическое мышление и его плоды, особенно в европейских делах и советско-американских отношениях, вызвали у многих людей эйфорию. Но, подобно реликтовому космическому излучению, которое является следом грандиозного взрыва сингулярности, происшедшего миллиарды лет назад и положившего начало нашей Вселенной, осталось и «реликтовое излучение» холодной войны. Его «температура» гораздо выше известных трех градусов Кельвина, и оно все еще может поджечь мировой пожар, в огне которого сгорит человеческая цивилизация.

Оружие, накопленное во многих развивающихся странах, идеология конфронтации и политический авантюризм — все это не может разом исчезнуть лишь потому, что две крупнейшие державы отказались от политики противостояния и военного соперничества.

Об этом напоминают нам военные действия в зоне Персидского залива. Осуждение Советским Союзом иракской агрессии против Кувейта и голосование в Совете Безопасности ООН за резолюцию № 678, а также установление консульских отношений с Израилем знаменуют новый подход советского руководства и к ближневосточной проблеме, что вызывает весьма противоречивые суждения и оценки как за рубежом, так и у нас в стране. Чем же продиктован существенный сдвиг акцентов ближневосточной политики СССР — желанием «понравиться» богатым американцам или здравым смыслом? Или это — закономерный результат развития глобальных противоречий между «севером» и «югом»? Чтобы разобраться в этих вопросах, попытаемся найти историческую нить «нового курса» Советского Союза в ближневосточном лабиринте, утерянную несколько десятилетий назад.

Дж. Г. Мид считал, что прошлое создается людьми таким, каким оно им требуется в настоящем для решения насущных проблем. «Каждое поколение,— утверждал американский философ,— переписывает и в известном смысле вновь переживает прошлое». Современность как будто бы подтверждает эту, в общем-то спорную, точку зрения. Но в нашем случае правильнее, вопреки прагматизму, восстановить подлинные исторические события и тогдашние их оценки — забытые или замалчиваемые в угоду политической конъюнктуре и традиции — и актуализируя их, так сказать, в чистом виде.

Длившаяся восемь лет ирано-иракская война, кровопролитные схватки между вооруженными формированиями шиитского движения «амаль» и проиранской организации «хезболлах», аншлюс Ираком Кувейта и поддержка этой акции Организацией освобождения Палестины, наконец, провокационные ракетные удары по Тель-Авиву, акты исламского терроризма и экологическая диверсия уже в ходе войны в Персидском заливе — все это говорит о необоснованности, наивности расчетов на то, что одно лишь выполнение Израилем резолюций Совета Безопасности ООН 242 и 338 сразу же принесет мир на Ближний Восток. Не идеализируя политики Израиля, надо тем не менее признать, что тупиковая ситуация в регионе возникла не только и даже не столько по вине этой страны. Пора прямо сказать об агрессивности и безответственности, царивших ранее,— и не изжитых до сих пор — в правящих кругах арабских стран, и ставших одной из главных причин многих взрывов на Ближнем Востоке, в том числе и последнего, из-за кризиса в Персидском заливе. И ведь именно наши теоретики в свое время подбрасывали «научное» обоснование и оправдание арабскому экспансионизму, присваивая ему громкие названия, вроде «антиимпериалистической борьбы народов» или «национально-освободительного движения», а политики и военные тем временем снабжали арабские армии новейшим советским оружием, заботливо наполняя порохом бочку, стоящую у наших границ. Что и говорить, правящие режимы ряда арабских стран умело спекулировали на отношении к ним не иначе как к жертвам империализма и сионизма. В итоге мы нажили себе на Ближнем Востоке ненадежных друзей и надежных врагов, в план создания пресловутого «Благодатного полумесяца» — ближневосточной исламской империи под эгидой Ирака,— выдвинутый еще в 1943 году, к удивлению многих, почти через полвека получил воплощение в аннексии Кувейта. Народы арабских стран дорогой ценой платят за политическую близорукость и экстремизм своих лидеров, которые до сих пор не могут понять, что бескомпромиссность, замешанная на юдофобии, не поможет решить палестинскую проблему. Каким-то вызовом человеческой логике кажутся слова М. Каддафи, сказанные в октябре прошлого года: «Израиль должен исчезнуть с политической и географической карты мира...» («Правда», 1990. 13 окт.)

Война в заливе бумерангом ударила и по Соединенным Штатам и их союзникам, также вооружавших Саддама Хусейна. Сколько американских солдат станут

жертвой новейшего оружия, произведенного во Франции или сделанного в Ираке по американской технологии?

Одним из важнейших субъектов ближневосточной политики, конечно же, является Израиль. Но история распорядилась так, что для Советского Союза, связанного с этим государством тысячами живых нитей, советско-израильские отношения должны были стать, как говорится, самодовлеющей ценностью. Должны были, но не стали...

Несомненно, наш внутренний антисемитизм питается последовательным и многолетним антиизраэлизмом советской внешней политики, хотя значение обоих этих взаимосвязанных факторов, например, для интенсивной эмиграции евреев из СССР постоянно замалчивается. Весной 1990 года, как известно, в Москве за круглым столом встретились палестинские арабы и представители еврейских организаций СССР. В одном из выступлений говорилось об «идеологическом» факторе еврейской эмиграции: после арабо-израильской войны 1967 года поток иммигрантов в Израиль из СССР не ослабевал, хотя «тогда магазинные полки не были совсем пустыми и пресловутой „Памяти“ не было и в помине...» [1] Вывод — в этом виновата сионистская пропаганда, сбившая с толку наивных евреев! Думается, главная причина выезда все же не в этом, и корни ее надо искать не за океаном и не в Палестине. Действительно, после июньской войны и разрыва дипломатических отношений СССР с Израилем выезд из нашей страны евреев продолжался. Причем люди уезжали из мирного, стабильного и тогда еще сравнительно благополучного Советского Союза во взрывоопасный регион, в страну, где даже женщины проходят военную службу. Так не внутренней ли нашей атмосферой, не отношением ли к этим людям у нас объясняется данный феномен?

Инерция груза взаимного недоверия, накапливавшегося долгие годы, продолжает оказывать влияние на публицистическую, политологическую и историческую литературу об Израиле, издающуюся в СССР.

Даже названия некоторых из вышедших уже в последние годы книг о еврейском государстве выдержаны в прежнем, крикливо-пропагандистком стиле: «Шпионы, террористы, диверсанты. Израильские спецслужбы: от скандала к скандалу». М., 1988; «Преступлением и обманом. Методы и средства сионизма в осуществлении политики неоколониализма». Киев, 1989 и т. д. Не преодолена однобокость в освещении событий на Ближнем Востоке. Сколько было справедливого негодования в нашей прессе по поводу разгона арабской демонстрации в Иерусалиме 8 октября 1990 года. Но ранее, в начале августа, без комментариев, тихо прошло сообщение о том, что в этом же городе были обнаружены трупы двух израильских подростков с десятками ножевых ранений.

Предвзятость и пропагандистские стереотипы оказывают свое воздействие на людей.

Из многочисленных публикаций у нас хорошо знают о трагедии арабской деревни Дейр-Ясин, но уже вряд ли кто сегодня помнит об уничтожении египетскими войсками в том же 1948 году еврейской колонии Дангур. И сегодня у нас говорят о кровавом терроре сионистских боевых отрядов, очищавших «от арабов землю для еврейского государства в 1947—1948 годах», с гневом вспоминают о действиях организаций «Иргун», и «Штерн», но не упоминают о террористических арабских формированиях «Мусульманское братство», «Братья свободы», «Ливанская фаланга» и других, многие из которых были связаны с немецкими и итальянскими фашистами. До сих пор пишут с возмущением о «каждодневных жестоких репрессиях израильских оккупантов» и с восторгом — о «смелой операции», «проведенной организацией ФАТХ против израильтян в новогоднюю ночь 1965 года...» Каждому известно, что в результате палестинской войны 1948—1949 гг. Израиль аннексировал часть территории арабского государства, а вот о том, что другую часть этой территории захватила Трансиордания, знают не все.

Насколько предвзятыми были (и остаются) наши оценки политики Израиля, можно судить хотя бы по отношению к присоединению этой страной части территории арабского палестинского государства. Со второй половины 50-х годов эта акция квалифицировалась у нас как проявление израильской агрессивности и экспансионизма и резко осуждалась. Безусловно, законность насильственных «территориальных приобретений» всегда была спорной; подобная практика не должна поощряться. Но будем объективны: имея и без того громадную территорию, Советский Союз тем не менее после второй мировой войны добился ее приращения и на западе, и на востоке... В 1948 году война в Палестине была развязана арабскими странами, которые добивались уничтожения только что созданного еврейского государства. И если агрессоров постигла неудача, то винить в ней и ее последствиях они должны прежде всего самих себя. Кстати, сегодня даже ООП не требует ухода Израиля с земель, занятых им в конце 40-х годов.

Серьезных исследований о жизни народа Израиля, его достижениях и проблемах, о драматической истории евреев практически нет. Может создаться впе-

чатление, что все израильтяне (а то и вообще евреи) сплошь диверсанты, шпионы и «агенты империализма». Такое положение, особенно с учетом напряженности межнациональных отношений в СССР, нельзя считать допустимым.

Неторопливость в нормализации отношений с Израилем, демонстрируемая советской стороной, сочетается с выражениями недоумения по поводу отказа этого государства ответить немедленно на «жест миролюбия» со стороны ООП, которая, наконец-то, сказала «да» мирному сожительству на древней земле Палестины и Израиля» [2]. Зачатки политического реализма лидеров ООП куплены палестинскими арабами дорогой ценой. Сорок лет понадобилось для того, чтобы кое-кто понял, что врагами палестинцев являются не евреи, не государство Израиль, а нетерпимость и экстремизм, индуцирующие ответные настроения и чувства того же порядка, да неуклюжие или просто недоброжелательные «арбитры». И если у нас признают, что сегодня еще «не все палестинцы смогли преодолеть накопившуюся ненависть...» [3], то можно ли требовать немедленной лояльности к арабам Палестины от всех политиков и всего населения Израиля?

На мой взгляд, нашим ученым и политикам предстоит серьезно пересмотреть свое отношение к Израилю, для чего необходимо переосмыслить и переоценить историю развития двусторонних отношений, начиная с их зарождения.

Изучение советской печати того времени дает возможность составить достаточно объективную картину происходившего в Палестине и вокруг нее на рубеже 40—50-х годов. Думается, что такое возвращение к истокам советско-израильских отношений поможет избавиться от предвзятости, пропагандистских стереотипов и других наслоений «холодной войны», преодолеть «черно-белый» подход в оценке действий участников событий в этом регионе.

Независимое еврейское государство существует сорок два года, из них дипломатические отношения с нашей страной оно имело менее девятнадцати лет. Глядя на теперешнее состояние отношений между СССР и Израилем, трудно представить себе, что когда-то они были более чем нормальными. Это относится к периоду борьбы за создание в Палестине еврейского государства и арабо-израильской войны 1948—1949 годов.

Можно спорить о том, действительно ли И. В. Сталин хотел использовать Израиль «в качестве советской базы на Ближнем Востоке» [4], или же отношение советского руководства к палестинской проблеме в то время было результатом «просветления», бесспорно одно: из всех великих держав тогда один лишь Советский Союз занял определенную и четкую позицию в вопросе о разделе Палестины и последовательно добивался выполнения резолюции № 181 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года. Отстаивая это решение на второй специальной сессии Генассамблеи в апреле 1948 года, А. А. Громыко подчеркивал: «Раздел Палестины дает возможность каждому из населяющих ее народов иметь собственное государство. Он тем самым дает возможность радикальным образом урегулировать раз и навсегда отношения между народами» [5].

Напомню, что первоначальное советское руководство в принципе было за создание единого арабо-еврейского государства, но действия экстремистов с обеих сторон и провокационная политика британской администрации настолько испортили отношения между двумя народами, населяющими Палестину, что раздел страны стал единственным разумным вариантом урегулирования.

До сих пор преобладает мнение, что со второй половины 40-х годов правительство США заняло однозначно «просионистскую» позицию в палестинском вопросе. На деле же в подходе к решению этой проблемы Соединенные Штаты проявляли серьезные колебания, что являлось результатом довольно сильных проарабских настроений в правящих кругах страны. Последние еще более усилились, когда в 1947 году была обвинена в «антиамериканской деятельности» знаменитая «голливудская десятка» кинодраматургов и режиссеров — восемь человек из ее числа были евреями. Так что и в США посвоему тоже боролись с «космополитизмом».

Американский юрист Б. Крам, участвовавший в работе англо-американской комиссии по палестинскому вопросу в начале 1946 года, в своей книге «За шелковым занавесом» писал: «Всякий раз, когда евреям в Америке давалось обещание относительно Палестины, государственный департамент немедленно посылал правительствам арабских государств сообщения, в которых он отказывался от этого обещания и заверял их, что, независимо от всего сказанного или публично обещанного евреям, без консультации с арабами ничего не будет сделано такого, что могло бы изменить положение Палестины» [6]. Очередная «корректировка» ближневосточной политики США произошла 19 марта 1948 года, когда на заседании Совета Безопасности ООН американский представитель выразил мнение, что после окончания действия английского мандата в Палестине возникнет «хаос и крупный конфликт», а поэтому, заявил он, Соединенные Штаты считают, что над Палестиной должна быть установлена временная опека. Таким образом, Вашингтон выступил фактически против резолюции № 181, за которую сам голосовал в ноябре. В связи с этим представитель Еврейского агентства оценил попытку США приостановить реализацию плана раздела Палестины как «потрясающее изменение их позиции» [7]. Критикуя новый американский план на сессии Генассамблеи ООН, советский представитель С. К. Царапкин говорил: «Никто не может оспаривать высокий уровень культурного, социального, политического и экономического развития еврейского народа. Такой народ опекать нельзя. Этот народ имеет все права на свое независимое государство» [8].

Почему же стало возможным это «потрясающее изменение» американского подхода к палестинской проблеме? В марте 1949 года некоторые американские газеты обвинили начальника управления госдепартамента по делам Ближнего Востока и Африки Гендерсона в том, что он занял резкую проарабскую позицию и содействовал пересмотру политики США в отношении раздела Палестины. Вскоре стало известно, что Гендерсон... получал взятки от вице-президента компании «Арабиэн-американ ойл компани» Дьюза [9]. Сенатор Мэррей 26 марта заявил: «Срыв решения о разделе Палестины представляет собой величайшую победу нефтяных компаний» [10]. Не исключено также, что правительство Соединенных Штатов в условиях эскалации «холодной войны» решило изменить свою прежнюю линию в пику Советскому Союзу, твердо выступавшему за создание в Палестине двух независимых государств — еврейского и арабского.

Отметим, что в то время любые внешнеполитические акции наших оппонентов на Ближнем Востоке объяснялись единственной причиной — интересами и борьбой нефтяных монополий *. В данном случае правительство США, видимо, принимая окончательное решение, было вынуждено считаться не только с интересами нефтяных монополий, но и с общественным мнением внутри страны, с голосами пяти миллионов еврейских избирателей. В начале апреля 1948 года делегация бостонских сионистов вручила исполнявшему обязанности госсекретаря Ловетту петицию протеста против отказа правительства Г. Трумэна от программы раздела Палестины. Под петицией стояли подписи 100 тыс. человек [11]. Думается, подобные акции сыграли далеко не последнюю роль в том, что Соединенные Штаты признали государство Израиль сразу же после его провозглашения. Нельзя сказать, что решение это было легким, так как в самом американском руководстве до конца отсутствовали ясность и единодушие по этому вопросу. На специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН делегация Соединенных Штатов до последнего момента отстаивала предложение о том, чтобы «в случае провозглашения в Палестине независимого государства или государств... члены Организации Объединенных Наций не признавали государство или государства, которые будут провозглашены» [12]. Поэтому когда участники сессии Генассамблеи узнали о признании де-факто Израиля Соединенными Штатами, американская делегация оказалась в неловком положении.

Однако само по себе это признание еще не гарантировало стабильного доброжелательного отношения к еврейскому государству со стороны могущественной заокеанской державы. Дж. Макдональд, посол США в Израиле в 1948—1950 годах, в своих воспоминаниях, вышедших в 1951 году, не исключал возможность поддержки Соединенными Штатами в будущем плана создания «Великой Сирии» [13].

Последовательно антиеврейскую позицию заняла в этот ответственный момент Великобритания. Вынужденная отказаться от мандата на Палестину, она в то же время голосовала против резолюции № 181, а затем по существу проводила обструкционистскую политику, создавая серьезные препятствия на пути урегулирования палестинской проблемы. Английское правительство не оказывало содействия работе Палестинской комиссии и не выполнило решения Генассамблеи ООН об открытии в Палестине с 1 февраля 1948 года порта для еврейской иммиграции. Более того, английские власти задерживали в нейтральных водах Средиземноморья суда с еврейскими иммигрантами и насильно направляли их на Кипр, а то и в Гамбург. Морское побережье Палестины блокировали также и египетские корабли [14].

Но наибольшую опасность для региона, бесспорно, представляла ориентация правительства Великобритании на реакционные феодальные круги в странах Ближнего Востока. 28 апреля 1948 года, выступая в палате общин британского парламента, министр иностранных дел Э. Бевин заявил, что в соответствии с англо-транс-

* Между прочим, эти интересы (а лишенные идеологической мистики они представляют собой главным образом экономические, хозяйственные интересы), если они способствуют предотвращению хаоса в развивающихся странах и вовлечению их в современное мировое хозяйство, содействуют мирному решению спорных вопросов, вряд ли справедливо безапелляционно характеризовать как «реакционные», «империалиствческие», равно как и весьма сомнительна «прогрессивность» политики, которая во имя «революционного преобразования мира» вела к дестабилизации обстановки, односторонне ориентируясь на поддержку антидемократических режимов лишь на том основании, что они называли себя «антиимпериалистическими».

иорданским договором, заключенным в марте, Великобритания «и впредь намерена предоставлять средства на содержание арабского легиона, а также посылать военных инструкторов»[15]. В своем выступлении Бевин дал понять, что его правительство не осуждает заявление короля Трансиордании Абдаллы о намерении вторгнуться в Палестину.

После подписании англо-трансиорданского договора поставки английского оружия на Ближний Восток увеличились. Вооружали арабов и другие страны. В марте 1948 года французское правительство продало Ливану большую партию оружия, в том числе пушки и танки; для ливанской же армии была предназначена и большая партин американского оружия, доставленная в бейрутский порт на грузовом судне «Оксфорд» 19 апреля 1948 года, то есть менее чем за месяц до начала арабо-израильской войны[16]. Британские власти, кроме того, содействовали вооружению арабского населения Палестины. По свидетельству одного английского офицера, «работа на английскую администрацию» обеспечивала в то время «возможность жить большинству арабов»[17]. Рассказывая о нищете в арабских деревннх, англичанин вместе с тем замечал: «...Если кто-нибудь скажет, что может продать какое-либо огнестрельное оружие (что представляет собой преступление, подсудное военному трибуналу), то самый грязный парень из этих слепленных из грнзи лачуг вытащит из-под своей изорванной тоги пачку банкнот в 100 английских фунтов стерлингов»[18]. В то же времн английские власти в Палестине разоружали еврейское население.

13 мая 1948 года английское министерство колоний и министерство иностранных дел опубликовали совместное заявление об окончании действия британского мандата на Палестину. 14 мая в Тель-Авиве на собрании членов Еврейского национального совета было провозглашено создание государства Израиль. 15 мая Лига арабских стран заявила, что «все арабские страны с этого дня находятся в состоянии войны с евренми Палестины»[19].

Вместо того, чтобы позаботиться о создании в Палестине, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, Арабского государства, правящие режимы семи арабских стран направили свои усилия на уничтожение государства еврейского: их войска вторглись в Палестину с севера, востока и юга, а король Трансиордании Абдалла поторопился выпустить новые денежные знаки со своим изображением и надписью: «Арабское хашимитское королевство». Разжигавшаяся десятилетиями британскими колонизаторами рознь сыграла злую шутку с арабскими режимами. Они гнались за двумя зайцами: старались уничтожить Израиль и не допустить усиления соседей. Короли Египта и Саудовской Аравии в качестве противовеса Абдалле выдвинули бывшего иерусалимского муфтия, нациста Амина аль-Хуссейни, претендовавшего на пост президента «единой неделимой Палестины».

Британские эмиссары на Ближнем Востоке Дж. Глабб и Ч. Клейтон рассчитывали, что арабские войска, руководимые английскими офицерами и снабженные английским оружием, предпримут генеральное наступление на Израиль, в результате которого израильская армия в десятидневный срок будет «сброшена в море»[20]. Однако неправое дело было обречено на провал. Чего удалось добиться честолюбивому трансиорданскому монарху, так это поглощения части территории, отведенной ООН для арабского палестинского государства, да провозглашения себя «королем Трансиордании и Палестины». План созданин «Великой Сирии» не удался. Арабо-израильская война 1949 года «превратилась в национальный скандал», писал Джеймс Олдридж, имея в виду Египет; она «показала, насколько прогнившей и неподготовленной была египетская армия»[21]. Эти же слова с полным основанием можно отнести и к остальным участникам агрессии, провал которой больно ударил и по престижу Великобритании, вскормившей арабский экспансионизм. Позиция британского правительства подверглась резкой критике и в самой Англии. Газета «Манчестер гардиан» 22 мая 1948 года высказала мнение, что английское правительство должно посоветовать арабским странам признать Израиль и прекратить войну против него. «Дейли уоркер» сообщала, что по всему миру прокатилась бурная волна протеста против поддержки британским правительством арабской агрессии в Палестине»[22].

В чем же причина такой неудачи, несостоятельности английской позиции в решении ближневосточной проблемы? Дело в том, что прежняя колониальная политика Великобритании, как и сама колониальная система, после второй мировой войны переживала глубочайший кризис. Нужны были новые подходы, а их-то английское правительство сразу выработать и предложить (да еще в таком головоломном вопросе, как палестинский) не могло. Испробовав все средства из прежнего арсенала, Лондон зашел в тупик. Этим, видимо, и объясняются неконструктивность и бесперспективность ближневосточной политики Великобритании, правящие круги которой постепенно (но не без борьбы) уступали инициативу не обремененному колониалистскими шаблонами заокеанскому партнеру. В такой ситуации США, чтобы поправить своего не справившегося с делами союзника, вынуждены были встать в оппозицию Англии на Ближнем Востоке. Английская газета «Дейли мейл» писала, что напряжение в отношениях между США и Англией «достигли величайшей силы за последние три года, и американские газеты сообщили миллионам своих читателей о серьезном расколе по вопросу о палестинской политике...» Кроме того, Соединенные Штаты обвинили Великобританию в том, что она использует поставки по плану Маршалла длн оказания помощи арабам[23]. Как констатировала в то время советский историк П. Осипова, «арабо-еврейская война 1948 г. в Палестине — первая открытая трещина в англо-американских отношениях со времен второй мировой войны...»[24]. Правда, ни Вашингтон, ни Лондон не были заинтересованы и не стремились к тому, чтобы эта «трещина» росла. Дж. Ф. Даллес в личной беседе с послом Макдональдом в ноябре 1948 года сказал: «Англия оказалась ненадежным гидом на Среднем Востоке — ее предсказания так часто не оправдывались. Мы должны стремиться сохранить англо-американское единство, но Соединенные Штаты должны быть старшим партнером»[25]. Именно такое разделение ролей в дальнейшем и сложилось — «гидом» на Ближнем Востоке постепенно становились США.

15 мая 1948 года министр иностранных дел Израиля М. Шерток направил руководителю советского внешнеполитического ведомства телеграмму. В ней содержалась благодарность Советскому Союзу, «за ту твердую позицию, которую заняла делегация СССР в ООН... в пользу установления суверенного и независимого еврейского государства в Палестине... за выражение искреннего сочувствин страданиям еврейского народа в Европе под пнтой его фашистских палачей...» Израильский министр предлагал Советскому Союзу официально признать еврейское государство и его временное правительство. 18 мая «Правда» и «Известия» опубликовали это послание вместе с ответом на него министра иностранных дел СССР В. М. Молотова, в котором, в частности, говорилось, что правительство Советского Союза «приняло решение об официальном признании государства Израиль и его Временного Правительства». Советское правительство выражало надежду, что «создание еврейским народом своего суверенного государства послужит делу укрепления мира и безопасности в Палестине и на Ближнем Востоке» и «уверенность в успешном развитии дружественных отношений между СССР и государством Израиль».

Официальное признание Советским Союзом и признание де-факто Соединенными Штатами нового государства оказали ему огромную моральную поддержку. Вслед за двумя великими державами одними из первых о признании Израиля заявили, в частности, Польша и Чехословакин.

Советская поддержка еврейского государства была не только моральной, но и весьма ощутимо — материальной. Правительство СССР разрешило массовый выезд евреев в Палестину, оказывало израильской армии военную помощь, что, разумеется, официально не афишировалось. В конце января 1948 года английские власти перехватили два парохода с еврейскими иммигрантами, направлявшимисн в Палестину, и доставили их в лагеря на Кипре. По утверждению представителя британского министерства иностранных дел, из 15 тысяч нелегальных иммигрантов около тысячи говорили по-русски. Иммиграция советских евреев в Палестину тогда на Западе подавалась н духе времени: американское агентство Юнайтед Пресс сообщало, что Советский Союз собираетсн «бросить полтора миллиона коммунистических агентов в Западную Европу и на Ближний Восток» и что «часть этих людей — евреи, часть русские»[26]. Была и иная версин: русские угнетают другие национальности, и жертвы этого угнетения иммигрируют на Ближний Восток, но, опять-таки, именно через них там распространнется «красная зараза»[27]. Советская военная помощь оказывалась еврейской армии как до провозглашения государства Израиль, так и после, уже в ходе войны с арабами, о чем можно судить по косвенным данным.

Так, весной 1948 года в арабской печати появилась информация о том, что у берегов Палестины арабы захватили «русский» пароход «Ляйкофта», на борту которого было 680 артиллерийских орудий, 20 танков и 20 бронемашин[28]. Командующий арабскими добровольческими отрядами в Палестине в своем интервью утверждал, что в боях против его частей сражались «три русских батальона», причем «один русский — генерал-полковник — был во время сражения убит, а второй повешен арабами»[29].

Позднее американская разведка получила сведения о том, что Советский Союз снабжает Израиль вооружением и самолетами воздушным путем из Чехословакии[30]. Эти сведения хотн и публиковались в нашей печати, но тогда их достоверность безоговорочно отрицалась.

Разумеется, и в то, довольно благополучное для советско-израильских отношений время, отношения эти не были безоблачными. В самом Израиле имелись силы, недружелюбно настроенные к Советскому Союзу. Не станем сейчас детально разбирать причины подобных отношений к СССР, скажем только, что оснований для критики нашей системы было

тоже достаточно. В еврейском государстве, бесспорно, были влиятельные круги, безоговорочно ориентированные на США и имевшие от этого вполне определенный материальный интерес, и они не могли не заявлять о себе. У нас же всегда очень болезненно относились к критике. Поэтому когда израильский журнал «Бтэрем» опубликовал статью, в которой говорилось о том, что советские евреи поставлены в тяжелые экономические условия, что они не обеспечены медицинской помощью, лишены свободы слова, организации и т. д., он был обвинен в клевете [31]. Как инсинуация была охарактеризована заметка в газете «Гамакшкиф», сообщавшая о том, что советский посланник в Тель-Авиве ночью 8 ноября 1948 года под видом прогулки занимался «собиранием сведений»; в эту ночь, добавляла газета, город находился на военном положении. Отметим и изящную логику опровержения, которую наш журнал «Новое время» применил: «Но газета явно лжет, хотя бы потому, что ночью 8 ноября Тель-Авив отнюдь не находился на военном положении» [32]. Следовательно, и наш посланник не собирал никаких сведений!

Каковы же причины радикальной взаимной переориентации Советского Союза и Израиля? Привычные штампы, вроде «происков империализма на Ближнем Востоке» или «агрессивности сионизма» по существу ничего не объясняют. Это — всего лишь модернизированные варианты тезиса о внешнем враге, постоянно организующем провокации против мира и демократии.

Произраильскую, а точнее — проеврейскую ориентацию советского руководства в конце 40-х годов, вероятно, стимулировала антикоммунистическая кампания в арабских странах. Не исключено, конечно, что наши тогдашние руководители, способствуя созданию еврейского государства, рассчитывали на то, что поскольку «все евреи левые», Израиль будет проводить на Ближнем Востоке просоветскую политику. Когда же эти надежды не оправдались, советско-израильские отношения стали быстро охлаждаться. Этому способствовала и начавшаяся в СССР борьба с «космополитизмом», а поднее — «дело врачей».

Безусловно, эти факторы имеют производный характер. Главное же — в несовместимости внутренних политических структур Израиля и Советского Союза. Многие арабские режимы после свержения там монархов были более близки по духу советскому руководству, принципиально не признававшему «буржуазной лжедемократии». Понятно, что прозападная ориентация Израиля определялась западной политической системой этой страны, что и вызывало раздражение в Советском Союзе.

Эти настроения были выражены корреспондентом «Нового времени», побывавшем в Израиле в 1951 году: «Три года существования Израиля не могут не разочаровать тех, кто ожидал, что появление нового независимого государства на Ближнем Востоке будет содействовать укреплению сил мира и демократии» [33]. Понятно, что представление о демократии в нашей стране за сорок лет существенно изменились. Но даже если отвлечься от этого, не слишком ли большие претензии предъявлялись у нас к государству, созданному три года назад и находившемуся в процессе становления? Не будем забывать прежде всего о внутренних трудностях этого процесса: новая страна создавалась в основном из переселенцев, в условиях войны и неустойчивого перемирия. Тем не менее всего через восемь месяцев после провозглашения еврейского государства, в январе 1949 года, в Израиле состоялись всеобщие выборы в Учредительное собрание, ставшее первым кнессетом.

Далее, нельзя не признать, что идеологи сионизма с самого начала вынуждены были ориентироваться на Запад. И в этом нет ничего удивительного, если быть объективным. Обратимся к истории. В соответствии с «декларацией Бальфура», принятой в ноябре 1917 года, английское правительство обязалось содействовать созданию в Палестине «еврейского национального очага». Еще более определенную позицию по этой проблеме заняло тогда же правительство США, и президент В. Вильсон прямо заявил о необходимости «заложить в Палестине фундамент еврейского государства» [34]. И несмотря на всю сложность этой задачи, на зигзаги ближневосточной политики западных стран, еврейское государство было создано. А что обещали еврейскому народу социалисты? Маркс, а вслед за ним Каутский, Отто Бауэр, российские большевики объявляли саму идею еврейской нации реакционной и предрекали евреям неизбежную ассимиляцию. Ассимиляция в условиях разгула во многих странах антисемитизма — не правда ли, великолепная перспектива!

Проводя свою внешнюю политику, израильское правительство вынуждено было считаться со следующими реалиями: во-первых, враждебное арабское окружение; во-вторых, недружественная позиция Англии; в-третьих, неустойчивая поддержка США; в-четвертых, меняющееся к худшему отношение Советского Союза. Небольшая страна нуждалась в надежной поддержке и помощи более могущественных партнеров. Советский Союз в то время не мог и не хотел быть таким партнером. В этих условиях естественным было обращение взоров израильских политиков на Запад, за океан.

Это вызывало еще большее недовольство СССР, и советско-израильские отношения коллапсировали.

Осенью 1951 года правительства США, Англии, Франции и Турции обратились к правительствам семи ближневосточных стран с предложением о создании союзного средневосточного командования для совместной обороны Ближнего и Среднего Востока. Антисоветская направленность этого плана была очевидна, поэтому 21 ноября правительство СССР направило ноты аналогичного содержания Египту, Сирии, Ливану, Ираку, Саудовской Аравии и Израилю, в которых предупреждало, что «участие стран Ближнего и Среднего Востока в... средневосточном командовании нанесет серьезный ущерб существующим между СССР и этими странами отношениям, а также делу поддержания мира и безопасности в районе Ближнего и Среднего Востока». Этот демарш Советского Союза, видимо, сыграл свою роль в отказе арабских стран обсуждать предложенный США и их союзниками план. Кстати, ответная нота правительства Израиля от 8 декабря 1951 года в то время у нас не была опубликована, но о ее содержании можно судить по более позднему документу — письму министра иностранных дел М. Шарета В. М. Молотову, направленному 6 июля 1953 года, в котором цитировалась нота 1951 года: «Израиль никогда не соглашался и не согласится поддержать выполнение или подготовку актов агрессии против СССР или любого другого миролюбивого государства» [35].

Тем не менее в 1952 году Израиль и США заключили соглашение «о помощи по обеспечению взаимной безопасности», которое предусматривало предоставление Израилю американской военной помощи. В то время это могло рассматриваться в СССР однозначно — как проявление враждебности к нашей стране и вызывало соответствующую реакцию советского руководства. Однако, сближаясь с Соединенными Штатами, что тогда, как уже отмечалось, было вполне закономерно и естественно, Израиль вместе с тем старался сохранить, насколько это возможно, остатки «неидентификации», ибо только эта политика могла обеспечить надежную безопасность страны и стабильность в регионе. Поэтому правосоциалистическое израильское руководство пыталось не обострять отношений с Советским Союзом. Так, хотя еще в 1951 году США и Израиль подписали «Договор о дружбе, торговле и мореплавании», ратификация его израильской стороной была осуществлена только через три года.

По случаю 35-й годовщины Октябрьской революции премьер-министр Израиля Д. Бен-Гурион направил поздравление на имя И. В. Сталина. В самом Израиле были проведены митинги и собрания, организованные Лигой дружественных связей с СССР, компартией и объединенной рабочей партией (МАПАМ). В Тель-Авиве 8 ноября был торжественно открыт Дом дружбы Израиля с СССР [36]. Все это свидетельствовало о существовании в Израиле активных политических сил, выступавших за нормальные и даже дружественные отношения с Советским Союзом. Были в израильском руководстве политические деятели, склонявшиеся к установлению добрососедских отношений и с арабскими странами. Е. Примаков, например, отмечает, что тогдашний министр иностранных дел (а с декабря 1953 года — премьер-министр) М. Шарет «придерживался взглядов о необходимости „вживания“ Израиля в ближневосточный район. Есть основания считать, что Шарет был не согласен с крайними проявлениями антиарабского экстремизма в израильской политике» [37]. СССР вполне мог рассчитывать на расширение влияния этих сил на политику Израиля. Но для этого сам Советский Союз должен был вести свои внутренние и международные дела корректно, считаясь с мировым общественным мнением и моралью. К сожалению, тогдашнее советское руководство, очевидно, решило «наказать» не оправдавший его надежд Израиль и с этой целью организовало шумное «разоблачение» «врагов мира и социализма» в международном масштабе.

В ноябре 1952 года в Чехословакии состоялся процесс «антигосударственного заговорщического центра» (дело Р. Сланского), на котором была «разоблачена роль международного сионизма как агентуры американского империализма».

На этом процессе, напоминавшем известные судилища 1936—1938 гг. в Советском Союзе, бывшие генеральный секретарь ЦК КПЧ и его заместители, а также министр иностранных дел оказались троцкистами и сознались во вредительстве и шпионаже, секретарь Брненского обкома партии был разоблачен как ярый еврейский буржуазный националист и тому подобное [38]. Но это было только начало похода против «международного сионизма». 13 января 1953 года в советской печати было опубликовано сообщение о раскрытии органами госбезопасности террористической группы врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Оказалось, что «участники злодейской шайки» — профессора М. С. Вовси, Б. Б. Коган, А. И. Фельдман, А. М. Гринштейн, Я. Г. Этингер и другие — были связаны с сионистской организацией «Джойнт», по заданию которой они умертвили А. А. Жданова и А. С. Щербакова и готовили новые преступления. «Выясни-

лось», что изверг Вовси директиву «Об истреблении руководящих кадров СССР» получил через «известного еврейского буржуазного националиста» Михоэлса [39]. Как же оказался среди «сионистов» С. М. Михоэлс (1890—1948), председатель Еврейского антифашистского комитета СССР, профессор, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии? Наверное, вспомнили его слова, произнесенные на втором митинге представителей еврейского народа в Москве 24 мая 1942 года: «Мое сердце еврея полно взволнованной гордости, ибо я обращаюсь к вам, как гражданин великой свободной страны, как сын великого советского народа, как советский гражданин!» [40] Крамола в том, что слова эти были обращены «к сыновьям еврейского народа в Англии, США, Палестине, странах Южной Америки, Южной Африки и Австралии».

За арестом «врачей-вредителей» последовали высылка из Венгрии «за шпионскую деятельность» израильского атташе по вопросам культуры и нота чехословацкого правительства правительству Израиля. Становилось все понятнее, что с помощью международного сионизма коварный враг проникает в коммунистические партии! Антисемитизм последовательно и настойчиво нагнетался руководством СССР и стран «народной демократии». Естественно, что реакция на эту компанию в Израиле была резко отрицательной. Все это и сделало возможным совершение террористического акта в Тель-Авиве, где на территории советской миссии 9 февраля 1953 года произошел взрыв бомбы, в результате чего было ранено три человека, из них две женщины. На следующий день президент и МИД Израиля осудили эту террористическую акцию и принесли извиненин, пообещав найти и наказать преступников. Однако Советское правительство в заявлении от 10 февраля обвинило Израиль в отсутствии в этой стране «элементарных условий для нормальной дипломатической деятельности представителей Советского Союза» [41] и приняло решение о прекращении дипломатических отношений с Израилем. Трудно избавиться от впечатления, что все шаги советского руководства и реакция на него в Израиле, начиная с ноября, когда были арестованы «врачи-изуверы», и кончая взрывом бомбы и заявлением о разрыве отношений с Израилем, были продуманы, предусмотрены и увязаны. Интересно, что об этом же, по-своему, писал тогда и журналист Ю. Жуков, который отмечал, что «особенно неистовый характер» антисоветская кампания в Израиле приняла «после того, как органы государственной безопасности СССР и ряда стран народной демократии обрубили кровавые щупальца международной еврейской буржуазно-националистической организации „Джойнт“, созданной американской разведкой для ведения шпионско-диверсионной террористической деятельности против миролюбивых государств» [42].

Хотя дипломатические отношения между СССР и Израилем были восстановлены в июле 1953 года, а в мае следующего года миссии были преобразованы в посольства, о возвращении к прежней атмосфере доброжелательности уже не могло быть речи. С советской стороны серьезный, взвешенный анализ, учет интересов партнера, элементарный такт все больше уступали место тенденциозной пропагандистской риторике «на высшем уровне», не считавшейся даже с общеизвестными фактами недавнего прошлого. И вот в декабре 1955 года на сессии Верховного Совета СССР Н. С. Хрущев заявил: «Мы понимаем устремления народов арабских стран, которые борются за полное освобождение от иностранной зависимости. В то же время заслуживающими осуждения являются действия государства Израиль, которое с первых дней существования начало угрожать своим соседям, проводить по отношению к ним недружелюбную политику» [43].

Таким образом, налицо были безоговорочная поддержка одной стороны в углубляющемся конфликте и приписывание однозначно агрессивных намерений другой стороне, сопровождающиеся вольным обращением с историей. Официальный тон был задан, и пропаганда не останавливается уже перед прямой фальсификацией. В одном из международных обзоров читаем: «Израиль развязал войну против арабских стран буквально на следующий день после того, как 14 мая 1948 года в Иерусалиме был спущен английский флаг и было провозглашено образование государства Израиль» [44].

Еще Маркс писал о сложности и запутанности пресловутого «восточного вопроса, постоянно вновь возникающего, всегда затушевываемого, но никогда не разрешаемого» [45]. В нашем веке ситуация на Ближнем Востоке, особенно в Палестине, еще более осложнилась и обострилась. Здесь переплетались и сталкивались интересы Антанты и Четверного союза, англо-французские, англо-германские, американо-английские интересы и так далее. Борьба великих держав в регионе усугублялась арабо-еврейскими противоречиями и конфликтами. Все это требовало предельной ответственности, осмотрительности, даже деликатности при вступлении в «ближневосточный клуб» новых партнеров, в том числе и Советского Союза, границы которого находились в непосредственной близости от взрывоопасного региона. Однако к середине 50-х годов для советского руководства, исповедовавшего во внешней политике плоский

«классовый подход» и поддерживавшего поэтому отсталость и тоталитаризм, «восточный вопрос» стал, по-видимому, предельно простым и понятным. В силу этого военный переворот 1952 года в Египте приобрел характер национально-освободительной революции *, национализация компании Суэцкого канала, поставившая мир на грань крупного локального конфликта, а то и мировой войны, превратилась в «удар по англо-французскому империализму», а Израиль, соответственно, стал играть роль «орудия международного империализма» [46].

Вот как начиналась «юбилейная» статья в одном из советских научных журналов: «В 1958 г. исполнилось десять лет с момента образованин государства Израиль. Роль Соединенных Штатов Америки в образовании этого государства широко известна...» [47]. Ни о роли Советского Союза в создании Израиля, ни о его помощи новому государству в трудные для обеих стран годы уже и не упоминалось. Официальнан наука, в соответствии с многолетней традицией, смиренно подчинялась неисповедимой политике, которая, в свою очередь, демонстрировала полнейшее равнодушие к науке, опираясь в своих исканиях на мифическое «марксистско-ленинское учение».

Наступал долгий период замораживания, свертыванин, а затем и разрыва отношений между двумя странами, связанными сотнями тысяч живых нитей.

Нет необходимости доказывать сегодня, что палестинская проблема при ее предельной сложности, запутанности и запущенности, как никакой другой вопрос международной жизни, требовала для своего решения совместных усилий всех заинтересованных сторон, особенно великих держав, причем все их действия должны были строиться на основе взаимных компромиссов. На деле получилось совсем иначе. Ближний Восток уже в 50-е годы стал ареной соперничества, прежде всего СССР и США, действовавших по принципу «чем хуже для партнера, тем лучше для меня». В Соединенных Штатах все же раньше, чем у нас поняли, что в этом регионе необходима взвешенная и реалистичная политика, и кэмп-девидские соглашения, при всей их половинчатости, ознаменовали неудачу нашей внешней политики на Ближнем Востоке. Иначе и быть не могло, ибо советская политика здесь, по-видимому, уже к середине 60-х годов оказалась полностью разбалансированной. Важно и то, что резко осуждая «агрессивные устремления» сионизма вообще, наши политики своей односторонней, бескомпромиссной позицией в отношении Израиля стимулировали наиболее радикальное, крайне правое крыло сионизма. По-видимому, корни предвзятого отношения в Советском Союзе к сионизму и к Израилю в том, что у нас политику этой страны рассматривали вне связи с еврейским вопросом, якобы раз и навсегда решенным в СССР.

Начавшанся деидеологизация межгосударственных отношений рано или поздно коснется Советского Союза и Израиля и потребует взаимных усилий. С нашей стороны, как мне кажется, необходим пересмотр отношения к еврейской национальной идеологии — сионизму и отказ от «борьбы» с ней. Еврейский народ чуть более сорока лет назад завоевал право на национальное развитие. Он имеет право и на свое национальное самосознание. Пока в мире не изжит антисемитизм, будут существовать и различные формы сионизма. По мере разрешения еврейского вопроса политические формы сионизма будут принимать все более умеренный характер и постепенно вытесняться чисто культурными формами.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Новое арeмя. 1990. № 20. С. 17.
[2] Бухарков В. Два народа — два государства//Азия и Африка сегодня. 1990. № 2. С. 33—34.
[3] Там же.
[4] Новое время. 1990. № 15. С. 26.
[5] Правда. 1948. 23 апреля.
[6] Цит. по: Жуков Ю. Провал американской политики в палестинском вопросе//Правда. 1948. 25 мая.
[7] Правда. 1948. 21 марта.
[8] Там же. 6 мая.
[9] См.: Красная Звезда. 1948. 1 апреля.
[10] Цит. по: Новое время. 1948. № 19. С. 7.
[11] См.: Красная Звезда. 1948. 7 апреля.

* Один из руководителей июльского переворота генерал М. Нагиб главной причиной восстания египетских офицеров откровенно называл отказ правящей верхушки от проведения военных реформ. «Если бы король и его друзья,— писал Нагиб в своих мемуарах,— поддержали нашу оздоровительную программу, мы бы никогда не восстали».— Цит. по: Луцкий В. Б. Июльская революция 1952 года в Египте//Советское востоковедение. 1957. № 2. С. 31.

[12] Правда. 1948. 16 мая.
[13] См.: Новое время. 1951. № 47. С. 25.— Этот план предусматривал объединение Трансиордании, Палестины, Сирии, Ливана и Ирака под короной Абдаллы.
[14] См.: Огонек. 1948. № 31. С. 21; Советское государство и право. 1949. № 1. С. 24.
[15] Правда. 1948. 4 мая.— Содержание «легиона» ежегодно обходилось англичанам в два с половиной миллиона фунтов стерлингов. Во главе его находился английский генерал Джон Глабб, командный состав был также укомплектован англичанами.
[16] См.: Новое время. 1948. № 22. С. 9; Красная Звезда. 1948. 1 апреля.
[17] Цит. по: Новое время. 1948. № 25. С. 14.
[18] Там же.
[19] Известия. 1948. 16 мая.
[20] См.: Новое время. 1951. № 47. С. 23.
[21] Олдридж Дж. Каир. Биография города. Пер. с англ. М., 1970. С. 193.
[22] См.: Правда. 1948. 23 мая.
[23] Там же.
[24] Осипова П. Из истории английского управления Палестиной (1919—1930)//Вопросы истории. 1948. № 12. С. 88.
[25] Цит. по: Новое время. 1951. № 47. С. 25.
[26] Правда. 1948. 2 февраля.
[27] Там же. 29 февраля.
[28] Новое время. 1948. № 36. С. 27.
[29] Правда. 1948. 4 мая.
[30] См.: Новое время. 1948. № 47. С. 29.
[31] См.: Новое время. 1948. № 51. С. 16.
[32] Там же.
[33] Новое время. 1951. № 36. С. 30.
[34] Цит. по: Ллойд Джордж Д. Правда о мирных договорах. Т. 2.— М., 1957. С. 302.
[35] Правда. 1951. 21 июля.
[36] Правда. 1952. 8, 10 ноября.
[37] Примаков Е. М. Анатомия ближневосточного конфликта. М., 1978. С. 91.
[38] Правда. 1952. 21, 22, 28 ноября.
[39] Известия. 1953. 13 января.
[40] Правда. 1942. 25 мая.
[41] Правда. 1953. 12 февраля.
[42] Правда. 1953. 14 февраля. Менее чем через месяц после смерти И. В. Сталина обвинения против привлеченных по «делу врачей» были сняты, а арестованные — освобождены.— См.: Известия. 1953. 4 апреля.
[43] Известия. 1955. 30 декабря.
[44] Международная жизнь. 1956. № 12. С. 130.
[45] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 10. С. 173.
[46] История КПСС. В 6-ти т. Т. 5, кн. 2.— М., 1980. С. 491—492.
[47] Никитина Г. С. Израиль и американский империализм//Советское востоковедение. 1958.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Евгений
КАЛМАНОВСКИЙ

ПЕРЕД ТРЕТЬИМ ВЕКОМ

13 мая 1857 года Федор Иванович Тютчев в письме к жене своей Эрнестине Федоровне между прочим рассказывал: «Я посетил на днях старика Аксакова, выразившего желание меня видеть и принявшего меня с такой нежностью и радостью, которые бы тебя растрогали за меня. Это симпатичный старец, несмотря на его несколько странный вид, вероятно благодаря его длинной седой бороде, спускающейся на грудь, и необычной одежде, делающей его похожим на старого заштатного дьякона».

Тютчев и в середине XIX века почти всегда привычно пишет письма по-французски. Так что привкус перевода, сделанного позднейшими публикаторами, непременно ощущается.

Но сейчас важен не Тютчев — а «старик Аксаков».

Для начала мне было необходимо воочию представить себе и вам того, о ком поведу речь. Иначе человек оказывается словно задвинут, заставлен кипой бумаги, именуемой его сочинениями (я же о писателе говорю). Сочинения могут быть прекрасны, но ничто не заменит хотя бы минутного взгляда на того, кто их написал. Человеческие лица и фигуры так много говорят!

В истории Аксаков остался «стариком». Таким вот, как у Тютчева в письме.

Но нельзя же забывать: Сергей Тимофеевич Аксаков имел общепризнанные актерские способности. Еще в 1830-е годы был весьма заметен на любительских сценах. Театр знал хорошо, дружил с актерами.

Весь этот жизненный опыт тоже не мог не входить каким-то образом в его облик и обычное поведение.

Сергей Тимофеевич родился 20 сентября (1 октября нового стиля) 1791 года. Литератором он стал смолоду. Публиковал театральные рецензии, переводы — тоже в основном для театра.

Его «Записки об уженье рыбы» вышли книгой в 1847 году. Они имели большой успех. Как и последовавшие пятилетие спустя «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии».

Книги же, благодаря которым Аксаков всего известней теперь, то есть «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и разные воспоминания, в основном написаны уже после смерти Николая I 18 февраля 1855 года.

«Детские годы Багрова-внука» явились на свет отдельным томом в 1858 году. 30 апреля 1859-го Аксакова не стало.

Для наших современников он прежде всего писатель. Однако свой основной долг в связи с двухсотлетием со дня его рождения вижу не в публичном перечитывании его сочинений. Они многажды изданы и всякому доступны. Можно обращаться к его книгам по собственному настроению и выбору. Чтение Аксакова — дело хорошее, безобманное.

Я же вглядываюсь в него как явление не столько самой по себе отечественной литературы, сколько жизни.

Сын Иван, среди детей Сергея Тимофеевича в истории наиболее известный, называл его в письмах «отесенькой». Это слово было в общем семейном употреблении. Так говорили Константин, Григорий, Вера, Ольга, Надежда, Любовь, Мария (Марихен), Софья. Называю не всех детей, только тех, что были живы на переходе от сороковых к пятидесятым.

Быт семьи Аксаковых к этой поре дышит миром и общим благоволением при несомненной прямизне мыслей и поступков каждого.

«Заиграла музыка согласная, какой сродясь она не слыхивала».

Я выписал строку из аксаковского «Аленького цветочка» про меньшую дочь купца, явившуюся во дворец зверя лесного.

Все это согласие можно даже почувствовать на вкус сладковатым, своего рода идеальничаньем напокаа.

В одном английском романе, принадлежащем недавнему времени и, стало быть, не имеющем никакого отношения ни к Аксакову, ни к его эпохе, ни к русской жизни вообще, попалась такая мысль: мол, самое страшное последствие любой войны — в том, что, выйдя из нее, человек вдруг ощущает пресность, скуку мирного существования.

На памяти огромного большинства из нас XX век прошел в сплошных войнах. Не внешних, так внутренних. Не повсюду, так на родной нашей земле. Не на военных позициях, так в обиходе. Не оружием, так словами, угрозами и особым спросом.

Но, кажется, все мы — во всяком случае, явное большинство — вполне готовы расстаться с таким образом жизни и на совсем иных основаниях начать новый век. Для Аксакова он будет третьим.

Конечно, с самим Сергеем Тимофеевичем не так-то все просто. Ведь не о какихнибудь Пульхерии Ивановне или Афанасии Ивановиче речь.

На жизненном пути Аксакова всяких сложностей встретилось предовольно.

Одни болезни и смерти детей способны внести страшное беспокойство в любую жизнь, тем более такую, к другим людям открытую.

В собственном детстве Аксаков был слаб здоровьем, нежен чувствами, судорожно, до истерик держался за маменьку на смех ровесникам.

И много позже Сергея Тимофеевича отличала, по его же словам, «необыкновенная застенчивость»; он был «даже немножко дик с людьми, не коротко знакомыми».

Наличность кой-какая имелась, но весьма умеренная. Знаменитое Абрамцево купили только в 1843 году. В молодости надо было идти служить. Около трех лет — цензором и исполняющим обязанности председателя Московского цензурного комитета. Был на других службах. В отставку вышел в конце 1838 года с должности директора Константиновского Межевого института.

К середине шестого десятка жизни у Сергея Тимофеевича резко слабеет зрение. Все сочинения, самые известные, приходится диктовать домашним.

Врожденная чувствительность никуда не девалась. В шутливом послании 1851 года (Аксаков иногда баловался стихами) дано обширное обозрение своей душевной жизни:

Дух по-прежнему тревожен,
Нет сердечной тишины,
Мир душевный невозможен
Посреди мирской волны!
И в себе уж я не волен.
То сержуся я, то болеи,
То собою недоволен,
То бросаюсь иа других,
На чужих и на своих!

Так вот все шло. Да и кто предположит, что могло быть иначе у человека со столь неравнодушной природой?!

И все-таки, читая Аксакова, Лев Николаевич Толстой находил, что это чтение «необыкновенно успокоительно и поразительно ясностью, верностью и пропорциональностью отражения».

С Толстым трудно не согласиться.

Хотя строгий, так сказать, юридический взгляд легко представит весомые возражения.

Мерзавец, кровопийца Куролесов из «Семейной хроники» какую несет успокоительность? И он не один представляет собой здесь дурную траву на огромном поле российской действительности.

Но все это суровое, тяжкое и даже ужасное не колеблет в глазах Аксакова основательности жизни. Ему видится не трясина, не хаос, не какой-нибудь там затянувшийся промежуток, да еще не ясно, между чем и чем.

Нет и нет. Дни и люди для Аксакова именно обладают живой основательностью. Достоинство жизни — в ней самой, как бы она ни пугала и ни угнетала. Живите в доме, и не рухнет дом.

В быте Сергея Тимофеевича и в сочинениях его все полновесно, имеет прочный объем, состоит из необходимых подробностей, которые нельзя лишь окинуть рассеянным взглядом и тут же ими пренебречь на бегу к славе, богатству и прочим отдаленным соблазнам разного калибра.

Среди другого в «Семейной хронике» меня совершенно сразила малосущественная, казалось бы, деталь. Рассказ идет о деде повествователя Степане Михайловиче Багрове. Он спал на кровати с пологом: «Без полога заели бы его злые комары и не дали уснуть. Роями носились и тыкались длинными жалами своими в тонкую преграду крылатые музыканты и всю ночь пели ему докучные серенады. Смешно сказать, а грех утаить, что я люблю дишкантовый писк и даже кусанье комаров: в них слышно мие знойное лето, роскошные бессонные ночи, берега Бугуруслана, обросшие зелеными кустами, из которых со всех сторон неслись соловьиные песни».

Как же на самом деле надо быть приверженным обычной жизни, чтобы принять с миром и даже благодарным чувством столь докучливую житейскую наличность!

Положим, комары есть комары. Не собираюсь извлечь слишком много значения из подобной мелочи. Но как не завидовать мудрости жизнеприятия, и таким образом выраженной.

Мне кажется, Аксаков потому и стал писателем все-таки очень поздно, несмотря на все свои ранние литературные занятия. Он жил и жил, с огромным интересом вникая во всякое движение жизни.

Биограф Аксакова С. И. Машинский разыскал и привел в своей книге удивленные воспоминания одного из приятелей Сергея Тимофеевича: «Он как-то всегда знал о знакомых всю подноготную; как он умел это, не знаю; но знаю, что не было никого из нас и наших общих знакомых, о ком не знал бы Аксаков всех подробностей его жизни».

Когда собственная биографин стала склоняться к финалу, Аксаков не заменил пройденное рассказами о нем. Не другая, иная жизнь началась, а все та же стала двойной, удвоенной. Вот снова предмет для удивлений: что за финал, когда, напротив, приобрелось такое содержание дней?!

Можно, конечно, прославить не самого Аксакова, а судьбу. В конце концов это она уберегла его от преобладающей памяти на злое и обидное. Но хочешь верить, что судьба не легкомысленна и не равнодушна. Что у нее есть замысел упрямый. Состоит он и в том, чтобы нет-нет да выбрать действительно достойного человека и представить очевидный пример существования без мотающих душу тайных страстей, без одиночества на людях, без неизбежной дуэли — с оружием ли в руках или свернувшейся во взгляде, который бросает один человек на другого.

Все это, говорю, могло быть, подкарауливало и даже показывалось. Но Сергей Тимофеевич был молодцом. День за днем он старался, сколько мог, улучшать данную Богом жизнь, какая уж она есть, не круша, не ломан, не разбрасывая куда ни попадя обломки.

На почве такой жизнеприязни зиждется все: сам дух дома Аксаковых, особое чувство родной речи, родной земли, родной природы: пóля, лéса, рекй и любой живности, их населяющей.

Аксаковы были уверены, что у России свой состав жизни и свой путь. При всем миролюбии в доме много спорили. С друзьями, гостями и между собой.

Сергея Тимофеевича то огорчало, то возмущало «отсутствие русского направления, какой-то европеизм без толку» — слова взяты из письма середины пятидесятых годов.

Его «русское направление» не содержало ни капли подозрительности по поводу чужих воззрений и поведения или агрессивного, злобного страха обделенности. Оно не было способом самоутверждения и предъявления прав на специальные льготы.

Так жили, так любили. Здоровому, хорошему радуясь. Вздор и беззаконие за добро не принимая.

Виссарион Григорьевич Белинский, которого одно время (пока тот не ополчился с яростью против славянофилов) Аксаков очень любил, толковал в «Литературных и журнальных заметках» (1845): «Мы веруем в великую истину, что достоинство всякой доктрины больше всего познается по достоинству лиц, которые ей следуют».

Доктрины в точном смысле слова у Аксакова не было, а вот достоинство было в высшей степени. Он вообще человек не теоретический.

В «Семейной хронике» — опять же про деда Степана Багрова: «У старика, кроме здравого ума и светлого взгляда, было это нравственное чутье людей честных, прямых и правдивых, которое чувствует с первого знакомства с человеком неизвестным правду и неправду его, длн других не заметную; которое слышит зло под благовидною наружностью и угадывает будущее его развитие».

Когда сын Константин, по-видимому, любимый, судил о чем-либо с бесконтрольной запальчивостью мысли, отец ни в какую не разделял его мнений. Говорил об этом, как всегда, прямо — нисколько не лишая притом сына заботы и сочувствия.

«Надо жить честно» — вот, собственно, главное правило Аксакова-отца.

От главного происходили правила более частные, но столь же твердые.

И не приходилось ему колебаться вместе с веком, совершать сомнительные деяния в угоду дню и часу, чтобы потом с постыдной уверенностью в себе объяснять: «Тогда я искренне верил в то-то и то-то. Теперь искренне верю в то-то».

Сергей Тимофеевич самым естественным образом не способен был принять хоть какое-нибудь подавление мысли, требование тупой дисциплины, натиск фанатизма — иначе говоря, все то, что не вызывалось бесспорной истиной, честной разумностью.

Наверное, так же ясно, просто, прочно отсеивал он весь бред российской истории.

«Наше политическое положение меня с ума сводит»,— вскрикнул он в одном из писем поры Николая I.

Все-таки «сводит с ума» слишком сильно сказано.

Потом власть переменилась. Жить стало свободней. Начали выходить одна за другой книги Аксакова. Петр Александрович Плетнев представил новому царю доклад про «Семейную хронику» и полагал, что автору ее выйдет награда.

Сергей Тимофеевич забеспокоился. Сыну Ивану написал: «Слова Плетнева: „Добрый наш государь, конечно, поблагодарит вас за труд общеполезный...“ очень меня смутили. Боюсь, чтобы не дали мне перстнн. Все эти добрые люди не понимают, что самое доброжелательное прикосновение правительства к моей чистой литературной славе — потемнит ее».

Такая вот твердость и незыблемое уважение к собственным правилам. Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь.

Вся эта незыблемость — при изумительном качании российской почвы, вечных крайностях, при столетиями выкованном общем уменье валить с больной головы на здоровую, винить правого и обелять виноватого.

Мягкоуспокоительный Аксаков стоит, как скала, как утес.

В разных воспоминаниях, как и везде у него, нисколько нет яда по отношению к вспоминаемым современникам. Но приукрасить, пусть и во благо («de mortuis nil nisi bene»), но солгать — нет, никогда.

В ряду сочинений о прошлом «Воспоминания», посвященные адмиралу, писателю, министру Александру Семеновичу Шишкову — из самых увлекательных и метких. Душевная привязанность к

Шишкову у Аксакова несомненная. Но доходит дело до «славянофильства» (Аксаков сам применяет здесь это слово), то есть до общих воззрений Шишкова и его единомышленников.

И что же?

«Век Екатерины, перед которым они благоговели, считался у них не только русским, но даже русскою стариною. Они вопили против иностранного направления — и не подозревали, что охвачены им с ног до головы, что они не умеют даже думать по-русски. Сам Шишков любил и уважал русский народ по-своему, как-то отвлеченно; в действительности же отказывал ему в просвещении и напечатал впоследствии, что мужику не нужно знать грамоты. Так бывают иногда перепутаны человеческие понятия, что истина, лежащая в их основе, принимает ложное и ошибочное развитие».

Перепутанное надо бы при любых обстоятельствах расплести.

В связи с этим пора нам взяться за сюжет, пожалуй, из самых острых.

Как известно, XX век начинался в конце предшествующего, и начинался он крутой сменой способа рассматривать мир и людей. Утверждалась всевозможная изысканность. Пуще греха боялись пресных чувств и наивных моралей. Пошла мода на «цветы зла» — их находили там, где раньше никогда не замечали.

С первых же десятилетий двадцатый век не раз пытался породнить в русской литературе не кого другого, а Гоголя с чертом, с дьявольской бездной.

Нынче наш век после всех передряг кончается. История его известна. И, кажется, вследствие тяжкой этой истории снова в наибольшей цене не изыск, не игры с дьяволом — а истина. Простая и ясная. Лишь бы добавила жизни достоинства и надежности. В таких-то обстоятельствах начинаешь верить, что третий век Аксакова будет для него самым утвердительным.

Что же касается Гоголя, то тень, брошенная на него, полностью не смыта. Хотя размышляли о нем по-всякому.

Аксаков хорошо его знал в течение двух десятилетий с начала тридцатых годов. После смерти Пушкина Гоголь ничьим мнением так не дорожил, как аксаковским, утверждал Юрий Федорович Самарин.

У всей семьи Аксаковых не было сомнений в том, что их знакомец — великий писатель. И в двадцать пять его лет, и в сорок два. Каждой встрече с ним радовались как выдающемуся событию, как празднику.

Переживший Гоголя Сергей Тимофеевич много думал о нем. Стал писать «Историю моего знакомства с Гоголем», но не завершил и не издал.

По Аксакову, крайняя нервность и долговременное безделье были причиной так называемых «странностей» Гоголя. «Нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших, слышат то, чего мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас не известных».

В «Истории моего знакомства» Аксаков снова и снова винит себя в том, что не всякий раз находил время и силы окончательно понять и другим объяснить каждый поступок, каждое душевное движение Гоголя.

Правда, «чего не мог объяснить, о том старался забыть, не толкуя в дурную сторону».

И этим уже был прекрасен.

Так, видно, устроено: чтобы и Пушкина с Гоголем понять, нужно бесконечное терпение, нужен неусыпный труд души, всемерное напряжение ее.

Природа не сотворила нашего Аксакова ни гениальным писателем, ни таким же мыслителем. Однако от него потребовалось вполне постичь того, кто превзошел его дарованиями и кого ждала слава без границ во времени и пространстве.

Похоже, среди гоголевского окружения именно Сергей Тимофеевич вынес это испытание с наивысшей честью. С совершенным бескорыстием. Наоборот, тратил собственные нервы и собственные деньги; и в том, и в другом сам, многосемейный, был ограничен.

Когда создателя «Мертвых душ» не стало, Аксаков написал «Письмо к друзьям Гоголя», вслед за ним «Несколько слов о биографии Гоголя».

Со всей твердостью он произнес: «Гоголь был не только великий художник, но и вполне верующий христианин». Нет сомнений «в правде его смирения, чистоте намерений, сердечности чувствований и стремления к добру».

Эти слова о Гоголе, одни из первых, правомерно считать в известном смысле и последним словом про автора Поприщина и Башмачкина, Плюшкина и Селифана. Поскольку здесь не просто взгляд и размышление, а вывод из долгих лет знакомства, сделанный человеком прямодушным и умудренным.

Да в конце концов Аксаков просто любил Гоголя.

Вот и сказалось наконец другое имя «музыки согласной», но, увы, от частого и неточного применения несколько затершееся — любовь.

«Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на бело́м свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание».

Опять вспомнился «Аленький цветочек» — слова меньшой сестры.

Все, что исходит не из любви или не

дошло до нее, недорого стоит и не способно вполне соединить человека с другими людьми.

А дойти до этого главного надо, без конца и без края набираясь в дальней жизненной дороге сил и мужества.

«Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху до низу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные».

Надо же выдумать такую мерзость в столь подробном несообразии!

А чего вы хотите от жизни: сплошных подарков, легкой лепоты, скорого лада да склада?

Полюбите нас черненькими и очень даже черненькими...

В отличие от большинства из нас Сергей Тимофеевич не ждал, не требовал любви и не высчитывал недополучения по этой части. Он любил сам — конечно, тогда, когда любилось. Он стал человеком, с которым не холодно, и не одиноко, и уж никак не страшно. Напротив, защитительно-надежно, скажем так.

Те же, кто способен был почувствовать и оценить натуру Аксакова, не могли, узнав его, не ответить равным образом.

Дочь Вера в дневнике смешно сердится на Ивана Сергеевича Тургенева, который, придя обедать к Аксаковым, предусмотрительно завладел стулом возле Сергея Тимофеевича.

Другой дневник пятидесятых годов — теперь уже Тараса Григорьевича Шевченко. Он окончил повесть «Матрос». И 14 февраля 1858 года записывает: «Нужно будет прочитать еще это рукоделье: что из него выйдет? Как примет его С. Т. Аксаков? Мне ужасно хочется ему нравиться, и только ему. Странное чувство!»

И Россию-то, точнее — россиян старик Аксаков увидел совсем не враждующими и небрегущими. Во «Встрече с мартинистами» воскликнул: «Боже мой! Чего нельзя сделать с таким народом, который способен так любить и быть благодарным!»

Вдруг, и правда, мы — перед новым веком «музыки согласной» и любви всепобеждающей? Бывают же в конце концов чудеса — как в «Аленьком цветочке». Зачем-то надо же было Сергею Тимофеевичу сочинить (или вспомнить?) эту единственную сказку, не другую какую-нибудь.

Евгения
ЩЕГЛОВА

ТАК О ЧЕМ ЖЕ НАМ РАССКАЗЫВАЛА «ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА»?

Размышления о национальной и нравственной природе художественного явления

«Чем страшнее и сильнее они (несчастья.— *Е. Щ.*), тем в большей степени их первоисточники находятся внутри, а не снаружи».

Признаюсь, что именно эти слова покойного Н. Эйдельмана (из его письма В. Астафьеву) вспоминаются мне сегодня чаще других, стоит лишь в очередной раз глянуть «окрест себя». «Деревенская проза» — я имею в виду «классиков» этой своеобразной ветви литературы, главным образом В. Белова, В. Астафьева, В. Распутина,— оттуда, из глубины, из самой что ни на есть народной крестьянской гущи, и рано или поздно наше литературное и общественное бытие потребовало бы принципиально нового взгляда на их творчество. Поскольку несомненно, что оно — зеркало русской почвы и, если хотите,— в определенной степени русской революции: ведь именно отечественная земля приняла зерна явно западноевропейского социализма.

Впрочем, посягать на раскрытие подобных глобальных проблем, тем более отыскивать его в книгах сегодняшних писателей, повременим. В лучшем случае можно лишь чуть-чуть приоткрыть над ними завесу. Не забывая, впрочем, что перед нами — не просто лирическая повесть 60—70-х, но и одно из несомненных достижений советской литературы. Хотя не забудем и другое: что нормой ее бытия давно уже была социальная деформация, и наивно было бы считать, что хоть кому-нибудь из художников удастся ее благополучно миновать. Ведь помимо сказанного, к 60-м годам читатель успел основательно подзабыть, что такое в литературе подлинный — не идеализированный, не оглупленный, не винтик государственного маховика — русский крестьянин.

Случайно ли, что русская «деревенская» проза расцвела в эпоху окончательного обуржуазивания брежневского режима и угасания в умах надежд на дальнейшее «потепление»?

Сегодня же, однако, при упоминании имен «деревенских прозаиков» нас куда сильнее тревожит другое. Тревожит их явный крен к национализму и поощрение ими таких поветрий, которые в цивилизованном мире давным-давно осуждены. Конечно, В. Белов и В. Распутин — сильные таланты, неизмеримо возвышающиеся над заурядной националистической братией — той, что лихо размахивает черносотенными лозунгами времен Пуришкевича. Но в истории достаточно примеров, когда ложная дорога губила и могучий талант...

Реальная история советской литературы сегодня только складывается. Мы не привыкли еще к тому, что действительные ее повороты, центры, внутренние течения могут совершенно не совпадать с общепринятой периодизацией, а то и начисто ее перечеркивать. Деформированность общественного бытия не обошла никого. Достаточно вспомнить, что почти вся послевоенная литература, все эти «Драгоценные наследства» и «Журбины», практически не имели никаких точек соприкосновения с жизнью. У «деревенской прозы» — свои истоки, свои потаенные и явные симпатии, очень сложно связанные с тогдашней литературной жизнью. Во всяком случае, она далеко не однозначна, и сегодня нас никак не устроит ставшее привычным в 70-е и особенно в 80-е ее воспевание (хотя ее путь был очень нелегким, и выговоров от ортодоксов и благонамеренных критиков она получила предостаточно).

Попробуем заглянуть в литературную жизнь совсем недавнего времени.

В известной повести «Привычное дело» Иван Африканович — личность, несомненно, В. Белову предельно близкая — говорит со своим шурином Митькой, который зовет его на большие заработки: «Привыкли все покупать, все у тебя стало продажное. А ежели мне не надо продажного? Ежели я неподкупного хочу?»

Неподкупного хочу! Непродажного! Этот пронзительный мотив, этот крик души русского человека, бескорыстного по своей глубинной сути, человека-нестяжателя, буквально пронизывает всю «деревенскую» литературу. Не деревенскую — «общенациональную». И В. Белов, и В. Распутин категорически отрицают обозначение своей прозы как «деревенской». Эта проза общенациональная, говорил В. Белов. И не случайно в повести «Деньги для Марии» ее героиня-крестьянка так объясняет эту поправку — «все люди родом оттуда, из деревни, только одни раньше, другие позже, и одни это понимают, другие нет...». И Иван Африканович лишается главного своего богатства, того, чего он, как издавна водится, имея, не ценит,— своей Катерины,— тогда, когда он погнался за большими деньгами. Худо он жил, бедно, копейки считал,— это при девятерых-то детях, обижал, случалось, Катерину,— да все-таки главному в себе не изменял. Ни дому своему, ни роду, ни обычаям. А вот позвала его из деревни бесовская злая сила — и все. Нет прежнего Ивана Африкановича.

Мы, конечно, превосходно помним первое появление этой действительно высокоталантливой повести В. Белова. Тогда она была воспринята как откровение, как открытие. Поистине «из-под глыб» лжи, лакировки, многолетнего очковтирательства, ставшего нормой литературного бытия, прозвучал на редкость чистый и искренний голос, болевший за поруганную Русь. Чего-чего, а боли за нее у тех, кто исправно выдавал «на-гора» очередной пухлый опус о бестолковых крестьянах и суровых рабочих — воистину миссионерах, присланных в эту *пустыню*,— не было. Болели за нищую, разоренную Россию не здесь. Болевая точка давно переместилась на Север и в прочие отдаленные места. В центре же панферовские традиции воспевания сверхчеловека, буквально по трупам крестьян идущего на исполнение своей пролетарской миссии, небезуспешно подхватили более молодые А. Иванов и П. Проскурин. Как-то, право, не верится, что любимый герой П. Проскурина Захар Дерюгин не приходится родным сыном панферовскому Кириллу Ждаркину, настолько близки они своей нутряной звериной силой и безжалостностью. И если М. Шолохов, рассказывая о жестокостях коллективизации, вынужденно оправдывал их требованиями «момента», то А. Иванову эти экивоки уже ни к чему. Наш с вами современник немало вдохновенных страниц посвятил даже не оправданию, а всемерной поэтизации жестокости давних и недавних лет. Киплинговский герой хотя бы нес свою миссию «белого человека» с достоинством...

Несколько лубочный М. Алексеев — другая страница этой псевдодеревенской литературы. Ему, надо сказать, приходилось трудновато. Деревня, учили классики марксизма, есть средоточие тьмы, отсталости и «идиотизма». Этот постулат требовалось усвоить беспрекословно. Но деревня-то — вот беда — оставалась милой сердцу вышедшего из нее, к тому же пережившего голод 30-х, писателя. Задачка не из простых! Вот и приходилось довольно многочисленным певцам деревенского быта крутиться меж двух огней — и «хозяев» не разгневать, и земляков не обидеть. Отсюда и насильственная подгонка обстоятельств под «краткокурсиую» схему, и дурная лубочность персонажей, и утрата нормальных моральных критериев. По давнишнему рецепту изготовления поделок «в народ» в такую повесть требуется, например, ввести старичка-простачка, веселого, умелого, но бедного — иначе где же, скажите, классовая мораль! Дед Щукарь — родоначальник вереницы подобных «дедов» — был написан талантливой рукой, хотя только недавно мы вполне отчетливо увидели его явный моральный изъян (который М. Шолохов — надо здесь отдать ему должное — и не скрывал). Таланты, однако, проходят, а деды остаются. Дед Карпушка из «Вишневого омута» — любимец, как пишет М. Алексеев, всей деревни, весельчак и балагур,— откровенный доносчик, погубивший ни в чем не повинного «кулачонка» Митьку Савкина с женой и сыном. Но посмотрите, насколько правильно, подлинно «по-марксистски», обосновывает он свой искренний порыв, приведший его прямехонько в НКВД! «Не царским властям, а своей, родной Советской власти выдал». «И Митька раз кровью помешался с бандитской (т. е. «кулацкой».— *Е. Щ.*) породой — нету ему от меня пощады».

Лежит, стало быть, на Митьке несмываемый грех неудачного происхождения.

Такая вот мораль, соответственно и такая же эстетика.

Характерной особенностью этих повестей был их поспешный, галопирующий характер. В небольшую повесть вмещалась жизнь нескольких поколений. Где тут всмотреться в обстоятельства, в характеры и вообще в человека! Поистине то был «краткий курс» истории деревни, позволяющий, не углубляясь в психологию, обозначить вешками этапы «большого пути». «Темнота наша! От нее и зло»,— веха дореволюционная. «На какой хрен твое отечество, коли меня в живых не будет?» — веха в память народного отношения к германской войне (не додумал тут, по-моему, что-то автор. А если эту фразу обратить к следующей войне?). «Власть-то ваша, кажись, кончилась»,— и о власти помещичьей есть, и народное «кажись» не забыто! «Сообща нам жить надо, мужики. Не то задушат нас мироеды»,— ну да, это уже о коллективизации! Ничего не забыл сметливый автор, каждое событие точнехонько вписал в соответствующую графу.

Удивительно ли, что после всей этой сельхозпродукции сомнительного качества талантливые книги Ф. Абрамова, В. Белова, В. Распутина, В. Астафьева, В. Солоухина предстали воистину подлинным, живым голосом страдающего народа. Их авторы не случайно смотрели в прошлое, ища там идеал и желанный лад: настоящее не давало почти никакой перспективы. На глазах писателей — вчерашних крестьян, переживших не один голод, ужасы коллективизации, войну, послевоенный град постановлений,— происходило такое разорение и нищание деревни, по сравнению с которым нашествие Батыя было детской игрой. Какие там исконно народные традиции и обычаи! В его родную Тимониху, пишет В. Белов, после войны не вернулось ни одного мужика. Голод был такой, что чуть ли не в каждой семье ждали смерть — избавительницу от лишнего рта. Невозможно читать рассказы В. Белова о военных годах — от ужаса, от боли останавливается дыхание. Весна в последний год войны. Мрут от голода последние коровы. По пашне еле бредут отощавшие, потерявшие человеческий облик женщины, впрягшиеся в ярмо вместо обессилевших или подохших лошадей. Бригадир Иван Тимофеевич, уже получивший похоронки на двух старших, ждет с фронта третьего, последнего,— и получает новую похоронку, за три дня до конца войны. И все-таки... «Надо было жить,— пишет В. Белов,— сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому было делать все это».

Оставшийся сиротой еще до войны В. Астафьев ушел на фронт и до победных залпов провоевал рядовым,— так на фронте, писал он, легче было, там хоть врага видишь и драться с ним можешь, а в умирающей от холода и голода сибирской деревушке...

Даже М. Алексеев — и тот, забыв родные «принципы», пишет искренний и горький рассказ «Карюха», повествующий о мытарствах полунищей крестьянской семьи.

Этот сильнейший психологический надрыв, эта неумолчная боль «деревенской прозы» есть не просто ее, так сказать, «черта». Это — объяснение тому, почему деревенские прозаики в поисках идеала воистину поневоле обращались к прошлому (что впоследствии, по логике развития событий, оказалось для них роковым). Сегодняшнему разорению села и упадку нравов надо было противопоставить что-то прочное, вековечное, надежное, что тянулось из глубины веков и не подводило ни в какие лихие годины. Сама постановка массы сегодняшних проблем, само их освещение требовало, в силу отсутствия конкретных исторических идеалов-ориентиров, идеала романтизированного. Ни для кого ведь не секрет, что в отечественной истории, крайне противоречивой, мужицкого рая, столь желанного сердцу крестьянина в любые времена, не было. Незыблемым всегда оставалось одно — сладостная, потаенная, многовековая мечта о нем. Не случайно именно

о прежних временах вспоминает в очерке Г. Успенского «Из деревенского дневника» старый крестьянин. В старину, говорит он, и дубы были, и скворцы... «Тут он затряс головой и долго жевал губами, потом вдруг махнул обеими руками, как бы представляя, что все провалилось сквозь землю, и дребезжащим голосом возопил: „Нет (*кр. сл.*) ни дубков, нет (*кр. сл.*) ни скворцов!“».

А сказка Л. Толстого «Зерно с куриное яйцо» как раз и раскрыла смысл и ориентир крестьянских ретроспективных утопий, возникающих, как правило, в периоды мировоззренческих кризисов. В старину, рассказывает Л. Толстой, зерно было с куриное яйцо, потом становилось все меньше и меньше, пока не стало таким, как сейчас. И было это тогда, рассказывает в сказке старик, когда «и вздумать никто не мог такого греха, чтобы хлеб продавать, покупать, а про деньги и не знали», когда «земля вольная была». «В старину не так жили,— продолжает он,— в старину жили по-Божьи: своим владели, чужим не корыстовались».

Вот оно что. Вот в чем смысл того извечного идеала, который потаенно жил в крестьянской среде и не умер по сей день, благо наша семидесятилетняя история отнюдь не способствовала ни привольной, ни безмятежной, ни даже сколь-нибудь сытой жизни. Вольная земля и отсутствие корыстных интересов. Отсутствие развращающей власти денег.

Вот почему Иван Африканович так жаждет чистой, бескорыстной, «неподкупной» жизни. Зло идет извне, из того, что «не деревня», стало быть, из города, давным-давно погрязшего в грехе, в корысти и преступно забывшего родную землю. «В городе-то я была,— рассказывает старуха Дарья («Прощание с Матерой»),— посмотрела — ой, сколь их бежит! Как муравьев, как мошки! Взадь-вперед, взадь-вперед! Прямо невпроворот. Друг дружку толкают, обгоняют... Упаси бог!» А в деревне — не будь там заевшегося, от земли оторвавшегося начальства и тлетворного влияния города — жизнь была бы истинно по-божески чистой и прекрасной.

Не любят города герои писателей В. Распутина и В. Белова. Этот мотив в их книгах настолько постоянен, что не оставляет сомнений относительно своей направленности. «Город, как нетопленая печь, не греет, не тешит»,— говорит и Иван Африканович. А как милы, рассказывает В. Белов, те уехавшие из деревни девушки, которых даже город (явно синоним развращающей среды) не испортил — «ничего городского не пристало к этим девчушкам, так и остались певуньями».

Не случайно телятница Даша Путанка, всегда вовремя избавлявшаяся от детей и забывшая все, чем живет вокруг крестьянский люд, шумит на всю деревню, что не будет она «ломить круглый год за двадцать рублей», чем очень сердит работящую, привыкшую волчком вертеться Катерину. Деньги испортили деревенскую бабу! Деньги — и то, что забыла она свой природный долг, свои перед людьми обязанности. А безропотная Катерина «встанет-то в третьем часу, да и придет уже вечером в одиннадцатом, каждой-то божий день эдак, ни выходного, ни отпуску много лет подряд, а ребятишки-то?» — рассказывает после ее смерти мать.

То, что действительно работать за двадцать рублей круглый год, в жару и холод, нормальному человеку не по силам, что платить работящему такие деньги для государства — стыд и позор, так что обвинять в особой корысти Дашу Путанку нет никаких оснований (есть, конечно, на ней иные, чисто моральные грехи, но грех корысти, по В. Белову, один из главных, потянувший за собой другие) — эти вполне здравые мысли почему-то не приходят в голову ни безропотному Ивану Африкановичу, ни его Катерине, всю жизнь работавшей почти исключительно «за совесть».

Отвлекаясь от повести В. Белова, скажу, что эту исконно народную черту, природное русское бескорыстие (в котором, казалось бы, зазорного ничего нет) всегда исключительно удобно для себя использовало то самое заевшееся на чужих деньгах и хлебах начальство, которое не без оснований терпеть не могут не только Иван Африканович, но и масса реальных крестьян. Это как раз тот случай неразрывного двуединства, когда одна сторона не без успеха питает другую, ею очень нелюбимую, и одна без другой не может жить. Тут навстречу друг другу как бы движутся два потока: природно-крестьянский и наднародно-бюрократический, причем первый ежедневно и ежечасно порождает, кормит и в немалой степени выпестовывает — своим страхом перед ним, своей безответностью и бескорыстием — легионы бюрократов, любителей повелевать и властвовать. Поскольку, как известно, даровой труд разлагает и тех, кто бесплатно трудится, и тех, кто даром кормится.

Так что деревенская проза в определенной степени приоткрывает завесу над одной из загадок русской души и русского государства, которая упорно занимала умы отечественных мыслителей от Вл. Соловьева до Н. Бердяева и С. Франка. Как природно безгосударственный народ, народ явно не буржуазный, по натуре аскетический, ищущий Божьей правды и свободы во Христе, спрашивал в 1915 году Н. Бердяев, тем не менее создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю? Почему «силы народа, о котором не без основания думают, что он устремлен к внутренней духовной жизни, отдаются колоссу государственности, превращающему все в свое орудие»?

Вряд ли мы доживем до окончательного разрешения этой антиномии, но один из многочисленных каналов, по которому могло идти интенсивное разрастание бюрократии, достигшее апогея в советскую эпоху, приоткрыли нам именно деревенские прозаики.

Надо думать, что без этого нашего родного бескорыстия, которым мы все очень гордимся, но которое непременно станет тормозом на пути продвижения к благосостоянию общества, без бескорыстия, выработанного веками и особенно последними десятилетиями, колхозная система не могла бы прожить и дня. Как колхозное начальство, так и городское очень удобно пользовались привычкой русского человека работать исключительно за совесть, буквально заложенной в его генах. Боже сохрани подумать, что я намерена проповедовать бессовестность и обличать людей бескорыстных и самоотверженных. Бескорыстию — честь и слава. И способность русского человека к бесконечному самоотвержению — его изумительная черта, породившая массу героев, перед которыми должно преклониться человечество. Но, во-первых, нельзя забывать, как выше уже написано, что на этих изумительных чертах изумительно умеют паразитировать бюрократы. Во-вторых, давным-давно известно, что русская почва крайне противоречива, и приписывать ей способность рождать только праведников абсолютно неверно.

Простейшее подтверждение тому, что крестьянским миром двигало не одно только бескорыстие,— раскулачивание (и революционное, и конца 20-х), которое никогда не могло бы осуществиться, не будь в деревнях лютых завистников. Самое передовое и единственно верное учение всего лишь оплодотворило эти вековые внутренние распри, дав им направление и, так сказать, узаконив их. Ни до какого исторического выбора крестьянам, конечно, не было дела, зато им понятно было другое — что можно на законном основании поделить поровну землю (а заодно и все прочее), не позволять никому «выделиться» и, возможно, где-то в глубине души думать, что отныне можно жить «по совести», на началах полного равенства. Для чего немалому числу людей пришлось поступиться и совестью, и христианскими традициями, и милосердием. «Закон 9 ноября (столыпинский.— *Е. Щ.*) дает возможность богачам захватить всю надельную землю в свои руки,— писали, например, в «приговоре» крестьяне деревни Сельцо Пензенской губернии в 1909 году,— и оставить бедных совсем без земли. Такой несправедливости мы не допустим». Крестьяне Новоямской волости высказывались еще решительней: «...Для крестьянства должно быть бесплатное отчуждение земель казенных, удельных, кабинетных, монастырских, помещичьих и церковных. Пользование желательно общинное, деление земли подушное... Закон 9 ноября не принимаем».

Не правда ли, программа совершенно большевистская?

Как тогда же написано в листовке Московского комитета РСДРП: «РСДРП зовет всех недовольных к решительной борьбе с самодержавием и шайкой помещиков и капиталистов, грабящих и разоряющих народные массы».

И очень жаль, что эту степень внутренней готовности русской почвы для принятия марксизма не уловил А. Ципко. В статье «Хороши ли наши принципы?» («Новый мир», 1990, № 4), при всей ее разумности, упущена деталь, по существу сводящая на нет большинство справедливых рассуждений автора. Почему теория классовой борьбы, в основе своей антигуманная и, к сожалению, экономически бесперспективная («социализм и есть мировоззрение, в котором идея производства вытеснена идеей распределения»,— писал в «Вехах» С. Франк), именно в крестьянской России, стране, где между интеллигенцией и народом лежала пропасть, нашла самых рьяных поклонников? Почему именно Россия так горячо отозвалась на необходимость сотворения и обожествления *кумира*, без чего марксизм не может существовать? Почему Россия с такой готовностью отдала в руки «теоретиков» во главе с обожаемым кумиром только что завоеванную свободу, видимо, не испытывая в ней острой необходимости или успев устать от нее? Утверждая отсутствие связи между русскими патриархальными традициями и сталинизмом как их своеобразным венцом, А. Ципко поневоле оказывается в плену тех же (в основе своей глубоко несвободных, рабских) теорий, согласно которым марксизм искусственно навязывался русскому народу и, стало быть, отречься от него можно чрезвычайно легко. Отрадно, конечно, сознавать, что мы дожили до *разрешения* критиковать марксизм, но если бы все было так просто! Ведь не навязывал нам его никто, никто к нам не входил с танками, в отличие от подобных ситуаций в Чехословакии и Венгрии,— вот в чем дело.

Еще Г. Федотов («Империя и свобода») выводил факт противоречивости русской почвы из противоборства между «нестяжателями» и «иосифлянами». Традиции нестяжательства идут, по его мысли, скорее всего от Сергия Радонежского и Феодосия Печерского и связаны с такими

чертами, как созерцательность, кротость, долготерпение. Другая же традицин, родившаяся позднее и наболее отчетливо выраженная личностью Иосифа Волоцкого, связана с властью великих князей московских, когда прежняя «святая Русь» все более становилась империей. В разное время тенденции эти переплетались, и несомненным было то, что всегда одна могла более или менее успешно подавлять другую, питаясь в то же время ее соками.

Однако традиционнан небуржуазность русского народа есть несомненный факт, которым нельзя пренебрегать, если мы намерены впредь серьезно подходить к феномену национального типа и не строить воздушных замков. «Даже русский купец старого режима,— писал Н. Бердяев,—...склонен был считать это (свое обогащение — *Е. Щ.*) грехом... Поэтому даже этот купец был плохим материалом для образования буржуазии западноевропейского типа».

А теперь послушаем, что утверждает писатель, вышедший из гущи крестьянской России. «Нельзя забывать,— написано в «Ладе»,— что в старину многие люди считали божьим наказаньем не бедность, а богатство. Представленье о счастье связывалось у них с нравственной чистотой и душевной гармонией, которым, по их мнению, не способствовало стремление к богатству. Гордились не богатством, а умом и смекалкой. Тех, кто гордился богатством, особенно не нажитым, а доставшимся по наследству, крестьянская среда недолюбливала».

Вот вам самое наглядное подтверждение того, что никто и не думал в принудительном порндке навязывать нам теорию классовой борьбы. Крестьнне в массе своей *не любили* богатых, говорит нам потомственный крестьянин В. Белов, причем не только тех, кому богатство досталось по наследству (хотн и в этом ничего криминального нет, если имущество нажито честно), но заодно и всех, кто заработал его трудом и гнул спину от восхода до заката. Не думаю, что в поисках корней этой антипатии кивать надо исключительно на ущербную человеческую природу. Эта природа долго и упорно — буквально веками — воспитывалась в понимании того, что работай — не работай, честным трудом палат каменных не наживешь. Все равно найдется начальник, который изыщет способ и соответствующий закон заработанное у тебя отнять, а то и выгнать из дому.

Хотя... Г. Успенский, рассказывая, как за четвертак подговоренные рабочие убили хозяина мельницы, говорит: «Прошу покорно объяснить, какую именно роль в этом чарующем значении четвертака играет незначительность надела, обилие налогов, или недоимки...». За эти деньги ни земли не купишь, ни налогов не выплатишь. И как же получилось, что убийство совершили те самые «славные русские лица», которыми восхищается литература, приверженная к «слащавому, слюнивому отношению к народу» (Г. Успенский)?

Восхищаются чудесной «непосредственностью» народа — и не знают, и не хотят знать, добавляет писатель, по какой дороге идет это его «непосредственное чувство».

Так что В. Белов, рисуя, как ему представляется, идеальную картину народного «нестяжательства», в действительности, разумеется, показывает глубочайшую противоречивость народной почвы. И ту основу, из которой в дальнейшем, не без помощи восторженно-обожательного отношения к народу, выросли чрезвычайно обильные всходы жестокости, бесчувственности и зависти к «высовывающимся».

Провал столыпинской земельной реформы превосходно подтвердил тот факт, что никому и никогда не удавалось безнаказанно пренебрегать национальной спецификой. «Русский народ всегда любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне матери...»,— написано у Н. Бердяева. А следствием этой природной русской черты, такой, казалось бы, располагающей и безобидной, стало острое неприятие любой попытки эту привычку сломать и ненависть к тому, кто хочет, оторвавшись от общины, стать *хозяином.* Эта реформа была логически безупречна и полностью отвечала потребностям развития общества (хотя отличалась и определенной жестокостью по отношению к слабым). Как мы сейчас понимаем, именно средний класс, на процветание которого и делал ставку П. Столыпин, есть опора демократического и богатого государства. Но, во-первых, России было далеко до истинной демократии (а позже стало еще дальше). А во-вторых, на пути реформ стал мощнейший заслон из этих самых традиций русского коллектива-общины, которая, конечно, экономически давным-давно себя изжила, но продолжала существовать именно потому, что отвечала некоторым народным русским чертам (тем самым, которые так умиляли и старых, и новых славянофилов). Острая ненависть крестьян-общинников к выходцам на хутора приводила к тому, что поперек прав «отрубников» встаaала вся деревня, сжигая и грабя «богачей» — вчерашних односельчан. «Толпа... баб и подростков,— телеграфировал тамбовский генерал-губернатор П. Столыпину,— вилами прогнала с поля землемера». «Крестьяне выходящего на отруба... грозят не пропустить через свои поля и таким образом как бы замкнуть на участке,— писал И. Чернышев в книге

«Община после 9 нонбря 1906 года».— Чтобы оказать помощь челонеку, выделяющемуся на устройство, то, Боже упаси! Общество и слышать не желает. Одним словом, и угодий крестьяне не желают дать иикаких и ничего, а если кто пожелает оставить им свое нажитое, то это, мол, хорошо!»

Вот так из традиционной русской мягкости, незлобивости и привычки к коллективу рождалась великая ненависть, приведшая в дальнейшем к катастрофическим катаклизмам. Ибо известно, что «святая Русь имела всегда обратной стороной Русь звериную» (Н. Бердяев).

И эти будущие потрясения предчувствовали лучшие умы общества, от которых отнюдь не были скрыты многие роковые черты народа. «Нелепо было бы верить в окончательпую победу темных сил в человечестве,— писал Вл. Соловьев в 1889 году, размышляя о русском национальном типе,— но ближайшее будущее готовит нам такие испытания, которых еще не знала история».

Вернемся, однако, к деревенской прозе. Консервативный утопизм ее идеала, как мы видим, вовсе не был так безобиден, как это порой представляется. Она достаточно четко обнажила противоречия крестьянской среды. И она же, обратившись не к расплывчатой дымке истории (причем истории опять же предельно романтизированной и с реальной исторической наукой имевшей не так уж много общего), а к современности, показала — увы — свое ретроградстно.

И касается это прежде всего той совершенно отчетливой привязанности деревенских прозаиков к общине, которую они, конечно, не только не скрывают, а всячески подчеркивают. Родовой, «общинный» характер мышления В. Белова и В. Распутина ощущается и в «Пожаре», и в «Последнем сроке», и в «Прощании с Матерой», и в рассказах В. Белова. Достаточно вспомнить, как тысячами незримых нитей связан Иван Африканович с родной деревней — общиной, как беда настигает его тогда, и только тогда, когда он изменяет *роду.* Все это, конечно, не случайно. И тот богатый леспромхоз из «Пожара», который потянул из Егоровки ее простосердечных, доверчивых жителей, есть воплощение не только той злой силы, убившей в людях их природную чистоту и бескорыстие, но и той, которая разрушает род. Иными словами, силы эти едины. Их изначальное родство подтверждают не только писатель, но и история.

Потому есть смысл напомнить, какую гигантскую роль в отечественной истории играла та самая общинность, которую чрезвычайно любили (правда, по-разному) и сами общинники, и стоящая над ними власть.

В «Ладе» В. Белова общинному строю русской жизни пропета настоящая восторженнан песнь. «Мир», пишет автор, помогал и старым, и сирым, и больным, «любое горе и любая радость в деренне были на виду», каждому человеку в нем находилось «и сочувствие, и понимание, и прощение, ежели нагрешил».

Разумеется, в действительности, а не в этой подслащенной картинке, похожей на изображение подлинной общинной жизни так же, как коврик с лебедями — на озеро, община, во-первых, жестоко карала своих грешников. А во-вторых, при всей своей вопиющей экономической отсталости и консерватизме, сковывающим инициативу личности, она прежде всего обеспечивала общинникам относительно спокойную жизнь. Достатка в ией не наживешь, но и с голоду не помрешь. На чем романтизированное сознание и взрастило идеи трогательной взаимной любви и понимания.

Отчего, спрашивал Г. Успенский, община не посылает крестьянина в больницу, не учит талантливого мальчика, не выписывает фельдшера («Из деревенского дневника»)? А «оттого, что во всех этих затеях нет лично для меня, члена общины, прямой грошовой выгоды». В общине, далее пишет он, при «полном отсутствии нравственной связи между ее членами», царит душевное одиночество, и каждый дом «представляет собой необитаемый остров, на котором изо дня в день идет упорная борьба с жизнью, при неистовом терпении, неистовом труде, едва постижимых страданиях».

Но романтическое славянофильское сознание, упуская из виду подобные «мелкие» обстоятельства, не осознавало и еще одно — куда более крупное.

А именно — что «верхи» тоже исключительно устраинала такая жизнь! Что стремление русского человека жить и трудиться всем миром, «сообща» (очень нравящееся «деревенским» прозаикам) великолепно использовалось для своих собственных нужд царскими, а позднее советскими властями. Что держиморды всех мастей давным-давном сообразили: коллективом и управлить легче, и выгребать у него удобнее, и можно из его членов сделать прекрасных надсмотрщиков друг за другом. Община есть прежде всего круговая порука, писал А. Энгельгардт. Как известно, даже физически из одного большого амбара зерно выгрести легче, чем из нескольких маленьких...

Не напрасно в русской истории еще языческие князья поннли, что общинность надо поддерживать, поскольку личность, осознающая свою свободу и свое достоинство, помыкать и управлнть собою не даст.

Исходн из этого нехитрого принципа и организовывались в конце 20-х сталин-

ские колхозы. И сплачивание писателей, художников и артистов в соответствующие «единые коллективы», которыми легче можно было манипулировать,— явление того же порядка.

Так что здесь мы наблюдаем тот же двуединый процесс взаимовыгодных отношений «верхов» и «низов», что и в случае с традиционным русским бескорыстием, тоже в значительной степени работавшим на бюрократию.

Недаром, например, официальный публицист Н. Жеребцов писал в 1849 году в «Журнале Министерства Народного Просвещения»: «...Россия есть особая часть света, в которой свои собственные стихии, благоденствие, открываемые в древних установлениях и преданиях предков... Она доселе в мире единственное Царство, в котором общественное благосостояние совершенствуется на самых прочных началах — Вере, Самодержавии и Народности». Безусловно, что знаменитая уваровская формула «триединства», столь любезная сердцу казенного публициста, замечательно отвечала потребностям не только тогдашних «квасных патриотов», но и обильно расплодившегося государственного аппарата.

Только реакционно-утопическое сознание могло обожествлять общину и трогательно-братские отношения внутри нее. Поскольку сознанию непредвзятому было ясно: община давит, принижает и нивелирует личность, как никакой другой общественный институт. А личность в России и так придавлена — бюрократическим государством, его огромными размерами, сознанием всепроникающего беззакония, даже семьей. И не радоваться надо этому, не пытаться реанимировать отжившие языческие формы, удобные начальству, а растить *личность*.

«Главная наша немощь,— писал Вл. Соловьев,— в слабом развитии личности; а чрез это и в слабом развитии общественности; при подавлении личного начала из людей образуется не общество, а стадо. Тут уж нет речи о законности, о праве, о человеческом достоинстве, о нравственности общественной,— все это заменяется произволом и беззаконием».

Эта чудовищная *обезличенность* — по сей день наше национальное горе. О том, насколько глубоко она пропитала общественное сознание, говорит то, что ею заражены оказались не только писатели, приверженные утопической идее общины, но и самые, казалось бы, прогрессивные деятели искусства. Режиссер Ст. Говорухин — постановщик фильма «Так жить нельзя» — при всей своей страстной обеспокоенности состоянием отечественных нравов, к великому сожалению, и в фильме, и в многочисленных выступлениях, по сути, начисто снимает с человека его *личную* ответственность за собственные поступки. Ни к чему хорошему это не приведет. Как бы ни были тяжелы обстоятельства, и исторические, и текущие, забывать о личной нравственной ответственности, иными словами — о совести, нельзя. Это значит *оправдывать* бессовестность и равнодушие и, в конечном счете, поневоле признавать, что совесть — дело условное. Так, может быть, именно в самой возможности подобных объяснений нам и надо поискать еще один корень бед, свалившихся на страну?

Нет, уважаемый товарищ режиссер, даже если крикнуть: «Грабь награбленное!», грабить, вопреки вашему утверждению на страницах «Литератора», побегут не все. Так что дело опять же (если кстати вспомнить и статью А. Ципко) не в теориях, человечных или бесчеловечных, а в степени нравственной готовности к принятию их. В степени моральной развитости личности. Которая, между прочим, унижена и подавлена в нашем государстве по сей день. И стоны ее в течение веков заглушались разговорами об интересах и потребностях государства, нации, будущих поколений и т. д.

Еще в 60—70-е годы они, эти пристрастия, носили скорее лирически-ностальгический характер, ассоциируясь с верностью «малой родине», отчему дому и заветам предков. Мало кто замечал, что знаменитые распутинские старухи, мудрые и поучающие, равно как и старики В. Белова,— не столько человеческие индивидуальности, сколько воплощенное напоминание молодым о былом счастливом миропорядке. В «ранешнее время», когда «все друг у дружки на виду жили» (то есть, несомненно, «миром», общиной), все-то было по-иному, по-божески, бескорыстно. Так размышляет — в духе вековечных народных утопий — старуха Дарья из «Прощания с Матерой». Ей вторит и Анна из «Последнего срока», которая тоже все никак не может забыть счастливых времен, когда «совесть видать было — то ли она есть, то ли нету...», и люди «хошь грех знали». Несложно увидеть, как все эти реплики дополняют друг друга, словно говорят их не разные люди, а один человек — пусть даже и в высшей степени совершенный.

И уж тем более немногие понимали (поддавшись спокойной рассудительности и обаянию неспешности, несуетности «старинных старух», да и воплощены они были талантливым пером), что мир, о котором те постоянно вспоминают, видеть они никак не могли в силу его отсутствия в реальности. Ни в 900-е, ни в 10-е, ни в 20-е годы — времена молодости распутинских и беловских старух — русская деревня не была свободна от самых разительных противоречий, от лютой бедности, от безграмотности, зависти бедных к богатым, изнурительного и почти бес-

платного труда — всего того, что и приводило к катастрофическим взрывам. Будь эти крестьяне реальными, они бы не могли этого не знать и не нести в себе прочнейший и глубочайший отпечаток былой тяжелой жизни. Как известно, подобная доля отнюдь не воспитывает в людях исключительно доброту и мудрость. Но если в старых крестьянах из «деревенской прозы» мы наблюдаем только кротость, благостность, привязанность к семье и роду, то это должно вернее всего сигнализировать, что перед нами не столько реальные люди, сколько именно воплощенная славянофильская идея — идея истории, привязанности к роду и типично русской кротости.

Не стоит уже говорить о том, что вообще «братская любовь, выставляемая как действительное историческое начало у какого бы то ни было народа, есть просто ложь» (Вл. Соловьев).

Этот былой общинный рай, короче говоря, был порожден теми же настроениями, что некогда сотворенная легенда о зерне с куриное яйцо.

Но рано или поздно вожделенный славянофильский идеал должен был столкнуться с реальностью — и столкнуться крайне болезненно и остро. Эта болезненность усугублялась и тем, что изначально он был, разумеется, консервативен и задан был как незыблемый, а, стало быть, к развитию совершенно не способный. Более того — любой прогресс встречающий буквально в штыки. «Старики» и «старухи» Белова и Распутина, как и Иван Африканович, как и тетя Граня из «Печального детектива» В. Астафьева, как и множество других героев, каждым словом выдавали претензию на то, чтобы именоваться конечной целью и смыслом развития человека и человечества. Подобные претензии, как известно, ни в искусстве, ни в жизни никогда не бывают плодотворными. Они всегда с головой выдают консерватизм и статичность мышления.

Кроме того, непременно должна столкнуться с жизнью (которая, как писал Н. Бердяев, не по славянофильскому заказу развивалась) и сама центральная идея «деревенской» прозы — идея бескорыстного рая на земле, общего труда и безукоризненных нравов.

И сказалось это противоречие в том, что в таких произведениях, как правило, в высшей степени положительно оценивается изжившая и скомпрометировавшая себя форма хозяйствования — колхозы. Если о зверских методах коллективизации у В. Белова и В. Распутина рассказывается как о величайшем несчастье (что, разумеется, полностью соответствует действительности, но все дело в том, что из этих методов вытекало и дальнейшее насилие над человеческой природой), то о времени «расцвета» колхозов они говорят как о счастливом, но, увы, ушедшем в прошлое времени. «Вспомни, как при колхозе жили,— говорит в «Последнем сроке» сын старухи Анны Михаил, самый близкий ей из всех ее детей.— Я говорю не о том, сколько получали. Другой раз совсем ни холеры не приходилось. Я говорю, что дружно жили, все вместе переносили — и плохое, и хорошее. Правда что колхоз. А теперь каждый сам по себе». Общий труд «на благо всех», как силилась представить колхозы официальная пропаганда, что ни в малейшей степени не соответствовало действительности (достаточно вспомнить «Знак беды» или «Облаву» В. Быкова — его героям почему-то колхоз не вспоминается как сплошной праздник), не находит в их книгах никакого осуждения. Какое там осуждение! Ведь колхозный труд — мало того что почти общинный, но и практически бесплатный. А если в нем такую огромную роль призваны были играть совесть и сознательность, вдобавок и люди работали в нем сообща и весело (вспомним знаменитых «Кубанских казаков», в которых славился именно общий веселый труд),— почему бы романтизированному сознанию не отдать ему максимум симпатий?

Точнее, не ему, не реальному колхозу, а *идее* колхоза. Впрочем, ретроспективные утописты всегда любили идею больше прихотливой и изменчивой жизни.

Но ведь и «Кубанские казаки», и, допустим, «Вишневый омут» славили не реальный, а лубочный колхоз. Вот так понемногу жестокий реализм, которым пронзили нас когда-то первые произведения «деревенских прозаиков», сливался с лубком, которым потчевал нас М. Алексеев...

А ведь и проповедуемая классическими славянофилами монархия, в идеале созданная по типу семьи, не имела ничего общего с реальным николаевским режимом. Об идеалах их А. Герцен когда-то писал: «Славянофилы охотней читают предания времен Владимира, они желают, чтобы им представляли Лазаря не в язвах, а в шелках. Для них, как для Екатерины, нужно возвести вдоль дорог от Петербурга до Крыма картонные деревни и декорации, изображающие сады». Но при всем том славянофилы не были защитниками николаевского строя — они обличали его даже, пожалуй, сильней и беспощаднее, нежели «западники», да и к соотечественникам были куда строже. Это в отличие от сегодняшних «деревенских прозаиков», в принципе не имеющих ничего против реальных колхозов.

А «пережившая себя патриархальность всегда вырождается в деспотизм»,— говорил Н. Бердяев. Идея коллективизма, на которой строили колхозы, и была отда-

ленным пережитком идеи крестьянской общины. Но «история сознания имеет свои законы,— писал Вл. Соловьев,— в силу которых всякое идейное содержание, истинное или ложное, исчерпываетси до конца, чтобы в последних своих заключениях найти свое торжество или свое обличение». То, чему мы сегодни являемся свидетелями,— полный крах идеи коллективного ведения сельского хозяйства,— как раз и есть ее полное обличение. Ее вырождение в деспотизм — в данном случае деспотизм бюрократии и ее насилия над здравым смыслом и живой жизнью. «Ни в Венгрии, ни в Польше сельское хозяйство не вросло так глубоко в административно-командную систему, или, что то же самое, управление им не срослось так прочно с партийно-государственным аппаратом»,— писал И. Клямкин в статье «Трудный спуск с зияющих высот (Размышления в канун выборов о втором Съезде народных депутатов...)».

Наглидяным подтверждением того, что колхозы и совхозы, построенные в немалой степени на идее совместного труда на общей земле, сами собой породили могучую бюрократию, находим мы в статье Н. Нэнэжко «Поездка в Загорье» («Новый мир», 1990, № 6). В том совхозе, рассказывает автор, привольней и лучше всех живется директору, парторгу и председателю сельсовета, откармливающим собственную скотину на совхозных хлебах. С каким жаром доказывают они сегодня, что ничего из затеи с фермерскими хозяйствами не выйдет! Еще бы! «Для своего „кадрового ядра" совхоз всегда найдет корма, а вот продать что-либо хуторянину-арендатору — еще подумает. Тот ведь куда захотел, туда и повез, а это даже в гипотетическом смысле нетерпимо. ...Понятно, что такой человек агрессивно не заинтересован в том, чтобы кто-го на соседнем хуторе подрывал его монополию».

И уж не беспокойтесь — в случае необходимости эти парторг с директором и председателем найдут тысячу идеологически безупречных объяснений того, что в одиночку русскому крестьянину не выжить ни за что! Что нужен ему непременно коллектив (который, конечно, мог бы за ним «в случае чего» присматривать), нужен над ним начальник (чтоб не лодырничал, бездельник), что гнаться за наживой, за богатством в народе, как известно, считается грехом. И попробуй хоть к чему-то придерись!

Не сомневаюсь, что, если назову В. Белова идеологом бюрократизма, он всерьез обидится. Но дело ведь вовсе не в субъективных намерениях, а в красноречивости фактов. Они-то упрямо говорят, насколько глубоко, в самых корнях неославянофильской идеологии, скрыты порой истоки наших сегодняшних проблем.

«Извечное стремление русского крестьянина не оказаться последним, не стать посмешищем прекрасно было использовано в первые колхозные годы,— опять восхищается своей любимой идеей В. Белов в «Ладе».— Да и стахановское движение основано было как раз на этом свойстве».

Мы можем сегодня сколько угодно утверждать, что извращением не только экономическим, но и нравственным было то культивирование исключительно «сознательного» труда, на котором стояло искусственно построенное стахановское движение (а в нем тоже чрезвычайно было заинтересовано сталинское правление. Еще бы. Стоит только почитать «Ваську» С. Антонова, чтобы понять, какой чудовищной ложью был этот грандиозный спектакль). Ибо прямиком из этой апелляции к совести, к сознательности вытекала и необходимость насилия — для нежелающих бесплатно работать на разрастающийся класс номенклатуры. А в целом крепнет мощь «империи», создаваемой практически бесплатным трудом крепостных и абсолютно бесплатным — рабов. Труд в ГУЛаге был основан на, так сказать, чистой сознательности, так как являлся «делом чести, делом славы, делом доблести и геройства». У А.Солженицына достаточно ясно написано, как активно при строительстве Беломорканала использовалось соревнование... В значительной степени эта чудовищная демагогия смогла обрести жизнь потому, что в народном сознании для нее существовала питательная среда. На другой земле она — как и существование колхозного строя в течение шестидесяти лет — попросту бы разрушилась.

«Коммунистический труд,— писвл В. И. Ленин,— в более узком и строгом смысле слова есть бесплатный труд, производимый не для... получения права на известные продукты, но по заранее известным и узаконенным нормам, а труд добровольный... труд, даваемый без расчета на вознаграждение, труд по привычке трудиться на общую пользу» (ПСС, т. 40, с. 315).

Продолжение тех же — абсолютно русских по своей сути — идей находим мы и в материалах Пленума ЦК КПСС (27—28 января 1987 года): «Возникшие в последние годы элементы социальной коррозии негативно сказались на духовном настроении общества, как-то незаметно подтачивали нравственные ценности, которые были всегда присущи нашему народу и которыми мы гордимся,— идейную убежденность, трудовой энтузиазм, советский патриотизм» (Материалы Пленума ЦК КПСС, М.: 1987, с. 11).

Боже мой, мы еще чем-то гордимся!

Так что В. Распутин и В. Белов собственным своим творчеством явно опро-

вергают свои же сегодняшние идеи о том, что революционные преобразования на нашу землю занесены исключительно инородцами. Да нет же, нет. Вы сами. Василий Иванович, каждой страницей «Лада» замечательно показываете, как глубоко был проникнут идеями наивного социализма русский крестьянин. Правда, о том, что из этого социализма выросло, вы уже не говорите. В «Очерках по народной эстетике», как назван в подзаголовке «Лад», рассказывается, насколько дружно, «движимые чувством сближения, стремлением быть заодно со всеми», жили люди в деревнях. Взаимовыручка там была «отработана до мелочей», «любая горесть и любая радость были на виду», мир всегда помогал бедным; «дурной человек хотел стать не хуже других, средний стремился быть хорошим, а хороший считал, что ему тоже не мешало бы стать лучше».

...Когда-то В. Фигнер с неудовольствием заметила Г. Успенскому, что в его повестях крестьяне вышли что-то чересчур некрасивыми («от ваших мужиков тошно... Ничего светлого, жалкое стадо»). Эдак и в деревню, сказала она, никто не поедет! На что Глеб Иванович развел руками: «Вера Николаевна требует: вынь да положь шоколадного мужика. А где такого возьмешь?»

Вот он, самый что ни на есть шоколадный мужик. Перед нами. В «Ладе»...

Эту совершенно откровенную идеализацию не только крестьянина, но и русского типа, которую продемонстркровал «Лад», конечно, можно объяснить глубочайшим горем автора (и уцелевших потомков крестьян), вызванным безвозвратной потерей старого «лада», крестьянской Атлантиды, стремлением запечатлеть навсегда ушедшую крестьянскую культуру — и при этом в явно приукрашенном виде. Так, известно, говорят о покойнике — либо ничего, либо хорошо.

Но Россия — не покойник. И рисовать былой крестьянский мир лишенным даже намека на нравственные изъяны, не говоря уже о противоречиях,— это значит откровенно говорить о том, что погубить этот рай Божий на земле могли только враги-иноземцы. Чем и занимается сейчас В. Белов, отыскивая зловредных «инородцев», хоть в публицистических выступлениях, хоть в печально известном романе «Все впереди». Впрочем, не отстает от него и В. Распутин.

К тому же самолюбование, как известно, губительно для любого народа. Причем совершенно неважно, вызвано ли оно силой государства (как в случае с Британской империей) или слабостью последнего (как случилось после поражения Германии в первой мировой войне и что весьма похоже на ситуацию с нами). «Национальное самосознание,— писал Вл. Соловьев,— есть великое дело; но когда самосознание народа переходит в самодовольство, а самодовольство доходит до самообожания, тогда естественный конец для него есть самоуничтожение: басня о Нарциссе поучительна не для отдельного только лица, но и для целых народов». И далее: «Любование самим собою, угождение и самопоклонение никак не могут укреплять народный дух,— напротив, они обессиливают и разлагают его».

И здесь мы вновь встречаемся с еще одним последствием многовекового порабощения и нивелирования личности в России, которое воспевалось любителями общины и традиционного русского бескорыстия. Никому из тех, кто пишет об ангельской, незлобивой, сверхмиролюбивой природе русского крестьянства, даже не приходит в голову, насколько здесь, в собственной позиции, сказалась авторская, языческая психология. Только подобная психология всегда приписывает собственные беды гневу начальства или, допустим, влиянию инородцев (а ранее — недобрых богов-идолов). Поскольку осознавать личную ответственность за собственные грехи или грехи своего народа она не в состоянии.

Возвращаясь к идее наивного, языческого социализма, всегда (как свидетельствуют «деревенские» прозаики) существовавшего в патриархальной среде, скажу, что, вероятно, сегодня нам уже не стоит опасаться еще одного явления русского социализма на почве марксизма. Последний скомпрометировал себя в глазах большинства окончательно — кроме поистине непробиваемых «ниноандреевцев», про которых издавна говорили — «хоть кол...». А вот социализм на почве национализма, который находит себе сегодня немалое число сторонников, разочаровывающихся в «демократии»,— дело другое. Это явление живое и, боюсь, достаточно долговечное. Но, между прочим, в недавнем прошлом называлось оно национал-социализмом.

Потому не стоит удивляться, что вчерашние рьяные борцы за чистоту идеологических риз, вроде А. Иванова, сегодня так легко превратились в борцов с «русофобией». Импонирующий сегодня многим национальный подход есть явление того же порядка, что и недавний классовый. И когда Л. Сараскина в статье «Примирение на лобном месте» («Знамя», 1990, № 4) удивляется тому, что А. Проханов умудрился соединить предстоящее «великое целование» на общей братской могиле красных и белых — с чем бы вы думали? — с такой вот фразой: «...Примат общечеловеческих ценностей над классовыми на деле обернулся пренебрежением интересов социалистического государства...» — мы-то удивляться этому не будем. Будьте уверены — чуть

зов»). Но покажите мне в их повестях и романах хоть одного настоящего интеллигента! Хоть одного человека, который отличался бы образованностью и при этом не был бы неприятен авторам. Боюсь, что искать такого героя бесперспективно.

«Что, все учишься? — спрашивает Иван Африканович незнакомого парня.— ...Всю молодость проучишься, а жить-то когда?»

Я, конечно, не отождествляю систему консервативных воззрений деревенских прозаиков с действительными народными интересами и порывами. Нелепо утверждать, что нашему многострадальному народу (и так сверх меры вкусившему, что значит недостаток образования и нелюбовь к интеллигенции) свойственна исключительная любовь к безграмотности, равно как и единодушное приятие «роевой» идеи. Подобные симпатии характеризуют, конечно, прежде всего самих прозаиков и в их лице — окончательно скомпрометировавшую себя славянофильскую идею языческого особничества. Но несомненны и определенные патриархальные традиции, все-таки в народе живущие, однако ни в какой мере не подлежащие прославлению. Ибо все мы прекрасно знаем, что, как не так давно сказал академик Ю. Рыжов, «в течение десятилетий мы имели (и в значительной части имеем сегодня) безынтеллектуальное, полуграмотное руководство с комплексом неполноценности — и потому с презрением к интеллекту. Интеллект не востребуется руководством, а вслед и обществом».

Анализируя путь последователей славянофилов, Вл. Соловьев писал, что те «ясно видят единственный способ уничтожить ту „интеллигенцию“, которая стоит поперек пути к их идеалу. ...С ее (интеллигенции.— *Е. Щ.*) исчезновением патриотический идеал этих „пророков-навыворот“ осуществится вполне, в России останутся только безграмотный и безгласный народ, с одной стороны, а с другой — сто тысяч екатерининских полицмейстеров, беспрепятственно переводящих этот народ на положение безземельных батраков».

Так что подобные проповеди, исходящие сегодня из уст деревенских прозаиков, тревожат. Особенно если вспомнить, что не чем иным, как нашими же «корнями» и «истоками» выкармливалась отнюдь не заброшенная к нам врагами бюрократия.

Не стоит рассказывать о том, какие силы всегда особенно опасались проникновения нежелательных для себя книг и идей, играя на необходимости чистоты расы и крови. В последнем случае — тоже итог весьма успешной борьбы с грамотностью и, помимо того,— чисто средневекового стремления к родовой обособленности и поисков «необходимых» врагов нации (ныне у нас именуемых борьбой с русофобией).

«Нельзя служить двум богам,— писал С. Франк,— и если Бог, как уже открыто поведал Максим Горький, „суть народушко“, то все остальные боги — лжебоги, идолы или дьяволы...»

В размышлениях «О рабстве и свободе человека» (Париж, 1939) Н. Бердяев писал о крайне опасном соблазне национализма (в который и впали ныне «деревенщики»). Конечно, «человек нуждается в выходе из одиночества, в преодолении леденящей чуждости мира», который он и находит в национальности, в национальной общности. Но обожествление народа — величайший грех. «Нужно помнить,— написано в книге,— что народ кричал „Распни, распни его“, когда перед ним предстал Сын Человеческий и Сын Божий. Он требовал распятия всех своих пророков, учителей, великих людей. Это достаточно свидетельствует о том, что не в народе центр совести. В народничестве есть своя правда, но есть и великая ложь, которая выражается в преклонении личности перед коллективом. Истина всегда бывает в личности...»

...Увы, на бесперспективный, тупиковый путь вышли сегодня всегда любимые читателем деревенские прозаики. Явление это исключительно сложное. В нем перемешались огромная любовь к народу и безмерное сострадание ему, незаметно перешедшее в обожествление его, и пронзительный лиризм и — увы — несомненный национализм со всеми вытекающими последствиями.

Это не есть особенность одной только «деревенской прозы». Это и роковая противоречивость самой русской души, русской почвы.

Не будем больше задаваться сомнительной целью доказывать, что один народ — пусть даже действительно безмерно пострадавший, обнищавший и ограбленный — имеет прав хоть чуточку больше, чем любой другой. Или что для него нужно особое устройство — в силу его «уникальности». Потому что, как писал еще в прошлом веке князь С. Трубецкой, «мы имеем одну общую вселенную, одну правду, одну красоту... Мы знаем и верим в глубине нашего существа, что есть одна правда, один закон, который все должны признать, одна красота, которую все должны видеть».

С нас, я думаю, вполне достаточно экспериментов.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Панова В., Вахтин Ю. Жизнь Мухаммеда. М.: Издательство политической литературы, 1990.

«Ну вот, теперь хоть знаешь, как все это было на самом деле»,— сказала некогда машинистка Томасу Манну, возвращая из перепечатки первую часть «Иосифа и его братьев». О «Жизни Мухаммеда» такого, увы, не скажешь. Предельная насыщенность информацией, этнографические экскурсы, историко-социальный анализ, факты, факты, факты — по и только. Как если б того же «Иосифа» скрупулезно, во всех подробностях изложить языком публицистической статьи...

Впрочем, сомнительный упрек. Нельзя требовать от научно-популярной книги еще и такой художественной образности, чтоб отныне нам достаточно было бы сказать «Жизнь Мухаммеда» вместо «эпоха зарождения исламской цивилизации», как достаточно сказать «Преступление и наказание» вместо «идейные течения в России 1860-х годов». Но все-таки не отделаться от чувства, что — недодали, что ожидал чего-то большего. Очень уж обязывает сама тема — «пятая цивилизация земли», в рождении которой «участвовал Мухаммед — сын Абдаллаха, курайшит из крошечного города Мекки, понявший на сороковом году жизни, что он пророк и посланник Бога».

А все равно замечательная книга! Замечательно, что такая есть, наконец. И в своем жанре она — даже одна из лучших за последние много-много лет. Ведь не забудем: в научно-популярном жанре, как и в прозе, шесть, наверное, произведений из десяти попадают в пустоту — слишком оказываются сложны и хороши для масскультуры, но слишком поверхностны и плохи для чтения серьезного. «Жизнь Мухаммеда» — своих серьезных, вдумчивых читателей найдет, это безусловно.

И. РАК

Михаил Яснов. Неправильные глаголы. М.: Прометей, 1990.

Почти пять лет отделяют вторую авторскую книгу «взрослых» стихов детского поэта и переводчика от первой, «В ритме прибоя», но как будто между ними — вечность. Первая вышла в «Советском писателе», была гонорарной — и «подредакторской» (хотя с редактором, Л. А. Николаевой, Михаилу Яснову явно повезло). «Неправильные глаголы» (название-то каково!) издана, как сказано на обороте титульного листа, «за счет средств автора» и «в авторской редакции». Значит, автор не побоялся потратиться на то, чтобы читающая публика увидела его подлинное поэтическое лицо.

Итак, каков он, истинный Михаил Яснов, не подкрашенный редакторским вмешательством? Прежде всего — поэт подлинный, состоявшийся, мужественный. Это очень важно в наше рыночное, непоэтическое время, когда книжные магазины завалены невостребованной поэтической продукцией, преимущественно автоизданиями — и не вина авторов в том, что читательское сознание заполонили бесчисленные «Анжелики», «Тарзаны» и «разные прочие Чейзы» (прошу правильно понять — Чейз ас своего жанра, но не худо бы и Пушкина, и Гоголя, и Байрона хоть изредка вспоминать!..). Поэт имеет полное право высказаться от имени своего поколения — и удачно делает это («Талантливые мальчики конца пятидесятых...», «Единожды навсегда»). Он своеобразен, хотя в его стихах явственны отзвуки предшественников и современников, и, конечно же, как остроумную шутку следует воспринимать нередкое раскавыченное цитирование классических текстов, поскольку, как правило, это делается так: «Мы диалектику учили не по Гегелю, а по учебнику со штампом ЛГУ» («Старинный мотив»). Он, наконец, не боится вынести на суд читателя свои философские рассуждения и, на мой взгляд, правильное делает («Кассандре дали право голоса...»).

Но в то же время новая книга Михаила Яснова дает основания сожалеть, что, рискнув на автоиздание, поэт не счел нужным обратиться за советом к друзьям, а может быть, не прислушался к ним. Допустим, стоило бы обсудить название книги — из одноименного стихотворения ясен его завуалированный смысл, но вряд ли следовало прибегать к чисто лингвистическому термину. Эпатируя читателя раскавыченными цитатами, уверен, не нужно было доходить до явной, на мой взгляд, бестактности — переносить образ лермонтовской «Молитвы» на ... собаку («В минуту жизни трудную...»).

И все равно хотелось бы верить, что следующая его книга не застопорится и не заставит себя ждать.

Мих. ЭЛЬЗОН

Александр Зиновьев. Зияющие высоты. Отрывки из книги. «Октябрь», 1991, № 1 — 3; Александр Зиновьев. Гомо советикус. Пара беллум. М.: Московский рабочий, 1991.

Книги Зиновьева выполняют особую функцию: превращая «всесильное учение» в объект высмеивания, всячески «снижая» его и пародируя, они остаются

в то же время инструментом самого строгого логического анализа, критикой коммунизма вполне научной. Что совершенно естественно для профессора-логика, доктора философских наук, некогда заведовавшего сектором в одном сверхпрестижном месте и кафедрой — в другом, еще более престижном. Но уже двенадцать лет как профессор живет в Мюнхене и с невообразимой быстротой создает одно за другим свои сочинения: видимо, сказываются многолетняя привычка к систематической, ежедневной работе за письменным столом и на долгие годы запасенная ненависть к «изму».

Зиновьева сравнивали со Свифтом, Салтыковым-Щедриным, Вольтером... Однако я бы поостерегся относить его произведения к художественной прозе. У них иная природа — научная, в них структура научного трактата, его сухой, наукообразный стиль сплавлены с фрагментарностью «Записок сумасшедшего» и бытовой смеховой культурой, распространенной среди московской интеллектуальной элиты в годы застоя. Все вместе это и создает некую свободную форму, которая позволяет писать обо всем и все пародировать, прежде всего, конечно, бесчисленные книги о «реальном социализме».

Очевидно, хорошо понимая ограниченность своих писательских возможностей, Зиновьев избегает создания психологических образов, «Психея» удалена, остаются социальные роли, превратившиеся в маски. Эти социальные маски и оказываются героями: Социолог, Мыслитель, Академик, Супруга, Литератор, Художник, Сотрудник, Инструктор (все это у нас «однажды и навсегда»). Таков далеко не полный перечень персонажей «Зияющих высот» — наиболее характерного для метода Зиновьева произведения, в котором описываются Ибанск, ибанизм и ибанское общество (за которым нетрудно разглядеть советские и коммунистические реалии). Несмотря на неприличную терминологию (напоминающую о неприличии самих явлений для приличного общества), Зиновьев строг, сух и последователен, а комического эффекта достигает в основном за счет точного описания реалий «изма». Системно описанный, этот «изм» сразу выявляет свою абсурдность и уже без участия автора вызывает смех.

Рассуждая логически, Зиновьев прослеживает, как особенности «изма», беспрепятственно развиваясь, приводят к абсурду. Но одновременно он предсказывает развитие ибанского общества, и иным его прогнозам можно только удивиться. В 1984 году написан «Пара беллум». В романе есть сцена: Западнику-реформатору, думающему о том, с чего начать свою деятельность (не с борьбы ли с пьянством?!), во сне является Сталин. «Запомни, дорогой,— говорит Сталин,— главный враг всякого великого реформатора — его собственный народ!»

Есть ли будущее, если оно давно описано? Или все упирается лишь в умение понять следствия уже известных явлений и причин?

М. ЗОЛОТОНОСОВ

Полунина Н. М. Живая старина Приангарья. М.: Искусство, 1990.

Книга написана большим знатоком и истинным патриотом — в лучшем смысле этого слова — Иркутска и его окрестностей. Все, кого судьба приводила в старинный город на Ангаре, хорошо знают имя Н. М. Полуниной, как и рецензента книги О. В. Тарусиной, предоставившей для иллюстрирования свое богатое личное собрание,— энтузиастов иркутского краеведения.

Привлекает комплексность охвата и подачи материала: история, этнография, городской ландшафт, градостроительные проблемы, памятники культуры, задачи их охраны. Упомянем лишь о нескольких из десятков объектов, описанных здесь так, что хочется преодолеть тысячи километров, дабы увидеть их воочию или встретиться с ними вновь. Шедевр замечательного Сибирского барокко — Крестовоздвиженская церковь, одна из доминант иркутского городского пейзажа, которой Сибирь, да и вся Россия, вправе гордиться перед историей мирового зодчества. Деревянный Иркутск (старые дома с резным декором), искореженный новой застройкой, сохранившийся хуже, чем хотелось бы, и все же на диво для нашей разрушительной практики полно, сквозь многие пожары и «рукотворные» невзгоды — благодаря знающим ему цену горожанам. Архитектурный музей-заповедник в Прибайкалье, сберегший для нас память о быте русских крестьян Сибири и прошлом сибирских народностей.

А еще — храмовая архитектура трех веков, богатые собрания краеведческого и художественного музеев (с их великолепными зданиями), центральная магистраль — проспект Карла Маркса с его сибирским архитектурным модерном, не менее впечатляющим, чем современный ему Невский; и окрестные села — Бельск, Усолье-Сибирское, Усть-Куда, легендарный декабристский Урик. И бережно хранимая память о живших в этих краях замечательных людях...

Увы, в бочку меда подмешана, пожалуй, целая канистра дегтя: качество полиграфии и особенно воспроизведения фотографий таково, что издательство винить не будем, а вот за одну из столиц славянского мира — неловко.

А. ХОДОРОВ



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Энвер МУРАТОВ

«В АБХАЗИИ Я ДОЛГО ЖИЛ...»

Более тридцати лет Константин Симонов ежегодно приезжал в Абхазию. Жил он в поселке Гульрипши — в десяти километрах от Сухуми. В беседе с западногерманским журналистом Ф. Хитцером, посетившим в 1974 году дачу в Гульрипши, писатель сказал: «Я от месяца до 3-х, до 4-х живу здесь и работаю. Половина всего, что я написал.., в общем написано здесь, или почти половина — наиболее существенного». Уместно напомнить некоторые из этих произведений: «Товарищи по оружию» (1952), трилогия «Живые и мертвые» (1959—1971), «Южные повести» (1956—1961), «Из записок Лопатина» (1965) и другие. Здесь же написана пьеса «Четвертый» (1961), сценарии к фильмам «Бессмертный гарнизон» (1956), «Нормандия — Неман» (1960, совместно с Ш. Спааком и Э. Триоле), «Живые и мертвые» (1964).

На даче Симонов работал вдохновенно и много — часто по пятнадцать-шестнадцать часов в сутки. Друзей и родственников поражало его трудолюбие. А он объяснял его так: «Что мне нужно для нормальной работы — свежий воздух и шум прибоя».

Почему же писатель выбрал место для своей дачи именно в Абхазии?

Предыстория здесь такая. Будучи студентом литературного института, Симонов подружился со своим сокурсником, абхазским поэтом Лаварса Квициния, который восторженно говорил о своей родине и ее волшебной природе, о ее гостеприимном народе, о доброте и мудрости долгожителей. Друзья решили поехать в Абхазию вместе. Однако замысел их не осуществился. Началась война, и Л. Квициния погиб на фронте.

Впервые Симонов приехал в столицу Абхазии город Сухуми в январе 1948 года. Здесь завязалась его дружба с Д. И. Гулиа и его семьей. В доме Гулиа писатель познакомился с абхазскими писателями И. Тарба, Г. Гулиа, И. Папаскири, Х. Бгажба, И. Джоуна. А. Ласуриа, Д. Чачхалия. Константин Михайлович хорошо знал абхазскую литературу. Стихи Д. Гулиа «Человек в горах», повести Г. Гулиа «Кама», «Добрый город», «Черные гости», «Весна в Сакене» он опубликовал в «Новом мире», которым тогда руководил.

Константин Михайлович часто выезжал в разные уголки Абхазии, встречался с рабочими, колхозниками, читателями. В упомянутой книге Денис Чачхалия вспоминает: «Разумеется, Симонову не было отбоя в приглашениях, а порой застолье продолжалось очень долго... Константин Симонов настолько хорошо усвоил тонкости нашего застолья, что нам, местным писателям, было трудно, а подчас и невозможно сравниться с ним... Везде я замечал, что он легко умел располагать к себе совершенно незнакомых людей».

До 1967 года Константин Михайлович жил в доме Е. И. Игнатовой-Собко, вдовы фронтовика. Он вместе с семьей — женой Ларисой Алексеевной Жадовой (дочерью генерала А. С. Жадова), сыном Алексеем, дочерьми Александрой, Марией и Екатериной — снимал у нее две комнаты.

К писателю часто приезжала его секретарь Н. Гордон, приходили друзья, писатели, журналисты. В двух комнатах стало тесно. Тогда, с разрешения хозяйки, по чертежам Константина Михайловича был построен «кабинет-дача» — «деревянный одноэтажный славянский домик» (так называл свою дачу писатель). Построил его и изготовил мебель из столетней липы, также по чертежам Симонова, живший по соседству замечательный мастер Анатолий Малков.

Писатель завещал дачу мемориальному музею Д. И. Гулиа, и она была превращена в «Мемориальный музей-дачу К. М. Симонова». Там размещен отдел музея Д. Гулиа «К. М. Симонов в Абхазии». Заведует отделом Ирина Васильевна Иванова, хранитель музея-дачи — ее мать Евгения Николаевна Советова. Обе женщины лично были знакомы с писателем, хорошо знают и любят его произведения.

Дача, в которой жил и работал писатель, представляет собою одну комнату площадью около сорока квадратных метров. Вся обстановка здесь сохраняется точно такой, какой она была при жизни Симонова. В комнате четыре окна. Справа



К. Симонов в рабочем кабинете. Абхазия. Гульрипши. 1969

от входной двери деревянная полка, на ней — стеклянные рюмки, фужеры, керамическая посуда. Слева — бамбуковое кресло.

В середине комнаты большой стол, за ним писатель работал. Когда приходили гости, стол раздвигался и становился обеденным. Слева от стола широкая деревянная кровать, отгороженная от комнаты полотняной шторой. Печку-камин опоясывает деревянная полка, на ней — множество подарков писателю от местных жителей и гостей. Здесь и березовый туесок, и абхазский бубен, и кувшин для вина, и шахтерская каска, и пласт бурого угля, и серебряный чеканный пояс, и многое другое. Особую ценность представляет посох Алабаша, подаренный Симонову абхазцами. Награждают этим посохом только долгожителей, достигших 80 лет,— за мудрость, доброту, безгрешную жизнь, в знак любви и уважения.

Трудно слушать без волнения рассказы Евдокии Ивановны Игнатовой-Собко. Она ухаживала за Константином Михайловичем почти тридцать лет как за родным сыном. Симонов очень ценил и любил ее за внимание и заботу и отвечал ей сыновьей любовью. Называл он ее «дорогая тетя Дуся», хотя она была старше его всего на четыре года. Соседями по даче у Симонова были поэт Е. А. Евтушенко, Д. И. Гуниа, Тарба, Н. В. Думбадзе, художник З. К. Церетели. Особенно близким другом его был Н. Думбадзе.

31.03.80 г. в письме к жене писателя Л. А. Жадовой Думбадзе писал: «Я и все мое творчество очень обязаны ему... Он многому научил меня, а главное критическому отношению к собственному творчеству, смелости в творчестве и к дисциплине в труде. В Гульрипши он почти каждое утро спрашивал меня: «Ты сколько страниц написал вчера, Нодар?» — «Десять»,— отвечал я.— «Мало! Хотя, если интересно написано, даже много»,— говорил он.

На другой день я говорил, что написал 20 страниц — врал, конечно, мне стыдно было за свою лень,— но Константина Михайловича трудно было провести. Это был человек с огромным чувством юмора. Он просил меня прочесть то, что я написал. «Дорогой Константин Михайлович, ведь я пишу по-грузински»,— хитрил я. «Ничего, если это написано вчера, я пойму и на грузинском языке»,— улыбался он. На заключительном заседании дней советской литературы в Грузии, в Тбилиси, мы сидели вместе с Константином Михайловичем в президиуме, и он что-то быстро писал и передал мне записку:

«Тов. Думбадзе Гульрипшскому от Симонова Гульрипшского. Моему соседу справа (если ориентир море, а не формальные поиски в искусстве).

Проба оды.

Я живу на прочной базе.
Все б, наверно, так хотели.
Правый фланг — гараж Думбадзе,
Левый — крепость Церетели.
Прямо — море,
Сзади — горы,
Посредине тетя Дуся!
Я без пограничных споров
Где хочу, там и пасуся.

С почтением. Ваш К. Симонов».

Он оставил на земле огромный костер любви к Грузии и завещал всем нам иногда подбрасывать дрова в этот костер, чтобы не потух он во веки веков».

В заключение несколько слов о родословной Константина (Кирилла) Михайловича Симонова. Обеспокоенные упорными слухами то об армянском, то о еврейском происхождении замечательного писателя дети его привезли в Гульрипши генеалогическое древо семьи. Так вот, мать Константина Михайловича — княгиня Александра Леонидовна Оболенская, отец, Михаил Симонов,— полковник царской армии (погиб на фронте в 1916 году). В роду Симоновых — все русские.

Вернисаж «Седьмой тетради»

Маргарита ДОБРОВОЛЬСКАЯ

РАССКАЗ О ВАСИЛИИ ГОЛУБЕВЕ

В феврале 1991 года незаметно, в очень узком кругу людей, состоялось открытие первой выставки художника Василия Голубева — через шесть лет после его смерти. Присутствовавшие понимали, что это — художник будущего, что его имя войдет не последним в национальную историю искусств. Что это — один из немногих подвижников, осветивших застойную эпоху. Но если подвижники 20-х и 30-х годов, такие, как Филонов, сегодня обществом поняты и оценены, то современники наши еще слишком близки, и часто не в состоянии мы истинно оценить их масштабы. Еще предстоит нам в меркнущем свете недолговечных светил научить видеть свет тихий и постоянный, составляющий цепочку огней вековечной культуры народа.

Голубев ушел из жизни шестидесяти двух лет, когда ему была обещана выставка — первая в его жизни. Он ее боялся — боялся, что не выдержит сердце. Так и случилось. Встреча со зрителем прошла уже без него.

Люди, знавшие Голубева, видели его талант, его творческую оригинальность. Не могли не ценить фанатичную преданность искусству, бескорыстное отношение к нему. Его любили, помогали в меру сил. Редкий случай — человек, не имевший специального



В. В. Голубев

высшего образования, был принят в Союз, имел хорошую мастерскую и заказы, позволявшие сносно существовать. Он выставлялся на общелосховских выставках, но не на видных местах, и не самыми яркими своими работами.

Так же незаметен был он и в жизни: худой, невзрачный, в потертом пальто, с вечным «Беломором» в зубах. Он был неприметной достопримечательностью ЛОСХа — «Вася Голубев», с которым так хорошо по душам поговорить, незлобивый и очень доступный, широкий по натуре — это внешний слой образа. Близкие друзья отмечали его философский ум, точность и краткость мысли, глубину проникновения в жизнь, которую мало кто мог понять.

О Голубеве можно было узнать нечто существенное только поднявшись к нему в мастерскую, которая находилась тут же, в ЛОСХе, на четвертом этаже. Огромное количество работ. Необыкновенная палитра, где краски словно текли, вливались друг в друга. Музыка: Моцарт, Вивальди, Бах. Живопись: Рембрандт, Эль Греко, Гюстав Доре. Множество репродукций — классика и вырезки из журналов, из которых он нередко в последние годы брал мотивы для своих холстов. Ему был нужен только толчок — фотография, кадр из кинофильма — пейзажи он сочинял.

Кроме мольбертов, из мебели был лишь матрац, который лежал прямо на полу, и стол, за которым собирались друзья, а часто — и случайные, даже подозрительные гости. Это был своеобразный клуб, где сходились самые разные люди.

Наконец — сам Голубев, всегда — с карандашом в руках. Работал он постоянно, жил картиной, в картине и ради картины. (Кроме этого в его жизни не было ничего). Это была его жизненная суть.

Глядя на голубевские холсты, не скажешь, что он прожил жизнь в Ленинграде. Кажется, только один городской пейзаж — с тяжелым, тучно-серым Исаакием, неуклюже распирающим холст своими

углами. Прямой угол, жесткая линия, плоскость ненавистны были Голубеву. Несколько натюрмортов тоже не характерны для него, мало что говорят. Большие картины с людьми (заказные работы на выставки) остались не закончены — свой пластический подход к человеку он начал искать, но не нашел, а деланье по известным прототипам не удовлетворяло. Основная масса работ — это картины природы, северная земля.

Голубев родился в Костромской деревне. Юношей попал в Ленинград, участвовал в войне. Взгляд его на Землю — это взгляд крестьянина и солдата, понявшего значение родины изнутри. Третий фактор — ленинградская (европейская) культура — она дала язык, «шестидесятничество», открывшее эту культуру.

В Серовском художественном училище, где Голубев учился в 50-х годах, он мало чем отличался от сверстников. Как все, писал натурные пейзажи, старательно строя перспективу, стараясь сделать похоже, передать настроение, исходящее от природы. Настроение получалось довольно унылое — однообразно-желтая нива, бледное небо, ровный горизонт. Душа словно спит. Она покорствует жизненной скуке. Она еще слепа и не различает токи жизненных сил, исходящие от земли, от неба, от ржи, от облаков. Цвет примитивен и вял. Рука не компонует, а срисовывает немудреное это явление.

Пейзаж можно не именовать. Таких множество в нашем искусстве 50-х — почти все студенты писали именно так, и многие профессионалы тоже. Это — милые вещи, но художественная цена их невелика. Почему? Стоит задуматься об этом.

Если мы большими шагами измерим русский пейзаж, то увидим, что породил его Венецианов. Он первым соизмерил простенькую русскую природу (желтая рожь, бледно-синее небо, горизонт) с идеальным состоянием счастья, которое переживает и сам художник, и зритель, и люди, изображенные на холсте. Они дома, на месте в этой уютной природе. И труд для них — естественное дело. Лицо Земли, как лица крестьянок,— мягко, безмятежно, и нива убрана ровными снопами, как четками бус, и ровно сжатая рожь вторит линиям горизонта.

Ученик Венецианова Григорий Сорока, пошел еще дальше в тонкости передачи настроения. Его пейзажи метафизичны, говоря современным языком. Мираж прекрасной действительности, который он видел наяву, преображенным, как в некоем зеркале, растворяющем несущественное и выявляющем главный смысл,— в этих работах и им подобных еще живут принципы исконного письма с ясностью сознательной формы.

Если мы перескочим дальше, то найдем Саврасова, Васильева, Шишкина, Дубовского, и многих других художников нового поколения, которые показали нам уже Россию несколько иную. Кончилась безмятежность. Тревожится русская душа — мозглой, неуютной весной на окраине городка, куда прилетели грачи, распутицей — когда расплылись дороги, и не знаешь, куда идти, богатырской вышью лесов и ширью полей. Но богатырь — не пахарь! И силушку куда девать — не всегда он знает! Душа тревожится, когда притихло, и огромная густо-синяя туча нависла над водой.

Эта тревога связана с иным чувствованием природы у человека в городе, по сути, отрезанного от нее. Ведь постепенно центр русской культуры сместился. Община людей и Земли все более теряла значение. Перейдя на жительство в город, душа не забывает потерю — она постепенно дисбалансируется, и начинает болезненно-остро переживать свои редкие встречи с природой.

Мы это явственно видим в случае с Левитаном. Большая сыновняя чувствительность — желание, сопереживая, слиться с Землей, и драматический порыв оторваться, вознестись в самое небо — над вечным ее покоем.

Душа россиянина в XIX веке активно ищет контакта с европейской культурой. Но не хочет и отказаться от своих сердечных привязанностей — умиления перед природой. Запад подсказывает все новые и новые методы видения пейзажа — импрессионисты учат повышенной цветности, Сезанн — чувству мира как единой массы, спаянности форм, которые существуют все вместе, в давлениях друг на друга. Он первым понял пластическую конструкцию пейзажа как единства воздуха, земли и воды, проявленных светом. Ван Гог погрузился в цветоритмические движения и показал природу совершенно живой, наполненной нервами, тканью.

Русский гений ответил на это искристыми снегами Юона и Грабаря, проявившими и доведшими до сильных и чистых звучаний импрессионизм. Бубновалетцы, изучая Сезанна, стали форму тискать и мять, и крутить, лепя пейзаж, как из теста. Лентулов пошел на гранение и дробление (следуя за Пикассо), весело рассыпая как карточный домик храмы с кусками дерев, лоскутами разрывая небеса. Они разбирали мир на первоэлементы — хотели понять его, с ним играя и перекраивая на свой лад.

Эти разбойники начала века, эти хулиганы-шутники — футуристы, веря в будущую человечью мощь, махали кистями как саблями по холсту, сражаясь с любым устоем. Они крошили мир в щепки, рассеивали его в пыль, раздалбливали трещины древностей как неугомонные дятлы. Они расчищали место для будущего — для человека XX века.

Этот человек пришел. Он пришел и на нашу землю. Вначале — с задорными песнями, с мыслью улучшить природу, превратить ее в рай. Постепенно песни скуднели. «Вот сдавили за шею деревню каменные руки шоссе»,— прохрипел предсмертно Есенин. Началась индустриализация земли, которая не могла не задеть и самого человека. В искусстве она шла волнами, неравномерно, так как силой традиции поддерживалось прежнее природолюбивое мышление. Но на переднем крае идеологии сталинского периода стояла борьба за урожай как главная тема природы. Сравнив картину Яблонской «Хлеб» и картину Венецианова «На жатве», мы без труда увидим, что же на наших полях произошло. Спокойно сидящая мать кормит младенца. Кто-то идет по дорожке, кто-то работает, кто-то отдыхает. Нет никакого «энтузиазма». Все мирно, все совестливо, добровольно. В картине же Яблонской — ногастые разудалые бабы, потея, сгребают хлеб. Сейчас зафуфычат грузовики. Пахнет табаком и бензином. Сгребут эти горы хлеба и повезут неизвестно куда; останутся стоять, широко расставя ноги, крестьянки-зубоскалки.

В 50-х годах Голубев не был задет таким энтузиазмом. Душа ощущала фальшь в таких показательных темах, хотя многие его однокашники на это с удовольствием шли. Его первые картины и этюды — скромные, честные, неприкрашенные и не превращенные в агитку. Теперь мы понимаем, как это много, потому что, исследуя дальше творческий путь художника, убедимся, какие плоды принесла изначальная честность. Убогая нива и довольно убогая живопись оказались опорой правды.

Дальше — перестройка 60-х годов. Перестройка сознания в сторону доверия к личности, к мировой культуре. К попытке очеловечивания государственной политики и идеологии и снятия части запретов. Хрущев и его сообщники, пытаясь взбодрить падающую экономику, дали человеку глоток свободы, обратили внимание общества на конкретных живых людей. Оттаивая, души россиян выплеснули из себя в культуру огромный поток энергий.

Наступило удивительное время — без страха стало можно смотреть репродукции с икон, да и сами оригиналы — сотни из сохранившихся миллионов единиц. Реабилитирована была часть храмов, наиболее знаменитых, которым удалось уцелеть. Были сняты замки и обнаружены уникальные фрески. Открылись импрессионисты, Врубель и Ван Гог. Это было потрясением для художников рубежа 60-х. А дальше — Кончаловский, Лентулов, Фальк, Филонов, Шагал...

Голубева потрясли импрессионисты и Ван Гог. Его живопись осветилась. Вначале ее можно сравнить с работами ранних Серова и Коровина — голубо-розовый снег, теплые рыжие лошадки, крупные, живые мазки. Рука освобождается, движется импульсивно, и эта ритмическая активность мазка, длинного и свободного, станет одним из главных действующих средств в его искусстве.

Это дало сочную, живую фактуру. Появилась дополнительная игра светотени на поверхности красочного слоя, что обогатило живописное воздействие мотивов. Вангоговская подвижность кисти оказалась для Голубева органичной, но состояние его образов — иное. В картинах «Февраль» и «Март» (1962 г.) он передает то крайнее возбуждение сил, которое бывает ранней весной и в человеке, и в природе: острые световые вибрации, быстрые, с налету, мазки, что бегут по впадинам и взгоркам, закручиваются вихрем, тонко трепещут в ветвях. При их беспокойстве, даже буйстве, общее настроение — легкое: стеклянная звончатость светлого, переливчатого мира, взъерошенного весной. Эта лучистая живопись — как бы марево цвета. В ней нет еще крепости, опорной силы, и мир, который она создает,— непрочен, хотя искрист и кипуч.

В картине 1962 г. «Весной на пашне» еще больше проклевываются черты будущей живописи Голубева. Подымается горизонт, земля распластывается перед глазами, рассматривается в упор. Она становится главной мыслью изображения: взрытая почва со стремительно рвущейся водой, шершавые травяные бугры, хрупкие прутья и цепкие корни дерев. Эта грубая, расползшаяся земля-плодоносица зовет человека сеять, работать на ней. Она чувственно-конкретна — это не какое-то поле и не «гектары пашни»...

Даже для смелых тех лет было дерзостью написать на переднем плане, в центре холста огромное черное пятно оттаявшей земли. Сверкает небо и снег. Сбившись в кучку, подпрыгивают на пригорке дома, ликуют березы. Но черное — словно тень от огромного крыла, и — рассыпалась, внося беспокойство, поленница дров. Ка-

Морозное утро. 1962



Хлеба убрали. 1972



Весенние заморозки. 1968

ким рождается день? Ужели — весна? Иль вновь одолеют ее зимние тени?

Подсознательное опасение художника было не напрасным. «Хрущевская оттепель» была недолгой. Свежие воды ушли, кого-то унесли за собой, кто-то иссох и зачах в новой временно́й полосе, двинувшейся к застою. Кто-то снова ринулся в муть и тину болотного существования, кто-то взобрался повыше — на бугорок, и там прирос, осел. Кто-то в группе нашел опору и даже выбился в «лидеры оппозиции», завоевывая художественный мир.

С Голубевым это не произошло. Он пробивался один, не примкнув ни к левым, ни к правым. До сих пор это мешает: для левых он — слишком правый, для правых — слишком левый,— непонятно, как оценить. Если же вдуматься, то расслоение на правое и левое в политике и в искусстве — явление временное. Это — проявление дисгармонического разлада, происходящее в нашем обществе со времен декабристов, когда правоофициальное стало догматикой, и вызвало к жизни левую оппозицию в виде космического печальника Лермонтова, критика Герцена, язвительного Гоголя и других. Как правое и левое полушария мозга должны быть в гармонии и выполнять свою роль, так и в культуре разумное начало (идеология) обязательно должно быть соединено с началом чувства, сердца, с подсознанием конкретного творца. Тогда лишь родится не кривобокое, а прямое движение: «Витязь русской культуры» двинется прямо...

Большинство художников левого склада ностальгичны. Остро ностальгичен В. Попков — самый яркий, пожалуй, живописец из «деревенщиков» 60-х. Голубев прожил нелегкую жизнь — он был инвалид войны, долго жил

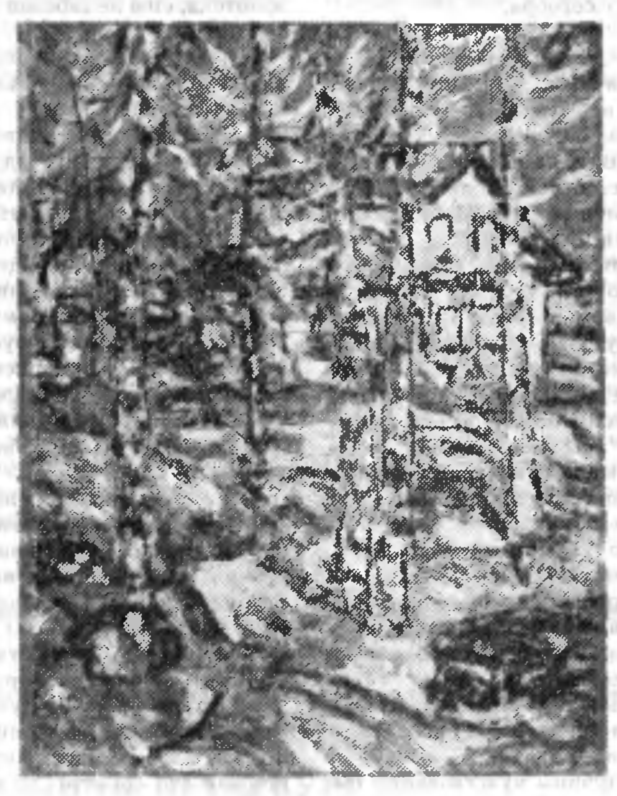
в бедности, работал ночами на кухне в коммуналке, а днем — плотничал, зарабатывая на хлеб. Он не мог не переживать многие несправедливости, в том числе — в мире искусства. У него, как у всякого художника, было и свое естественное честолюбие, и желание быть признанным, понятым, а по существу он был вытеснен из официальной творческой жизни. А ведь он знал себе цену, видел, как незаслуженно пользуются жизненными благами многие художники, не имеющие никакой идеи.

Думаю, что в какой-то момент борьбы он был сломлен. Не сломан, но сломлен — как дерево. Он пустил боковые ветви, приспособился к роли «Васи», и сберег себя. Но в работах конца 60—70-х годов, когда, видимо, не изжиты были еще изначальные юношеские надежды, нередка печаль.

«Весенние заморозки» 1968 г.— тому пример. Тревожно белеет редкими клиньями снег. Упало на землю темное, низкое небо. Хлюпает грязь, но лошадка тащит свой воз. Все равно ведь — веска, хоть без радужных красок. Березы никнут мокрыми ветками, но и горделивы, как южные пальмы, и оттаила круглыми ямками под ними земля.

Работа мрачновата по цвету. Радуга жизни развеялась. Перед глазами реальность вечного труда и терпенья земли — как и терпенья человека. Проталины, мелкие ручьи образуют сложный узор — спирально-закрученное движение. Все движется — и все стоит. Все живое радостно и трагично.

Тем не менее, в этом — не ностальгия. Скорей — терпеливая натура крестьянина-землепашца проявляется в естественном сочувствии всему, что являет Природа. Попков жалеет людей, культуру, видя их гибель. Поэтому он ностальгичен. Голубев не жалеет. Что жалеть? Он открыл кладезь несказанной мощи, титанических жизненных сил. С каждым холстом эти силы в его творчестве крепнут. Уплотняются и укрупняются формы, сгущается и озвучивается цвет. Живопись начинает походить на сплав самородков. Все более величественно и мажорно берется тема Природы — как вечная тема



Февраль. 1962

бытия. Пятна, мазки обретают самостоятельную изобразительную силу — то среди снежных бурунов и бугров возникают чьи-то глаза, из хляби вырисовываются то женские тени, то кони, как будто бы нарисованные то ли самой природой, то ли древним художником, в пещере рисующим на стенах... Он показывает нам все более и более пристально живое тело планеты, еще не укатанной под асфальт, но уже изухабленное, истерзанное человеком. То, что он нам показывает — не «сельхозугодья», не «грунт» и не «субстрат». Это — «Мать-сыра-Земля», как понимали предки.

В течение 70-х годов Голубев идет к программной картине. Образы зимнего сна, весеннего пробуждения и осеннего листопаденья вытесняются образами лета. Природа в расцвете. Все в ней — в избытке сил. Панорамно наслаиваются планы — за далью даль. Открывается огромное пространство, крепнет ось-вертикаль. Вместо хрупких березок возникают сосны и ели. Вместо талой и темной — охристо-красная земля.

Он пишет на Оредеже, где земля действительно имеет красный оттенок — здесь написал Петров-Водкин своего «Красного коня», и мужественный строй, эпичность картины близки к интонации голубевских работ. В картине, названной «Оредеж»,— размах богатырский. Она по размеру довольно велика. Линия тяготения идет

к Шишкину, Васнецову, хотя язык — иной.

Темное, грозное солнце, как в «Слове о полку Игореве», и — ослепительное сверканье серебряной воды. Река плывет широко и вольготно, играя струей. Распор в композиции создают косые стрелы стволов и лучей. Парчовая, драгоценно-расцвеченная поверхность, тяжелая красочная масса мерцает на фоне холодного, леденящего серебра.

В 70-х годах в творчестве Голубева утверждается своя терпкая, часто — пронзительная цветовая гамма. Густой, гудящий поток цветомасс, как поток земляной жижи или меда, сотворяет живописный мир. «Сырость и вязкость», как считал Мусоргский, есть характернейшие черты русского искусства. «Сырая и вязкая» живопись Голубева (сыра ведь Земля!) несет это важное свойство.

Кстати, большие, главные голубевские картины не брали на выставки под тем предлогом, что они-де «сырые». Имелось в виду — недописанные, недочеканенные, непроработанные в деталях. Однако, сам Голубев стремился наворотить на холст тяжелые, клубящиеся массы — это было его художественной задачей, идущей из глубины чувствования бытия. Драгоценно-красочная, неповоротливая плоть, еще не оформленная в нечто сознательное, но — живая,— характерное качество русской земли, как и русского характера, русской культуры.

Ван Гог, с его страстной духовностью, истомленной прагматизмом среды, людям показал, что материя мира — живая. Что вся она — воздух и горы, кипарисы и солнце, дома и человек — проникнута единым живительным импульсом Творца. Материя — это вихрь, пульсация, и не закончена, не окончательна всякая живая форма. Она дышит, колышется, вибрирует у нас перед глазами.

Ван Гог показал экстатичную страстность, готическое стремление вверх, взрывную силу материи, которую скручивает в вихри так, что кажется ее с холста прочь унесет, и мир распылится, вспыхнув радугой искр. У Голубева — иное. Его материя слишком оседлива, тяжела. Это — какая-то лава первопотока, еще не забывшая свой исход.

В зрелых работах Голубева оформляется тема Солнца. «Жаркий вечер» — гимн солнцу на живописном языке. В широких, дуговидных мазках, лепящих округлые взгорки, отлогие берега, в переизбыточном лучении Солнца, идущем прямо на нас, художник передал одно из самых мажорных состояний русской природы, подмеченное им. С такой же страстью наши предки славили Ярилу, катя огневые колеса.

К выставке «50 лет ЛОСХ» Голубев готовил картину «В северном крае» (1982 г.). Но показать ее не удалось (именно ее и посчитали «сырой»).

Центральное событие картины — оплодотворение Солнцем Земли. Лучи света показаны явственно и просто. Видимо, так чувствовал это событие древний египтянин, когда изображал человечьи ладони на концах лучей. Коснувшись воды, они ее оживили, взбурлили, разожгли. Раскалена и земля, и деревья — тяжелые массы, еще не прорисованные до конца, не обтянутые «кожей».

Это — фаза творения. Оно может быть продолжено дальше, уточнено, оформлено в мелких деталях. Но — может быть законченным в лавинообразном состоянии, если художник это именно свойство мира хочет нам показать.

«В северном крае» — картина богатырского содержания. Она близка к творениям Мусоргского, Бородина, Васнецова. Может быть, в этой картине — тот максимум эпического размаха, на который отваживается наша цивилизация сегодня — образ дикой, мощной, одушевленной и далеко не безмятежной природы, в которой скрыт драматический нерв.

В последние годы Голубев нашел свой стиль, свой живописный язык. Он много работал над этюдами — писал их быстро, схватывая основные движения масс. По пластике они очень оригинальны и богаты. Рассказывают, что Голубев очень любил танцевать. Он хорошо чувствовал пластику, движение. В мастерской у него постоянно звучала музыка, что видно по работам.

Голубев говорил: первые пятнадцать лет я работал с натуры. Последние пятнадцать — в мастерской. Но и на натуре он часто становился спиной к мотиву — чтобы не сглядывать, а сознательно строить его. В мастерской же писал по воспоминаниям, со своих картин и даже с репродукций, конечно, неузнаваемо меняя их.

Этюды эти неопытный глаз может принять за чистую абстракцию, настолько широко и пастозно они взяты. Цвета очень сильные — изумрудные, фиолетовые, голубые. Он создавал элементы для какой-то будущей живописи, ясной и крупной по форме, мощной и сочной. Предвкушал некую райскую природу, в которой живут прекрасные, вольные существа. От картин исходит здоровая, целительная сила, как будто в них спрятан витамин для глаз и души. Эти концентраты здоровья, эти драгоценные слитки цвета создавались в условиях экологической катастрофы, когда уже многим стало ясно, что воды отравлены, земля обеспложена и солнце теряет свой свет. Понимая и видя это, многие художники кинулись показывать зло — гибнущую природу, чтобы вызвать у людей беспокойство и сострадание. Голубев же показал мужественное сопротивление Природы и человеческой души, неистребимую волю к жизни.

Мы не знаем и не узнаем теперь никогда, на пороге каких открытий ушел из жизни художник. Что он был в самом разгаре творческих сил — это ясно. Может, он потому и боялся выставки, боялся открыться зрителю, еще не созрев, не успев сказать что-то главное.

В современном зaасфальченном мире, в пасмурном Ленинграде вдруг чудом возник этот художник с открытой и смелой душой. Он сделался рупором Природы, истерзанной и прекрасной. За шесть лет, протекших со дня его смерти, мы еще глубже погрузились в жесткую техногенную среду. Случился Чернобыль, Армянское землетрясение, загублен Адамов рай — Персидский залив. Беспомощно трясут головой облитые нефтью птицы: что ты делаешь, Человек? Зажжены нефтяные вышки. Может случиться, что дети не будут знать, что такое Солнце. Что может нас спасти? Неужели — картинки?

Да, культура обладает силой саморазвития, самосохранения и защиты людей. Она является постоянным источником обвинения злу. Она содержит критерии истины. Она поддерживает духовный огонь в человеке. Ибо культура — это сознательная Природа, проявленная талантом Художника-творца.

Василий Голубев был голосом (глазами) Природы в техногенной среде. Он оставил свое пророчество — «спасайтесь!» Он доказал, что душа человеческая — не бессильна, что это — мощнейшая из стихий. Дух управляет миром, и его способна познать, прочувствовать живая человеческая душа. Голубев оставил нам камертон — на что мы можем себя настроить, желая спастись.

Со времени Венецианова изменилась наша земля. Где безмятежность крестьянки, кормящей на ниве дитя? Где — эти мягкие лица, зелено-золотые пространства родительских полей? Земля изуродована, и она защищает себя, теребя душу художника — наиболее чуткого человека. Прислушайтесь к искусству! Россия — исполнена сил, невероятных, никогда не бывалых энергий! Помогите им проявиться — в себе, а потом — в других! Не спите! Духовный сон равносилен смерти.

Голубев оставил нам огромное количество работ. Какой будет их судьба? Смогут ли люди их увидеть? Способны ли будут они исполнять свою функцию — заряжать энергией людей? — Это вопрос открытый. Но я убеждена, что в будущем искусство Голубева войдет как классика в историю культуры России.

Дело прошлое

Ив. ТХОРЖЕВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ ПЕТЕРБУРГ

Из воспоминаний камергера

А. И. ГУЧКОВ И ЕГО ПОРТРЕТЫ

После недавней (14 февраля 1936 года) смерти Александра Ивановича Гучкова — вот уже три яркие статьи о нем! Три больших, во весь рост, портрета. Подписаны они крупными именами: Н. В. Савича («Возрождение»), П. Н. Милюкова («Последние новости») и А. Ф. Керенского («Современные записки»). Все три автора дают любопытнейший исторический материал. Но рисуют они — три совершенно *несхожих* между собою портрета.

Так бывает. Портретист, а особенно портретист с именем, всегда видит по-своему, невольно подбавляет к изображению свои собственные душевные черточки. Но тут, в сложном и противоречивом облике А. И. Гучкова, трактовка портретов уж чересчур различна.

Уловлено ли, подчеркнуто ли главное? Основное, необщее выражение политического лица — то выражение, с которым А. И. войдет впоследствии в русскую музейную галерею?

Окончательное решение гучковской загадки откроется нам, вероятно, только тогда, когда будут напечатаны воспоминания самого Александра Ивановича. Но вот, на скорую руку, несколько штрихов. И несколько необходимых поправок.

Продолжение. Начало см.: Нева, 1991, № 4—9.

Страстная преданность родине, ее военной мощи, быту старой и богатой Москвы... При столь же страстной *ненависти* к Государю. Вот основной «узел» в сердце А. И. Гучкова.

На его безмерную, исключительную по силе и искренности любовь к родине Россия так никогда и не ответила ему взаимностью. Так никогда и не полюбила его по-настоящему.

Зато, в ответ на ненависть к трону, ответная ненависть у Государя и, в особенности, у императрицы, создалась прочная. Перечтите письма царицы в Ставку! Гучков, Гучков — чудится везде и всюду; это он — главный враг, он — олицетворение революционных козней. Его зловещая тень заставляет не любить Москву, отворачиваться от Кривошеина и Самарина... Точно предчувствие, что именно этот коварный враг приедет требовать отречения.

В рассказе Шульгина о поездке во Псков с Гучковым есть признание: как он, Шульгин, внутренне боялся: а вдруг Гучков скажет Государю что-нибудь тяжелое, злое, обидное... Конечно, этого не случилось. Это было бы недостойно Гучкова. Но самый факт приезда именно А. И-ча за отречением — был уже излишней тягостью для Государя. Морально — как раз Гучкову ехать во Псков не следовало.

Н. В. Савич в своей искусной и обстоятельной защите памяти Гучкова предпочел вовсе не упоминать об этой поездке. Он выгораживает память А. И-ча (правда, с оговоркой — «насколько я знаю») и в другом отношении: «прямого участия в революции не принимал». Увы, с осени 1915 года принимал — и прямое. Тому теперь есть категорическое подтверждение в признаниях П. Н. Милюкова и А. Ф. Керенского. Да иначе — как и попал бы А. И. Гучков в военные министры Временного правительства?

Но как раз тогда, когда А. И. Гучков достиг, казалось бы, двух главных целей своей жизни: 1) Государь отрекся и 2) именно он, Гучков, получал в свои руки русскую армию,— тут-то и ждала катастрофа.

Старая, дорогая московскому сердцу Гучкова Россия — без Государя не просуществовала и суток! Суток не просуществовала и эфемерная военная власть самого Гучкова.

«Приказ № 1», изданный *помимо него* совдепом, сразу же разрушил призрачный сон министра. Оказалось,— как это с выпуклой яркостью очертил в своем некрологе Гучкова А. Ф. Керенский,— что вне небольшого кружка штабных военных, сотрудничавших с Александром Ивановичем еще в доброе царское время, *никому*, решительно никому в русской революционной армии этот штатский военный министр, «барин в теплом пальто и с палкой»,— *не нужен!* Справа и слева Гучкова окружили ненависть, недоверие, глухая стена злобы.

Смертельно раненный революцией, Гучков ушел из Временного правительства с надрывным криком: «Россия гибнет!» — но и со щемящей внутренней болью, что именно он, сам — один из виновных.

Гучков скоро отрекся от власти и от революции. Когда арестованный Государь узнал от Керенского об этом отречении и падении своего врага, он не только не испытал какого-либо злорадства, но пришел в искренний *ужас*, что вот и Гучков затравлен — слева, совдепом! Надвигается какой-то уже беспросветный мрак... «Что еще готовит Провидение нашей несчастной родине!» — вот крик, вырвавшийся в дневнике из царского сердца, несчастного сердца, слабого, неравненного по благородству — с «подданными».

После первой революции 1905 года Гучков открыто встал на сторону правительства. Он уже и тогда отрицательно относился к династии и к ее титулованному окружению, он питал и весьма «кислое расположение» к автору манифеста 17 октября, графу Витте (слова самого Сергея Юльевича, платившего Гучкову злобой и презрением), но Александр Иванович верил тогда в самого себя и, еще больше, в Столыпина.

Гучков стал душителем революции,— пишет Керенский. Искренний конституционалист пошел на сотрудничество с сомнительным,— пишет Милюков.

Слово «сомнительный» — не подходящее к Столыпину. Но и по существу: А. И. Гучков был конституционалистом примерно того же *жизненного*, а не бумажного склада, что и Столыпин. Как раз Гучков и подсказал Столыпину (как правильно утверждает Керенский) «переворот 3 июня», то есть убедил Столыпина, после неудачного опыта с двумя первыми, революционными Думами,— изменить опрометчивый избирательный закон Витте, пожертвовать *фирмой* законности для спасения *идеи* Думы и конституции.

За новый избирательный закон ответил перед русским левым общественным мнением С. Е. Крыжановский. Но политическим автором его был Гучков.

А. И. Гучков и в самой Думе был неизменным союзником и суфлером Столыпина, советчиком его по части разной «хитрой механики», в которой покойный А. И. был так силен. Недаром граф Витте в своих воспоминаниях негодует на «подделку» русской свободы, объявленной «его» манифестом, и всюду изображает Гучкова и Столыпина как двух политических «Аяксов». Так оно и было довольно долгое время. Гучков разошелся со Столыпиным незадолго до смерти Петра Аркадьевича. Но после этой смерти он вернулся к мысли, что только столыпинский путь был спасительным для России. У меня есть несколько писем А. И., написанных уже в эмиграции, где он убежденно исповедует столыпинский символ веры.

Жалеть о сотрудничестве со Столыпиным А. И. Гучкову, во всяком случае, не приходилось. Время третьей Думы — не только блестящая страница его, гучковской, биографии, но и одна из самых блестящих страниц русской истории, время расцвета. Народное хозяйство России, ее просвещение, военная оборона, крестьянское дело — все это только выиграло от сотрудничества царского правительства с Думой, пусть и Думой укороченного образца.

На чем же оборвалось быстрое восхождение России кверху? Только на войне. Не на политических настроениях. При императоре Николае II шла кипучая, шибкая деловая работа во всех областях русской жизни.

Плохой Государь? Но какое плодотворное царствование! Какой — даже и политически — огромный скачок вперед! — Сколько было сделано и сколько еще могло быть сделано, останься Россия под властью Государя. Да, колеблясь, уступая, бери назад, но все-таки в целом — как двигала царская власть Россию!

Гучкову, да и многим в страстном их нетерпении представлялось, будто Государь — «основное препятствие к осуществлению их политических требований» (выражение П. Н. Милюкова). Бесспорный патриот Гучков бросился, в разгар войны, в самую гущу военного бунта. Он погубил этим не только Царское Село, но и дорогую ему Москву.

В его оправдание можно привести многое. Бесспорно, царская власть отклонилась в последние годы от правильного столыпинского пути. Унизительное влияние Распутина разрушало, подрывало монархию. Вмешательство императрицы («ее» самодержавие) принимало безумные порой формы, без всякой нужды обостряя злобу, ставило в безвыходное положение лучших слуг трона.

И все-таки! Необходимо было дотянуть до военных успехов на фронте (к чему дело уже и шло). Военное сопротивление немцам было все-таки гораздо возможнее при старом строе, нежели после его крушения. А со штатскими — пускай необходимыми — переменами следовало потерпеть.

Распутин уже был убит. Болезненное состояние Государыни вскоре потребовало бы, вероятно, лечения. И во всяком случае, даже в состоянии крайнего нетерпения, даже идя внутренне на дворцовый переворот, думские политики должны были бы сознавать, что взбунтовать — для сведения политических счетов с монархией — тылового неизвестного солдата, попросту не желавшего воевать, было с их стороны безумием. Непростительной переоценкой их собственных сил.

Любой министр и общественный деятель мог быть семи пядей во лбу. Мог быть (и бывал!) куда умнее и энергичнее Государя. Мог он, допустим, и «выходить из себя» иной раз, при соприкосновении с царским двором...

Но все-таки! Надо же было все-таки сознавать, что «мистика», окружавшей историческую царскую власть, за несколько месяцев не создашь! И уж никак не заменишь личной, собственной талантливостью.

Когда свергли царскую власть, некому стало не только служить, но некому и быть в оппозиции. Гениальные общественные деятели и министры полетели — все! — от пинка солдатского сапога.

А. И. Гучков политически погиб в тот самый день, когда осуществились его политические идеалы, когда устранилось мнимое к ним «основное» препятствие.

Но, если таково было его политическое предвидение, можно ли объявлять его, хотя бы и в некрологах, «большим человеком»? Только не давала, мол, ему ходу все та же узкая, проклятая русская жизнь.

При Государе А. И. Гучков участвовал все же в устроении русской жизни. Пусть участвовал не так, как ему хотелось, но все же участвовал и в Думе, и в Государственном Совете, и в Военно-промышленном комитете — с немалым влиянием! С немалым блеском! Зачем же было губить монархию?

«Большой человек»,— твердит П. Н. Милюков. И ссылается при этом на пьесу «Большой человек» г. Колышко, где «герой» был якобы «прозрачно загримирован под А. И. Гучкова». На деле героем этой (неважной) пьесы был и впрямь большой человек, граф С. Ю. Витте. А про Гучкова можно сказать многое. Сильный человек. Замечательный человек. Большой ум. Большой — властный и упорный характер при внешней чарующей, бархатной мягкости обращения... Но «большой человек»? Для этого А. И. Гучкову не хватало внутренней *цельности* подлинного вождя. И, при всем моем уважении к памяти Александра Ивановича, скажу: не хватало калибра.

Показательная черта: обычное предпочтение А. И. Гучковым тайных ходов — открытым. Страсть к партийной игре, к заговорам, к политической и военной интриге. Искусство организатора — да! Успехи и торжество за кулисами. Но при выходе на политическую авансцену — проигрыш, проигрыш, проигрыш!

Тяжелая, несчастливая была «рука» — у властного, умного, серьезного Александра Ивановича!

Многие ли помнят его в выигрышной роли председателя Государственной Думы? Даже демонстративная отставка — после того как Столыпин, распустив на три дня Думу, провел по 87-й статье закон о западном земстве — как-то слабо дошла до общественного сознания. Она была заслонена тогда личной «сенсацией» Трепова — Дурново, и охлаждением Государя к Столыпину. Председателями Думы остались в нашей памяти Муромцев, Головин, Хомяков, Родзянко. А Гучков помнится скорее главным думским воротилою, лидером партии октябристов и мастером думской политической кухни. Одно время всех вообще думцев дразнили в Петербурге «гучковскими молодцами». Но сам-то Гучков предпочитал действовать за кулисами.

Его умение влиять было огромно. Еще недавно, на одном полуполитическом обеде в Париже, Александр Иванович на похвалы его ораторскому таланту шутливо — и умно, как всегда,— заметил: «Да, в Государственной Думе слушали меня внимательно. Но это лишь потому, что за каждым моим словом стояло не менее 160 голосов...»

Оратором, как и политиком, А. И. Гучков был прирожденным. И любил самое ремесло политики. Любил, даже слишком! Увлечение. «ремеслом» затемняло порой даже его ясную голову.

В разгар революции, уже уйдя из министров Временного правительства, Гучков приехал квк-то к А. В. Кривошеину (близкому для него человеку — и «по Москве» и «по Столыпину») с просьбой помочь в составлении программы «русской либеральной партии». Он хотел ее основать тогда взамен партии октябристов, ибо «партии 17 октября» уже не могло быть — без Государя и в преддверии «ленинского октября».

— Да, но какие же шансы на успех может иметь такая партия теперь, когда поднялись низы, ненавидящие буржуев?

Ответ был (дословно): «Кадетам выгодно иметь на политической арене хоть какую-нибудь партию правее себя. Они будут ее, конечно, чернить, но зато уже обещали, втайне, уступить часть мест, поделиться... А у кадет при выборах в Учредительное собрание все же кое-какие голоса будут...».

Большой ли человек говорил эти слова? Чистый политик и стратег, А. И. Гучков был вообще как-то мало чувствителен к социальным вопросам, к реальной подоплеке политики. Умом он, конечно, понимал все. Непрочь был и порисоваться: «Мой дед был крепостным». Но инстинктом он был за «имущих». Вопросами земельным, рабочим интересовался больше теоретически...

«Барин в теплом пальто...»

Другая черта, которая также несколько мельчит Гучкова,— беспокойная страсть к ощущениям, к авантюре, к «переодеваниям». Будучи штатским, он всерьез и упорно, без конца, работал над вопросами военной обороны. Но трудно отрицать, что, кроме «дела», тут была и «отрава». Заодно вербовались в военной среде личные приверженцы.

«Бутафорный военный» (словно Витте) Гучков был, конечно, куда серьезнее военного Сухомлинова. Но в нем сидел и военный авантюрист. Волонтер в бурскую войну, «чин» харбинской пограничной стражи, задира-дуэлянт, вечно искавший, с кем бы «сосчитаться». Как мог он все-таки избрать мишенью — Государя?

Лучшее доказательство, что настоящей, стихийной, «почвенной» цельности у него не было. Основной политический инстинкт был неверен.

П. Н. Милюков вспоминает теперь сказанные ему слова А. И. Гучкова: «Вы сильны наукой и книгами, а я — коренным, стихийным чувством московского купца, которое безошибочно подсказывает мне в каждую данную минуту, что именно я должен делать».

Да, Гучков притязал на русскую цельность. Но — если бы это было так! На самом деле в нем была беспокойная внутренняя *непримиримость*. И она очень часто подталкивала его — на ошибки.

Около имени Гучкова всегда возникал раздор. Еще на днях, в Белграде, произошла из-за него снова бурная перепалка. На этот раз — между В. В. Шульгиным и П. Б. Струве. В их политическом споре трудно не стать на сторону Струве.

Все мы в эмиграции,— и Струве, должно быть, первый,— встречаясь с А. И. Гучковым, преклонялись перед его неутомимой, несравненной энергией. Он, как никто, преследовал большевиков, травил их в иностранном общественном мнении. Все мы подпадали, при встречах, и под обаяние ума, силы Гучкова, его спокойной, любезной внимательности к людям, его огненной верности России. Но разве это устраняет и отменяет наш повелительный политический долг: в спорах о Гучкове-деятеле (человеком он был, вне спора, хорошим) искать только *правды?*

А правда — то, что Гучков *ошибся*, бросившись в военную революцию.

И к этой ошибке он шел давно.

В воспоминаниях Витте, врага Гучкова, но врага, умершего задолго до революции, в 1914 году, значится еще под 1909 годом такая запись (сделана эта запись, правда, без ручательства за достоверность, но сделана для себя и взволнованно). Летом 1909 года Гучков сделал, якобы, одному русскому, жившему тогда во Франции, следующую неосторожную «конфиденцию»: «В 1905 году революция не удалась, потому что войска были тогда за Государя. Теперь нужно избежать ошибку, сделанную вожаками революции 1905 года. В случае наступления новой революции необходимо, чтобы войска были на нашей стороне. Потому я исключительно занимаюсь военными вопросами и военными делами, желая, чтобы в случае нужды войска поддерживали более нас, нежели царствующий дом».

В жутком свете событий 1917 года эта, может быть и апокрифическая, запись Витте 1909 года приобретает трагический, для нас и для Гучкова, смысл. Она еще теснее сближает его имя с именем другого, только что скончавшегося иностранного политического деятеля — Венизелоса.

Не то же ли основное, и очень редкое, сочетание? Патриотизма, личного благополучия — и ненависти к родной монархии. Сочетание штатской хитрости и военной интриги. Страсть к заговорам, неодолимая тяга к политике, при малой чувствительности к социальным противоречиям. Та же партийность и «либеральность». Та же изумительная, беспокойная и сравнительно мало соаидающая энергия. И почти тот же хмурый, внешне подслеповатый, но внутренне зоркий, острый взгляд за очками.

Конечно, Венизелос был гораздо удачливее. Он несколько лет все-таки правил Грецией, стал международной знаменитостью, хотя и с помощью англичан, и на небольшой сцене. Совершенно иною была и развязка его спора с монархией.

В мрачной русской трагедии погибают *все*. В Греции — наоборот — примирение, чуть ли не идиллия! Но при моральном торжестве короля над Венизелосом. Этот исход знаменует торжество безличной, но глубоко исторической традиции над личным талантом и честолюбием. Венизелос умер — «да здравствует король!»

В нашем политическом сознании русский Венизелос — А. И. Гучков — также побежден, и, думаю, навсегда, отрекшимся, замученным императором.

Но тени их когда-нибудь аримирятся. А вина Гучкова давно искуплена. Жгучей — всю жизнь! — любовью к родине. И предсмертной, выше сил, борьбой — за ее свободу.

1936

Окончание следует

Письма из прошлого

Александр ЛЕВЕНКО

СЫН СВОЕГО ОТЦА

«Г. Л-град, 27.VIII.31 г.

Многоуважаемый и Милейший Григорий Кузьмич [1], здравствуйте...

Здесь... идут в ход лишь весьма квалифицированные (кажется, верно написал?) работники. Я, как таковой, состою редактором Западной Литературы в ЛООЦИЗ'а (в обл. отделении «Центриздата».— *А. Л.*) и получаю с 1-VIII — 275 руб. в месяц... Прибавив пенсию — получается как будто недурно. А на самом деле я вечно бываю без аржанов (франц. argent.— *А. Л.*) (по-мордовски — монетт)... Все очень дорого. Ну, а Лара [2]... любит наряжаться.

Комнату я достал при содействии облисполкома (Ленсовета) и, значит, имею жилплощадь, правда, небольшую — всего 10 кв. метр., но для города Петра, при нынешних обстоятельствах, и это — находка...

...Пишите мне (г. Л-град, 6-я Советская ул., 29, кв. 22)...».

И вот я иду от Суворовского по вышесказанной улице. За Дегтярной, за угловым тополиным сквериком, высится сленой торец лицевого корпуса; справа — как бы врезанный двор-колодец и дальше — третий корпус П-образного строения. Облик его скромен, но элегантен. Два симметрических эркера увенчаны балкончиками с еще подлинными решетками, и в тех решетках, в чередовании прямых и волнистых прутков, как бы запечатлен «ключ» к звучанию разноликого в простоте своей здания. И в шестиэтажной его выси, обегаемой приглубленною мансардною надстройкою; и в ризалитовых выступах во двор главного корпуса и корпуса срединного; и в плавности резких сочленений всех этих «доходных» корпусов в единое целое проступают приметы петербургского модерна.

Создатель дома — Николай Иванович Котович, гражданский инженер, автор проектов двух десятков простых и выразительных зданий в центральных «рядовых» застройках города. Дом же в 6-й улице Песков, тогда Рождественской, возник в 1914 году.

Иду к 22-й квартире. Миную арку, двор. Из-под второй арки — вход на

[1] Григорий Кузьмич Жидков (1894—1963) — пензенский журналист.

[2] Лара — статная тогда красавица-балерина, Лариса Николаевна урожденная Вандышева (1904—1987), в будущем — биолог.

лестницу. Дверная коробка, естественно, изуродована; красновато-серая сетка кафеля истрескалась не вполне. Марши — тоже еще в сносном состоянии.

Вход в квартиру 22 прямо перед лестницей.

«Таким образом, я, внося деньги в жилкооперацию на предмет быть членом ЖАКТ'а, полноправный здешний житель... Написал киносценарий с монтажом „Повести о том, как мужик двух генералов прокормил“ и „Дикого барина“. Союзкино оба принял и даже похвалил. К сожалению, вероятно, в тек. году их заснять не придется. План перевыполнен и пленки недостаточно».

Это же год 31-й!.. Все та же знакомая закавыка: «перевыполнение недостаточности» отделяет писателя от читателя, режиссера — от зрителя, духовное начало — от алтаря служения людям.

«Сейчас думаю для драмтеатра смонтировать „Пошехонскую старину“... По примеру „Робеспьера“ — Раскольникова, в котором публика даже разобраться не может. Очень интересная пьеса, доложу Вам. Я кое-что знаю о великой Французской революции, но это „великое“ (уж как его хвалили-то в печати! Подумайте сами — ведь Раскольников писал!) произведение фактически и меня временами ставило в тупик...

...Я охотно посещаю симфонические концерты. Отличный оркестр. Прекрасные дирижеры (русские и иностранцы). Был даже японец, бывший рикша. И музыка его звучит вроде несмазанного колеса колясочки, которую он когда-то возил. Я вникал, вникал в ее смысл и так и не вник. Взял и плюнул...».

Какая «светская» беседа не затронет погоды? Вот:

«А обсерватория все оповещает urbi et orbi (город и жителей.— *А. Л.*), что „сегодня погода преимущественно пасмурная. Не исключены днем осадки грозового характера“. А солнце жарит вовсю. Не иначе, что предсказания эти делают выдвиженцы. Профессионалы не могли бы, при всем желании, поступать таким „вредительским“ (для погоды) образом».

Ну, а какая «советская» беседа не затронет... еды?!

«Кормит нас потребкооперация не очень-то хорошо. Я, получая продукты по 1 категории (как перспенсионер), еще кое-что получаю. Дают лишнее масло сливочное (400 гр. в мес.), яйца (десяток!!!.. в месяц), ну, мыло туалетное (1 кусок в... месяц), ну, а жена второкатегорница очень плохо себя чувствовала бы, если бы я любезно... не предоставлял ей части половинной своего пая. Получает она всего-навсего $1^1/_2$ кило сахара, пять раз (иногда шесть) в месяц по 300 гр. мяса, ежедневно по 200 гр. белого и черного хлеба, 250 гр. хозмыла, иногда — 200 гр. подсолн. масла. Я все это получаю в двойном размере».

Что это? Послание потомкам из года 31-го в год 91-й? Впрочем, далее обнаруживаются и кое-какие разительные отличия:

«Зато скверных макарон, селедок и гречневой крупы дают чересчур много... Иногда город бывает завален мясными, очень приличными, консервами... Конфет, тортов везде хоть отбавляй. Моей супружнице это очень нравится... Водки тоже очень много. И „соль земли советской“... сиречь рабочие, устилают тротуары (панели) улиц своими телами. А милиционеры — гордые своими серыми мундирами, и тропическими шлемами, и белыми лайковыми (да! да! — лайковыми и белыми, совсем как в Париже, Лондоне и Берлине... Знай наших!) перчатками — не обращают на эти тела никакого внимания...

Сегодня воскресенье. В церквах идет веселый перезвон. Наш город и его Совет тем хороши, что, действительно, не мешаются в религиозную жизнь жителей. Правда, что отобрали Исаакиевский собор и храм Воскресенья на Крови... и еще кое-какие бесприютные церкви для культцелей, а церковь Благовещения и совсем снесли, чтобы получить стройматериал, но это,— сравнительно с оставшимся, пустяки...»

Но вот что еще сообщает о себе автор: «...Я в течение трех месяцев в студеную, зимнюю пору репортерствовал здесь... и раскаивался. Дело в том, что приходится шесть дней в неделю жить для одной газеты... ездить по учреждениям и предприятиям, взбираясь нередко на 6—7 этаж, собирая митинги рабочих и т. п... а вечером опять ехать в редакцию, чтобы диктовать свое „произведение“ машинистке...».

Репортерствовал он, больной и старый,

для вечерних выпусков «Красной газеты».

«...Ну, а засим, пока что à revidercе (это не по-мордовски, а по-итальянски)... Будьте здоровы, не попадайте под автобусы и извозчиков... и ответьте мне, а также пришлите номерочек газеты с „творениями“ Кузнецова и tutti quanti (всяких прочих.— *А. Л.*) (это тоже не по-мордовски, а по-итальянски!).

Привет. К. Салтыков-Щедрин».

Такое вот письмо. И такая вот подпись.

Только один человек мог осмелиться, вперекор анкетным установлениям, присвоить столь грозную и великую «приставку» к «родовой» фамилии. И поступил он так намеренно, дабы «врезать» тем недоумкам и пустельгам, облеченным «степенями и званиями», тем «выдвиженцам» и «попутчикам», кои ославили его «пьянчужкою» и «дурачком»! И это липкое вранье нет-нет да и теперь «пятнёт» трагического сына «Властителя дум всея России»...

Вот и надо, вкратце, раскрыть «формулу судьбы» того, кому Михаил Евграфович заповедал: «Паче всего люби родную литературу, и звание литератора предпочитай всякому другому».

Да, были в жизни его прискорбные полосы. Немало огорчений он и сестра его нанесли старенькому, истерзанному недугами, неимоверно много работавшему отцу. Слишком рано лишившись его, только много-много лет спустя и Константин Михайлович (1872—1932), и Елизавета Михайловна (1873—1927) вполне осознали, кем был их отец и для них, неразумных «маленьких человечков», и для бескрайней «неразумной» России...

За порог страшного XX столетия сын Щедрина вступал, отягощенный пустотою «беспутно» прожитых лет. Позади осталось небрежное учение и скверное поведение, повлекшее исключение из Александровского лицея, коего выпускником и «Пушкиным XIII курса» был отец. Позади осталось и «прожигание ассигнаций» из своей доли наследства; пришло отрезвление, настала труженическая пора...

Из Питера он перебирается в Пензу. Губернский город с яркою, мощною культурною и литературною традицией — преображает нового своего гражданина. Мало того, что в пензенской земле — корни его предков по матери — здесь светится и память об отце. Менее двух лет «генерал» М. Е. Салтыков грозно управлял Казенною палатою, но оставил в Пензе столь глубокий след Человечности, что имя писателя Н. Щедрина пензяки произносили с благоговением...

В Пензе Константин Михайлович стал претворять в жизнь завет отца. Всем существом «прикипел» он к газетной работе. «Отметчик» и репортер, рецензент и переводчик (с четырех языков), театральный обозреватель и краевед, он тонко передавал пульсацию событий в губернии, в которую входили и мордовские земли. Писал он быстро — на узких полосках бумаги и при этом непрерывно, как отец, курил и так же прихлебывал крепкий чай с лимоном из отцовой же чашки голландского фарфора (ныне она — в Твери, в музее Салтыкова-Щедрина), и приговаривал:

— Мысленно прикладываюсь к устам Родителя...

В потоке публикаций его в «Пензенских губернских ведомостях» вырисовываются два цикла очерков: «Саранские впечатления» и «Пенза — Петербург»...

Большевистский переворот застиг его на посту ведущего рубрику «Пензенский день». Осенью 1918-го он, естественно, угодил в тот самый-самый первый концлагерь для «сомнительных», о коем знает теперь мир. Вскоре, однако, был выпущен, и даже служил при губисполкоме юрисконсультом. И вновь, колючий и категоричный в суждениях, «был сажаем» для пущей «перековки», но наконец оставлен «на воле и в подозрении» — в уважение к грядущему 100-летию отца его, зачисленного «новою властью» в свои «верные предшественники».

Служа, нуждаясь, работая мелкую работу в «Трудовой правде», «К. С». может лишь мечтать «поездить по России и порыться в архивах», чтобы воссоздать картину чиновничьего подвига отца, защитника Законности в Вятке, Рязани, Твери, Пензе, Туле... В рамках этого замысла он помещает в газете «Колос» очерк «М. Салтыков-Щедрин в Пензе». И в том же 1923 году выходит книжка К. М. Салтыкова «Интимный Щедрин».

Оболганная уже в предисловии Н. Мещерякова за «гнилой либерализм» и отца (!), и сына злосчастная эта книжка подверглась остракизму. Никто не потрудился по-настоящему прочесть ее и по-доброму понять. Книжка, действительно, написана отчасти сумбурно, в состоянии взвинченности, однако языком простым и раскованным, и насыщена такими штрихами, какие и мог запечатлеть только один человек — сын Михаила Евграфовича... Взвинченность же автора объясняется тем, что Константин Михайлович оказался втянутым в несусветный «бредоизм», закрученный «навстречу» столетию «М. Е. Щедрина». И прежде он сполна хлебнул лиха быть сыном великого писателя, но то, что на него обрушилось сейчас, превзошло все вероятия. От него

чуть не в упор требовали быть на высоте гения отца, а так как, при всем своем остроумии и крепкословии, К. М. Салтыков-«Щедрин» «не дотягивал» до М. Е. Салтыкова-Щедрина, то за это и стали ославлять его «дурачком»! И еще потому, что в «Интимном Щедрине» автор восстал против «впрягания» отца в идеологическую платформу «социализма».

«Сам он был строго беспартийным человеком,— сказано в «Интимном Щедрине».— ...Он стремился быть свободным в своих суждениях и, наверное, остался бы верным себе, что бы от этого для него ни произошло...».

Работая над книжкою, в 1922-м Константин Михайлович, вдовец, увлекся Ларою Вандышевой, ученицею балетной школы И. В. Быстрениной, и два года спустя бракосочетался с нею.

«Константин Михайлович,— вспоминала Лариса Николаевна Салтыкова-Макаренко («Заря», г. Талдом, 21.1.1975),— тягостно переносил, что его единственная сестра Лизв находилась вдали от него... Мы были приглашены на торжественное заседание... в Ленинград, куда приехали из Пензы. Сестре же Лизе помешала болезнь...»

Елизавета Михайловна, в первом браке баронесса Дистерло, во втором — маркиза да Пассано,— жила за рубежом, но ей был послан «Билет для входа на Торжественное Заседание, посвященное русскому писателю-сатирику М. Е. Салтыкову-Щедрину, имеющее быть в понедельник 15 февраля 1926 г. в помещении Драматического Театра Государственного Народного Дома им. Р. Люксембург и К. Либкнехта (Кронверкский пр., 3)...».

В марте Константин Михайлович стал «перспенсионером» за отца, но лишь в исходе 29-го года — получил «добро» на «жительство» в родном городе. И обрел те «10 кв. метр.» в 6-й Советской, где и начался наш рассказ.

Завершая же его, скажу, что в доме № 29 Константин Михайлович много болел и много работал. Ездил на Кавказские Воды и в Москву. Помимо договора 22-го года на книгу «Интимный Щедрин», сохранились и еще два его московских договора: 29-го года — с Госиздатом на перевод произведения Жана Деваля «Деревянные сабли», 30-го года — с Акционерным обществом «Земля и Фабрика» на перевод с немецкого книги Оттвальда «Покой и порядок». Сохранились два его читательских билета: Библиотеки Иностранной Литературы в Столешниковом переулке в Москве и нашей «Публички». Сохранилась и расчетная книжка «редактора Западного сектора» Лен. Отд. Центриздата, выданная «рабочему» (!) Салтыкову-Щедрину Константину Михайловичу, с записью о том, что «тов. Салтыков подписался на заем... руб. 150». Документы эти — могли бы находиться в Музее на Литейном, 60, в комнате сына, но...

Усердный посетитель Публичной библиотеки, Константин Михайлоаич в апреле 32-го успел порадоваться нежданному, нечаянному присвоению ей имени отца его... А 17 июня его не стало...

20 июня Константин Михайлович Салтыков был отпет и погребен на Волковом кладбище, рядом с родителями: Михаилом Евграфовичем (1826—1889) и Елизаветой Аполлоновной (1838—1910), у ограды «большой» церкви Иова Многострадального...

Спустя семь лет, надгробие Салтыкова-Щедрина, отслонив от водосточной трубы, перетащили на «Литераторские мостки»; от захоронений вдовы писателя и сына его не осталось ни малейшего зримого следа... Храм же, с «первым классом» кладбища,— «подлинно временно» оккупирован монументскульптурным предприятием...

Воспоминания

Татьяна ЗАРУБИНА

О ШВАРЦЕ

В 1940 году в Ленинградском Театре комедии состоялась премьера шварцевской «Тени». По мнению очевидцев — участников спектакля и зрителей,— это был настоящий праздник, оглушительный успех и всеобщая радость.

Впоследствии главный режиссер театра и первый постановщик «Тени» Николай Павлович Акимов назовет эту пьесу «„Чайкой“ и „Принцессой Турандот“ Театра комедии», имея в виду не только долгую жизнь пьесы в репертуаре, что подтверждено временем, но и многое другое. В частности — творческое единомыслие труппы, воспитанной на драматургии Шварца, на ее нравственных и эстетических критериях.

Всю жизнь моя мама, актриса акимовского театра, сокрушалась (разумеется, в шутку), что я, своим нахальным появлением на свет, помешала ей сыграть премьеру. В самой первой «Тени» она играла

Юлию Джули — эту исключительную дрянь, ничтожество, карьеристку и предательницу, наступившую в детстве на хлеб, чтобы не замарать новые башмачки.

Говорят, мама играла ее хорошо. И, в чем я абсолютно уверена,— с удовольствием, несмотря на вечную, почти детскую потребность обязательно нравиться публике не только тем, *как* играет, но и тем — *кого*.

Потому что Юлию Джули написал Шварц. Потому что при одном только упоминании имени этого человека, по собственному признанию мамы, ей всегда хотелось встать.

Мама была очень чистым, добрым, доверчивым и честным человеком. И, по мнению многих, прекрасной артисткой. Однако ее литературные пристрастия чаще всего повергали меня в недоумение: этот музыкально одаренный человек, например, гуляя под одним «беспощадным» небом со своими гениальными современниками — Пастернаком, Ахматовой, был глух к ним, и в то же время мог до слез растрогаться зарифмованными афоризмами альбомного характера — вроде «любовь — не вздохи на скамейке...».

Правда, к чести мамы надо сказать, она отлично понимала свою некомпетентность в вопросах поэзии, никогда не пыталась ее скрыть или, упаси Бог, выдать свое мнение за нечто общеобязательное. «Я не понимаю» в ее устах означало именно «я не понимаю» и не было эквивалентом «плохо», «вредно», «не нужно». Очень ценное качество а людях ее поколения.

Она никогда не претендовала на роль арбитра в литературных дискуссиях. Она сознавала свою неискушенность, умела деликатно молчать и, что самое главное,— с уважением смотреть на спорящих о материях, ей не доступных. Разумеется, если эти споры были искренни, продиктованы болью и страстью, а не известным стимулом — «образованность свою хочут показать». Фальшь она чувствовала сразу и безошибочно, ей становилось неинтересно, она мгновенно выключала слух, чтобы не кипятиться, думала о чем-то своем, а потом грустно признавалась: «Какая *неинтеллигентная* интеллигенция...».

Но стоило той же «неинтеллигентной интеллигенции» в присутствии мамы обронить какое-нибудь неосторожное слово с негативным оттенком в адрес Евгения Львовича Шварца — поднималась буря. Не награди ее природа щедрыми кустодиевскими данными, лучшей Маргариты в доме Латунского невозможно было бы себе представить.

Логики, системы, аргументов не было никаких, кроме одного — *Вы*, кто бы Вы там ни были,— *не стоите* — подметок Его шлепанцев, Его окурка, хвоста Его собаки Тамарки, не говоря уже о Его неудачах, до которых *Вам-то* все равно никогда не допрыгнуть, сколько ни прыгайте...

Отношение мамы к Шварцу было близким к религиозному поклонению, к идолопоклонничеству, благословенному хотя бы потому, что никогда не было обмануто.

Иногда мне кажется, что именно мама подарила мне отношение к этому человеку — вместе со зрением, обонянием, слухом и вообще — жизнью...

Москва, конец 1944-го и 1945 год, огромная гостиница «Москва», на каждом этаже живут мамины (а следовательно, и мои) друзья и знакомые, так что в гости можно ходить с утра и до самого вечера и спастись таким образом — от умывания, от манной каши, от рыжих кусачих рейтуз...

И самым надежным местом в этом смысле был номер Шварца, где можно было *все*, где никогда и никто не напоминал тебе, что ты мал, а потому неполноценен, никто не пытался воспитывать, от чего уже тогда у меня сводило скулы, и никто не посмел бы сказать: «Теперь — пойди, погуляй, мы заняты, нам некогда» (все ведь несчастья в его сказке «Два брата» произошли оттого, что старший брат слишком часто просил младшего оставить его в покое!).

Там жил королевский колдовской Кот Котович — сама независимость, достоинство и деликатность: он не утруждал хозяев низменными проблемами «песка» — он аккуратно пользовался уборной и даже умел спускать за собой воду в те времена, когда никто еще не слыхивал о дрессированных котах.

Там царствовала сказочной красоты женщина Екатерина Ивановна с тяжелыми косами, уложенными вокруг головы, необыкновенно опрятная, спокойная, немногословная, плавностью линий и осанкой похожая на античную статую.

(Первые мои, бесценные по военным временам — две куклы — тряпочная Катерина Платоновна, еще в Сталинабаде, в эвакуации, и ярко-розовая с волосами цвета яичного желтка красавица Катя, уже в Москве,— были подарены ею и в честь нее крещены.)

И, наконец, там жил Шварц. В его обаянии было нечто от приворотного зелья. Он умел *все*. Например,— неинтересное сделать интересным.

Меня, скажем, не могли заставить умыться: я пускалась на любые хитрости, чтобы избежать этой процедуры,— Шварц перехитрил меня. Сначала он согласился со мной: умываться не надо — *это* долго; вода течет за шиворот — это противно, да и не такая уж я грязная, чтобы все время умываться. Но вот бриться — надо. Иначе вырастет борода — как у священника, коего я, впервые в жизни увидев при полном параде (в черной рясе, с огромным крестом) на лестнице гости-

ницы «Москаа», смертельно испугалась. (Шварцу нрааилось, что, рассказыаая об этой встрече, я называла священника — «смущенником».) Так вот, чтобы не выросла такая же — до пупа! — борода, надо бриться. Мы стали бриться аместе: он, сидя в кресле перед зеркалом, сначала намыливал себя, а потом той же кисточкой проводил по моим щекам, подбородку, кончику поса. И я с радостью ополаскиаала лицо — я побрилась *первая*!

Шварц умел рассмешить, когда было не до смеха:

Танька рыбий жир пила
И, как рыбка, поплыла —
Рыбка маленькая,
Рыбка жирненькая.
Мама в гости идет,
Таньку в баночке несет.

Я пробовала обидеться на «жирненькую рыбку»: «Вы меня голую посмотрите — одни ребра торчат!!!», но Шварц возразил, что если уж превращаться в рыбку, то непременно в толстенькую — кто ж это понесет в гости рыбий скелет?!

Он умел успокоить, когда было тревожно.

Разбила термос Танечка,
Когда была в гостях,
Увидели хозяева
И закричали: «Ах!»,

И выгнали на улицу
Несчастное дитя...—

далее следовало душераздирающее описание страданий «несчастного дитяти», выкинутого на мороз из-за какой-то железки с грудой стекляшек,— никогда не прощу дырявую свою память, не сохранившую конец этой восхитительной песенки, пролившей целебный бальзам на мою пятилетнюю душу...

Термос-то действительно был очень хороший. Сверхзаграничный. Просто удивительно, как это хозяевам повезло достать такое «во дни мытарста, во времена немыслимого быта». Он на самом деле им был очень нужен, потому что они были артисты и часто разъезжали. Я разбила его случайно — мне вовсе не нужен был термос, мне нужна была гитара. А она лежала на столе, за термосом. Я полезла на стол и нечаянно уронила термос. Хозяева были очень хорошие люди, но тут они не сдержались, очень сильно накричали на меня и выставили за дверь.

И я пошла к Шварцу. И он сочинил песенку. И я поняла, что Шварц — перебей я хоть все в его доме! — никогда бы на меня не накричал. Потому что умел не замечать пролитого гостями вина на скатерть.

Тогда песенка успокоила меня.

А много позже я поняла, что это был, может быть, первый урок королевского отношения к «немыслимому быту». Что именно так относился к нему сам Шварц и его друзья — «обереуты», Хармс, Олейников, о которых я услышала уже взрослой и чьи веселые экспромты по любому поводу напомнили мне детство и атмосферу в номере Шаарца.

Из окон именно этого номера мы с мамой смотрели победный салют. А потом мы переехвли в Ленинград и около года жили в «Астории». Шварцы поселились на канале Грибоедова, в писательском доме. Довольно часто приезжал в Ленинград мой отец, режиссер студии детских и юношеских фильмов: он работал с Евгением Львовичем над сценарием сказки. Это было в 1946 году. Фильм был снят только а 1959-м, когда Шварца уже не было...

К Шварцам отец всегда ходил со мной. В какой-то степени эти походы были тактической хитростью кинематографиста-сказочника Роу, челоаека, горячо любившего сказку и преданного этому жанру, но связанному тем не менее с индустрией, с производством, с плановым хозяйством, с далеко не сказочными персонажами из репертуарных отделов, битого и потому осторожного. Думаю, что мое присутствие амортизироаало напряженность в отношениях подчиненного конъюнктуре отца с нежелающим ей подчиняться Евгением Львоаичем: при детях Шварц не позволял себе терять добродушия. Он был именно таким, как на изаестной фотографии с котом на фоне ковра, подаренной мне с надписью: «Дорогой Танюше от Кота Котовича и Евгения Львовича». А Роу избегал конфликтов.

На фотографии с котом — мой «детский», «домашний» Шварц, увертюра к знакомству с которым — спасибо родителям! — относится к далеким сороковым годам. Тот же Шаарц, какого я узнала позже, тот самый близкий к истине его облик — на акимовском портрете 1938 года.

Будь моя воля — я бы предваряла этим портретом все публикации, связанные с именем Евгения Львовича: тогда, может быть, поосторожнее обращались бы с ярлыком «Добрый аолшебник», приклеенным к этому имени (напрочь! насмерть! не отодрать!) в прессе. Протест в данном случае вызывает не столько расплывчато-сусальный смысл этого ярлыка, сколько кощунственная акция приляпывания штампа к тому, что штампоаке не подлежит. Акимов увидел главное в Шварце — его духовный аристократизм, истинно королевское достоинство, его *единственность* и почти трагическую стойкость оловянного солдатика — гильотина не заставит этого человека черное назвать белым!

Разумеется, Шварц был добр — в том смысле, что исповедовал, утверждал и рыцарски служил Добру. Но, как справедливо заметила в одном из юбилейных интервью Н. Е. Крыжановская-Шварц,— это была не золушкина доброта, а Добро Ланцелота — очень часто бессильное, потому что люди не хотят его понимать; хлопотно его понимать и небезопасно.

В одном из вариантов «Дракона» есть такой диалог:

Генрих: Я окончил семь факультетов, Ланцелот.

Ланцелот: Рад за вас, Генрих.

Генрих: С вашей философией я познакомился на первом курсе философского. Она была изложена в предисловии, в примечании, в трех словах и тут же отвергнута — за узость.

Несостоятельность, безоружность, незащищенность донкихотского начала в реальной жизни понимают не только подлец Генрих и резвые авторы учебников, по которым он учился философии. Это чувствовал и сам Шварц — так же остро, как и высокую нравственную себестоимость этого начала, носителем коего был до конца своих дней.

Трагическая нота в лучших его пьесах настолько сильна, настолько мучительно давались ему благополучные концы, что волшебная палочка хоть и спасала положение, но не всегда убедительно. Я не знаю, *куда* ушла Аннунциата с Ученым; я почти не верю, что Ланцелота не предадут им же спасенные души. Потому что этого не знает и в этом не уверен сам Шварц.

В его сказках далеко не всегда Добро ощутимо торжествует над злом, как, впрочем, и в сказках его гениального предшестаенника и единомышленника Андерсена. Именно предшественника, именно единомышленника, поэта и философа, умевшего находить сказочное в простых вещах — в штопальной игле, в выкинутой на мороз елке, в оловянной ложке,— *не низводить сказку в быт, а возвышать быт до сказки* — здесь истоки глубочайшего лиризма Андерсена, и Шварц в этом смысле — прямой его последователь.

Самобытность драматургии Шварца асегда представлялась мне аксиомой, в доказательствах не нуждающейся. Даже его пьесы на андерсеновские сюжеты — «Тень», «Голый король», «Снежная королева» — это самостоятельные произведения, имеющие такое же отношение к Андерсену, как, скажем, «Маскарад» — к «Отелло». Повторяю, мне это казалось очевидным. Но иногда приходится изобретать велосипед.

Я ужаснулась, когда из уст собственного отца, знавшего Шварца лично, работавшего с ним и даже сделавшего фильм по его сценарию, услышала в адрес Шварца слово «компилятор». Собственно, ничего дурного он не хотел сказать. Он, как и многие,— жертаа *полузнания*.

«Шварца у нас плохо знают! — к этому горькому выводу я пришла в результате общения с самой разной по интеллекту и профессиональной принадлежности публикой. Плохо знать — это хуже, чем не знать вообще. Когда не знают — есть надежда, что узнают и оценят. Когда знают плохо — такой надежды почти нет.

Причин тому множество, и одна из них — непопулярность драматургии как жанра. В самом деле: много ли людей читают пьесы прежде, чем их посмотреть, как романы или стихи? Единицы, преимущественно профессионалы — люди театра, филологи, критики. Спросите любого, кто знаком с блестящим телевизионным спектаклем Захарова «Обыкновенное чудо», но не читал самой пьесы, о его впечатлениях,— в лучшем случае вспомнят песенку про бабочку, которая «крылышками бяк-бяк-бяк», которую действительно очень хорошо пел Миронов, но которая никакого отношения ни имеет к Шварцу. Шварца обязательно надо читать; особенность его пьес в том, что они рассчитаны на читателя не в меньшей степени, чем на зрителя; из любой, самой блестящей трактовки могут выпасть замечательные куски текста, а это — серьезная потеря.

Непопулярность жанра — конечно, причина, но далеко не единственная. Это сейчас, тридцать с лишним лет после того, как не стало Шварца, можно рассуждать о соотношении зрительского и читательского интереса к его творчеству. При жизни Шварца такого рода рассуждения выглядели бы по меньшей мере кощунственно: это был автор без книг и драматург без зрителей. Случались, конечно, триумфы — вроде акимовской «Тени» в 1940 году, но непростительно редко. А ведь нет ничего обиднее, «если тебя не хвалят, когда ты этого заслуживаешь», и нет более утомительного занятия, чем «бороться за свою славу». Вот уж чего Шварц начисто не умел делать — так это бороться за собственную славу. И хотя, конечно, «цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех», успех все-таки иногда нужен, потому что без него хиреет, съеживается и грозит навсегда покинуть то, что называется малопонятным словом «вдохновение».

Было, правда, нечто, что компенсировало отсутствие шумного успеха,— признание его как большого писателя непосредственным окружением, друзьями, людьми, доказаашими свою бескомпромиссность, челоаеческую и творческую,— такими, как, скажем, Маршак и Акимов. Благодаря им Шварц узнал о себе самое главное — что он «на беду свою бессмертен» и пригоаорен писать. Не будь их — едва ли б достало сил у умирающего Шварца написать самую личную, самую испоаедальную сказку «Обыкновенное чудо».

После его смерти вышел сборник воспо-

Тридцатая годовщина со дня смерти Шварца совпала с «годом Дракона» — 1988-м. Скорбная дата. Но жизнь, к счастью, разноцветна: в том же — тяжелом, високосном — году над городскими кинотеатрами появились афиши, аршинными буквами рекламировавшие премьеру: «УБИТЬ ДРАКОНА». Пусть эти афиши не были шедеврами изобразительного искусства — само их появление заставило испытать торжество, восторг и радость всех, кому дорог Шварц.

Наконец-то!

В год Дракона Ланцелот победил Дракона. Ибо уже сам факт рождения этого фильма — тому свидетельство. И не хочется здесь говорить о претензиях к нему, хотя их предостаточно: во-первых, потому что, надо надеяться, это не последнее обращение к пьесе Шварца. Будут еще и сценические, и кинематографические варианты — драконы и лакеи их, к сожалению, живучи. Во-вторых, блестящая концовка картины М. Захарова и Г. Горина заставляет забыть о претензиях. Она объемна, как поэтическая строка. Уверена: Шварц аплодировал бы вместе со всеми.

Ему, как говорилось, мучительно давались концы.

В первом варианте его «Дракона» Ланцелот уходил из города, увлекая за собой Эльзу,— подобно Ученому в «Тени».

Во втором — оставался, хотя шансы на исцеление отравленных Драконом душ были ничтожны.

Захаров и Горин нашли то, ради чего Ланцелот *обязан* победить. Финальная сцена — Дракон и Ланцелот на фоне заснеженного огромного поля в окружении толпы розовощеких, курносых, закутанных жизнерадостных детишек — самая, на мой взгляд, большая удача фильма. Она рождена логикой лучшей из пьес Шварца, талантом режиссера и сценариста и нашим временем, в которое Шварц верил, но до которого ему, к сожалению, не довелось дожить.

Письмо в редакцию

Уважаемая редакция!

Журнал «Нева» предоставил свои страницы В. Н. Дружинину для публикации романа «Именем Ея Величества». Вот что я хочу сказать по этому поводу.

В 1949 г. был арестован и приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей мой отец — литературный критик, член Союза писателей с 1934 г.— Борис Соломонович Вальбе. В 1956 г. он был реабилитирован.

После 22 съезда КПСС я выступила на собрании Ленинградской писательской организации и назвала имя доносчика и клеветника — писателя Владимира Николаевича Дружинина, на совести которого судьба моего отца. Присутствовавший на собрании В. Н. Дружинин попросил «перенести рассмотрение вопроса» на Партбюро. Мой отец тогда же направил в Партком ЛО ССП соответствующее заявление (оно прилагается). Но никакого ответа ни от Парткома, ни от руководства писательской организации мы не получили. Более того, в 1989 г. писатель В. Н. Дружинин, публично названный доносчиком и клеветником и никак не опровергший этого обвинения, был награжден Орденом Почета (доносчик и клеветник — Орденом Почета!).

Я дважды (в мае 1989 г. и ноябре 1990 г.) обращалась с заявлениями по этому поводу в Ленинградское отделение ССП, но ответа на них также не получила.

Прилагаю заявление моего покойного отца в Партком, датированное 1961 годом.

В Партком Лен. отделения ССП
члена Союза советских писателей Вальбе Б. С.

Настоящим хочу осветить деятельность Вл. Дружинина как провокатора, оклеветавшего честных людей по заданию сотрудников Берии. Я был одним из этих людей, поплатившимся десятью годами тюремно-лагерной жизни. Знакомство с провокатором завязалось у меня во время ленинградской блокады, в писательской столовой, где мы, больные, истощенные укрывались. Он мне говорил, что пишет очерки и считает идеалом очеркиста Джона Рида, книгу о котором я в свое время написал, просил у меня разрешения навестить меня на дому. В теплый майский день он меня навестил, застав желудочно больным. Он просил меня познакомиться с моей библиотекой. Я тогда не понял, что это неофициальный обыск, произведенный охотником-сотрудником. Тщательно обыскав мою библиотеку, он нашел в одном фолианте брошюру известного исторического романиста М. Алданова «Армагедон». Он меня расспросил об Алданове и его брошюре. Я ему рассказал, что в 1916-м году я написал статью о книге Алданова «Роллан и Толстой», написал как об оригинальной и интересной книге, что потом Алданов работал в «Летописи» Горького; в 17—18 годах, будучи в Одессе, занес мне брошюру «Армагедон», показавшуюся мне скучной и трудной для чтения, я засунул ее в толстую книгу и забыл на многие годы, так и не прочел. Допрашивал меня также о моей книжке «Джон Рид». Скоро после посещения меня Дружининым меня хотели выслать из Ленинграда. Вмешательство А. А. Фадеева, поручившего И. К. Авраменко переговорить с работниками МГБ, избавило меня от этого. Я был приглашен в МГБ к сотруднику т. Бежанову, толковому и гуманному товарищу, понявшему, что из мухи хотят слона сделать. В 1949 году меня арестовали, и тут на очной ставке встретился с Дружининым, который пришел в офицерском мундире и каких-то регалиях. Он клеветал без удержу, сотрудники МГБ придавали его словам большую веру, а он клеветал без удержу. Мне не давали возражать. В результате я получил 10 лет без суда. По выходе из лагеря я узнал, что я — не единственная жертва этого писателя и «общественного деятеля».

Бор. Вальбе

Остается добавить, что сравнительно недавно мне удалось познакомиться с документами из «дела» моего отца. Эти документы неопровержимо подтверждают, что роль В. Н. Дружинина в судьбе Б. С. Вальбе была именно такой — зловещей и презренной.

Р. Б. ВАЛЬБЕ